

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Б. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)
Владимир Титов (ответственный секретарь)
Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)
Марина Акимова (зав. отделом поэзии)
Михаил Косарев (зав. отделом критики)
Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

4/2015

Содержание

ПРОЗА

- Николай ШИПИЛОВ. Детская война.** Роман.3
Алексей ТАРАСОВ. Желтый цветок. Рассказ.81
Раиса ЕРНАЗАРОВА. Два рассказа. Рассказы. 104

ПОЭЗИЯ

- Владимир КОСОГОВ. За просто так.** Стихи.75
Валерий МАЛЫШЕВ. «Все подытожено и сочтено...» Стихи.95
Услышьте наши голоса
Иосиф ЛИВЕРТОВСКИЙ. «Навсегда остался в живых...» Стихи. 118

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- «Это ожидание снега, а потом...» Письма В. Г. Распутина**
в редакцию «Сибирских огней». 124
Пётр ДЕДОВ. Сполохи. Из записных книжек и дневников.
Продолжение. 129

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Виталий СЕРОКЛИНОВ. Дети Азии. Путевые заметки.** 152
Владимир ШАМОВ. Хроника военного города. Окончание...... 160
Представляем книгу
Игорь МАРАНИН, Константин ОСЕЕВ.
Город красного Солнца. 167

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Наталья ЛЯСКОВСКАЯ. «Живая белка на великом древе...»** 177
Книжная полка
Юлия ПОДЛУБНОВА. Сказка, ведьма, д'Артаньян. 181
Юлия БОБРЫШЕВА. Сумма ребер. 183

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана ГОЛИКОВА. Алма-атинские открытки**
Александра Заковряшина. 188

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Шукин.

Николай ШИПИЛОВ

ДЕТСКАЯ ВОЙНА

Р о м а н

Девяностые годы — сама непредсказуемость, свалившиеся на людей потоки застоявшейся гласности, расцвет криминала, крушение оснований... И этот дух отчаянного смятения, где предательство и подвиг схлестнулись в смертельной схватке, где вот-вот вспыхнут баррикады — доносит «Детская война». Я помню, как писался этот роман. Мы много раз переезжали, и Николай размещал печатную машинку на ящиках, табуретках, кроватях и собственных коленках. Он любил писать в амбарных книгах и тогда еще пользовался черновиками, а в них!.. На полях рождались герои, кипели их дразги, красовались их возлюбленные, украшенные то модными очками, то пушкинскими локонами... Потом рисунки я издала в книге «Две поэмы».

Он придумал свой мир, своих героев, дал им своеобразные имена и живые характеры, начертил в амбарной книге улицы города, которого не существует... Этот мир должен был ожить в трилогии. Первый ее роман «Весы» вышел в журнале «Советская литература» в 1991 году и поверг критиков в изумление: где положительный герой?! Второй роман трилогии вы сейчас прочтете. А третий... Прошло десять лет, прежде чем появился третий роман «Остров Инобыль» (опубликован в «Сибирских огнях» в 2003 году, № 4), уже довольно отстраненный, как будто «не оттуда» — ведь пронеслась бездна времен и событий. Несколько раз Николай брался за третий роман трилогии, называя его разными именами, одно из них: «Ловцы и ловимые». Как похоже по смыслу это на «Детскую войну»! Кстати, семилетний мальчик из коммуналки, где Коля строчил на машинке «Детскую войну», как-то спросил: «Дядя Коля, вы пишете про детскую войну. Мы с друзьями хотим в нее поиграть... А какие у нее правила?» Коля ответил: «Лучше не играй. К сожалению, у нее нет правил...» А потом долго восхищался: у детей в играх всё четко, просто и понятно, строго по правилам. Но взрослым на это — наплевать... Так же, как у него в романе, где дети — это просто честные люди. Эти же «правила игры» соблюдались и в последующих романах, рожденных уже в XXI веке — «Псаломщик» («Сибирские огни», 2007, № 6) и «Мы из дурдома» («Сибирские огни», 2008, № 1). Все они связаны, все они — об одном. Но вначале была «Детская война»...

Татьяна Дашкевич

...Русские — это бойцы...
Чак Норрис, из интервью

Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя: ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом Сошедший во ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил Его плоти. ...Принял тело и вдруг попал на Бога; принял землю, а встретил Небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?.. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу. Ибо Христос, воскресил из мертвых, положил начало воскресению умерших.

Огласительное слово на Пасху
свт. Иоанна Златоуста

1.

Полковник Сигайлов — описание внешности пока опускаю, будет судим по делам — вывел войско на крутой обрыв. Взгляд его был остер и зорок, он без очков заметил для себя стрижиные гнезда на глинистом отвесе противоположного берега, огороды, опустошенные осенью, кучи ботвы и вывороченные корневища подсолнухов, склады боеприпасов, незакамуфлированные даже, и вражеского наблюдателя в оранжевой кроне огородного дерева.

Полковник опустил взор долу, проследил течение мутной речки меж двух берегов и сверился с картой: здесь будет бой.

— Тришин! — со звоном выкрикнул он. — Готовить ложементы!

Сначала кипит работа, а уж потом бой — так привык думать полковник.

— Бордадым!

— Здесь! — козырнул неотлучный Бордадым.

— Бойцов перед боем не кормить!

— Знаю...

— Как отвечаешь, змей?!

— Есть! Виноват! Есть, товарищ командир! Но... Разрешите обратиться, товарищ командир!

— Разрешаю.

— Я подумал: скажи «есть», так все про еду и подумают... Люди голодны...

— Молчать! Голодный злей дерется!

— Слушаюсь! — отвечал Бордадым, думая: сначала кипит еда, а уж потом работа.

Ночью был велик дождь, но храбрый ритор Сигайлов, сам по уши в грязи, горел мстью: в прошлом бою был сильно контужен друг его детства и боевой друг капитан Братеев. Нынче полковник окружил врага, чтоб ввергнуть его в реку и утопить под мощным огнем своих полевых орудий.

Вечерело, когда ложементы были готовы. Бойцы дружно хрустели сухариками, огородной морковкой, явленной в отвалах брустверов, косточками суставов. Санинструктор, сержант Тырышкина, стирала бинты, а возле нее курил сигарету Бордадым и как бы не замечал прелестей Тырышкиной и ее конопушек.

— Маш! — окликнул он все же сержанта, глядя на кончающуюся меж пальцев сигарету. — Ма-а-ш! Дашь?

— Дурак немьгтый, — сказала Маша. — Щас так дам, что... к маме жаловаться побежишь, придурок! — И руки ее стали шарить около санитарной сумки в поисках, чем бы огреть Бордадыма по наглой оболочке.

Бордадым решительно растер окурок в прах, встал, одергивая гимнастерку, и, не глядя на Тырышкину, уже мимоходом задал ей вопрос:

— Так дурак я или придурок?

Тырышкина засмеялась.

Грянул первый залп. Бой начался как бы с неохотой, с ленцой и неряшливостью: да пошел ты... сам пошел... да отвяжись ты... сам отвяжись... «Ах так?» — «Так!» — «Ну, получай! Х-ху!» — «Тьфу на тебя». — «Получай еще!» — «Тьфу!» — «На!» — «Давай!» — «На!» — «Оп!» — «Оп!» — «Оп!» — «О-ой!» — «А-ай!» — «У-у!»

— Колька-а! Слева! Слева, Колька-а! В ухо бей, дурак!

— А?

— На!

— А?

— В у-у... У-у-у...

— Товарищ командир, товарищ команди-и-ир-р!

— В чем дело?

— Мать ваша, мать!

— Где?

— Возле бани-и-и!

— Всем в укрытие-е-е: полковникова мамаша рули-и-ит! Сигайлиха-а-а!

2.

— И бишасы три дни без опочиву? — спросила мать сына своего, полковника Сигайлова. Она была учительницей литературы, но роду простого. — Я говорю: посмотри-ка на себя, что ты с новыми штанами сделал? Опять карбид рвали?

Полковник, плененный, стоял потупившись.

— Мам, не ругай — из дому сбегу! Люди же кругом!

— Сбежит он... — с обидой, но негромко сказала мать. — Жрать захочешь, вернешься! Пошли домой, дома я тебе выволочку устрою!..

Раздались вопли Бордадыма, за которым с комсоставовским ремнем гонялся отец огородами. Отец кричал:

— Сымай штаны, подставляй жопу, собачий сын! Выпорю-у-у!

— Пьяный дура-а-ак! — открикивался и отплевывался Бордадым. — Вырасту — убью!

— Сыма-а-а-й! — Старший Бордадым падал, меся грязь, задыхался, кашлял и, наконец, упал под ракитов куст, достал кисет, газету и твердой единственной рукой стал крутить самовертку.

— Окончен бал, — сказала мама полковника. — Идем, картошка стынет... И Фёдор без тебя не засыпает — идем, сынок, идем, государь мой... Труби отбой — разрешаю для восстановления престижа...

— Горнист — отбой! — скомандовал полковник Сигайлов.

Зазвучал пионерский горн. Зло взлаяли настоящие песьи дети. Маленький Бордадым глянул на проступавший в небе ковш Большой Медведицы и стал выковыривать из огородной грязи опочившего отца.

О вы, жалкие останки великой нации, на одном веку пережившей четыре явные войны — внешние проявления войны тайной, где такие мужики, как Юрий Гагарин, прославляются лишь для того, чтоб быть убитыми новоявленным Сидонией, ростовщичеством, диктаторами производства и распределения, водкой и лестью! О вы, дети детей и дети Сына Человеческого, все наши войны — войны детей...

Погибают юноши, молодые и зрелые мужи.

Старики, впавшие в детство, сидят за географическими картами и делают козырные ходы тузами из рукавов своих одежд, перешитых из сукна солдатских мундиров, из ворованного мародерами сукна — воюйте, дети, а им сукно...

Воюйте, расходитесь по лагерям язычников и христиан, красных и белых, белых и зеленых, монархистов и анархистов, мужчин и женщин, отцов и детей, вегетарианцев и мясоедов, режьте единый и прекрасный, дарованный вам с надеждой мир по живому, вы, уклонисты и предатели, самаритяне и убийцы детей; воюйте, слепцы при глазах и глухие при музыкальном слухе. А я, бывший полковник Сигайлов, бывший фельдмаршал огородной войны, тоже воевал. Вот и своей последней сожительнице, с которой я ночевал под фамилией Лазарев, я объявил войну и одновременно мир, сказав:

— Я понял, самое хорошее во мне — это то, что не имею на носу бородавки... Все остальное — имею...

Она ответила с полувздохом:

— Нет. Самое хорошее в тебе то, что ты вовремя оставляешь мой дом!

— Он не твой, — глупо возразил я. — Он казенный...

— Нет, дом кооперативный!

— Ну, кооперативного тебе, значица, счастья! — заключил я и так хлопнул дверью на выходе, словно грохнул кулачищем по столу, а за стеной вознес к небесам плач нервный ребенок; он мог бы быть моим и

родиться под моей, позапрошлого года, фамилией Серостанов, да кому интересно слушать о мыканьях взрослого мужика по общежитиям. Интересней смотреть и слушать парламентскую говорильню и думать, что тоже думаешь и знаешь свое, а ведь ни хрена ты не знаешь — и хотел бы посмотреть, как птички лобызаются перед соитием...

Вчера вон мужик бескрылый слетел с крыши пятиэтажки — и то народ не собрался. На полет Крякутного, однако, большой сход был. К тому же Иван-то Крякутный крылья сотворил, потом крестное знамение, а этот произнес матерный спич во здравие тещи — и в свободный полет свободного человека: невыносимо стало мужику в границах пост-эсэсэра. Скоро, наверное, отключат свет и тепло, забьется народ под бывшие советские одеяла различнейших наименований и столько детей по холодку надевает, что весь Китай дрогнет от страшных предчувствий, и станет бедный китайский сладострастник, путаясь в слезах, соплях и иероглифах, у границы дикого евразийского соседа, и попросит себе русскую бабу, угрожая китайскому руководству.

Что у нас и осталось для экспортного базара, так это бабы. Сестры наши работающие и красивые, терпеливые и боевые.

Когда убили мою верную, страстную, добрую, синеглазую жену, я нашел этого слизняка и убил его своими руками. Никто, кроме меня, не мог бы этого сделать. С тех пор и живу под разными фамилиями, но об этом — позже, а пока я, хлопнув дверью чужого кооперативного дома, выскакиваю на лестничную клетку. Навстречу мне медленно плывет зимующая в подъезде зеленая трупная муха, я бью ее влет и в лоб кулаком — она падает на мозаичный пол и скрещивает смиренно крылья на головогрудке. Прямо государственный деятель в гробу.

«Так тебе, шлюха!» — думаю я, мне становится легче, и я иду к бывшему капитану КГБ Борису Бордадыму за новым красивым паспортом. Фамилия моя отныне будет Крякутный.

3.

Говорю тебе: раньше, до нас, пока мужик пять пуговок на ширинке запахнет — пять дум передумает. Теперь молнии, век скоростей, а куда бежим-то, пятая судимость... Очнись, оглядись вокруг себя — не обманули кто тебя, умник. Да и сам я таков, хоть и изучал в университете экономику, слушал лекции тех, кто держал кукиш в кармане: Абеда Гезевича с Татьяной Николаевной, которая укрупнила деревеньки российские, как укрупняется раковая опухоль, пожирая здоровые органические клетки. Знал я и о синдикализме, который вызывает анархию производства, инфляцию, нищету и безденежность в массах, догадывался о том, что все деньги мира — фальшивки, и об их интернациональной сущности; что государство — это власть, а деньги — это исключительная власть; думал, сознавая своим русским умишком все это, что займусь в дипломированную свою будущность не чем иным, как социальным прогно-

зированием с учетом революционных дурацких настроений тамошнего дня, рассеянного ныне реформаторами в морось, в прах и эхо. Тогда я был мальчонкой смышленным, я очень любил родину, помнил запах креозота от жарких июньских шпал; заводские новенькие трубы, будто из кирпичиков хлеба сложенные и помазанные яичным белком. Тогда я еще помнил и любил букварь с индустриальными пейзажами, с чистыми акварелями силосных башенок и ровными брусками скотных дворов, учебник родной речи с шишкинской рожью на обложке — все это, проклятое ныне политиками в рваных мундирах, было принято мной, малым жителем России по фамилии Сигайлов, за душевную мечту, и вот я уже на городской окраине, смущенной сутью своей, ищу те букварные зеленые поезда, румяных, белозубых, дивных людей в черной с зеленым, как подростковая трава по краю вспаханного поля, железнодорожной форме — бывалых...

...Он, Сигайлов-то Саша, учащийся индустриального техникума, стипендиат на восемнадцать рублей пятидесяти копейках; а старичок физик Степашка — поджатые в лукавенькой усмешке губы и медлительный, со слюдяным блеском, взгляд — он профессор, объясняет недорослям теорию распространения газов и приводит такой пример про то, как с первой парты газ распространяется до последней, что бывший житель малого города малой планеты Сигайлов краснеет, но смеется вместе со всеми, чтоб не отличаться от сокурсников, чтоб показать девице Новожиловой свое мужское понимание народного профессорского юморка, и ненавидит себя. Будто его, Сашу Сигайлова, принудили тереть голую спину профессора в банный день на виду у нее, девицы Новожиловой. Да и ее лицо, заметил Саша, полыхнуло кармином, и на лице этом любимом враз исчезли конопушки. «Дура!» — мягко говоря, подумал тогда Саша, легко освобождаясь от любви и понимая гибель первокурсника Лыскова, у которого во время лазанья по канату на виду у всех соскользнули трусы, а плавок под ними не обналичилось. Лысков, деревня-матушка, смеялся вот так же, давился слезами, слепо ползал по мату, ища на ощупь сатиновые свои труселя, он тоже был влюблен в Новожилову, а ночью ушел жить на небо, отдав концы в коридорном туалете типа гальян, повесился на вервии от своей дорожной котомки. Как заорут по московским кладбищам вороны, так вспомнит бывший Сигайлов бывшего Лыскова...

4.

Прямо с той лекции, после физической пары, где Саша Сигайлов почувствовал себя одиноким в предках и потомках своих, он собрал фибровый баульчик со сменкой и уехал в Таштагол, ни к кому. Поголодал там: на шахты не брали по возрасту, на урановый рудник в электрослесаря — по той же причине. Хотя рудник уже был выработанный и расскреченный, но «эрпушка» в штреках шкалила на третьем щелчке. С месяц Саша побил бурки в районе Узунгола, бросил лом, откочевал с почтовым

вездеходом на перевалбазу, влюбился в практикантку Машу из города Киева, из города змиева. Ему, полудикому, порченому книжками, полюбился Машин скорый говорок, ее добротность и доброта лица: юноши его возраста часто влюбляются в лица, в глаза. Возможно, они и правы в своем незнании. Что сделал Саша? Получил расчет полевого рабочего в своем втором поисковом геофизическом отряде и стал бесплатно играть в футбол за шахтную сборную, а Маша ходила его смотреть с банкой сгущенки. Обратной пешей дорогой Саша рвал для Маши марьин корень, дарил цветок, делая руку калачиком. Маша оказалась смешливой — она ухохатывалась над проделками Саши. Так смехом-смехом она попала в спальник главного геолога Стаса Ермакова, опорного защитника, о чем тот и сообщил Саше утром, когда они вышли из двадцатиместной палатки-гостиницы навести глянец на зубах.

Саша спрашивает:

— Стас, ты где был ночью, когда драка шла? У-у! Такая, Стас, война с зэками была! — И льет из ковша воду на волосатую спину геолога-защитника. — Они хотели из нашего Анчара гуляш сделать... Что это у тебя вся спина исцарапана?

— Да Машка твоя, — жалуется Стас, — толстуха... Всю спину исцарапала... Вот толстуха, а?

Саша недопонял, но сердце екнуло, как у Джона Леннона.

— Зачем она царапалась? Дрались, что ли, тоже?

— Дрались... — сказал Ермаков, крикнул, а после распрямылся и сыто глянул на солнышко: так велят йоги.

«А в мышь из пистолета попасть не мог!» — Саша не заметил, когда ушел Стас. Из ковша в руках капельками падали на траву остатки воды. Как слезы. Он очнулся, аккуратно повесил ковшик на бельевую веревку и убыл из населенного пункта с тем же баулом. К старой сменке белья прибавилась футбольная форма и две банки сгущенки.

Денег в зиму не вез...

5.

... в прошлом денег не было.

Пока был жив отец, небольшая семья перебивалась: тогда в пригородах и поселках еще можно было иметь коровенок и коз, свиней и овец, уток, умных гусей, глупых с виду, но вкусных в котле кур. Потом фининспекторы зашныряли по землянушкам и стайкам; люди эвакуировали детей и старух в лес с остатками незабитой живности, но паника перед налогами извела-таки скот и котловую птицу. После того как отца Саши придавило экскаваторным ковшом во время ремонта рукастой машины, мама-учительница, стыдясь и плача от стыда, просила, бывало, сына:

— Шура, сынок, сбегай к нашим... Попроси пятьдесят рублей до зарплаты... Отца-то у нас теперь нет, сынок...

Шура приносил денег, жалел свою маму и думал вырасти в музыканты, чтоб много зарабатывать. Иногда по дороге в школу или на репе-

тицию в клуб глядел под ноги с мыслью о чьем-то утерянном кошельке, налетал на прохожих.

— Дядя Алексей, а если б у тебя было две руки, ты бы в большом оркестре играл? — спрашивал Шура своего учителя музыки, старшего Бордадыма. — Большие бы деньги получал, да? На басу-то!

Тот отвечал:

— Наши большие деньги за чертой семнадцатого года, Шурка! А нынче я инвалид... Дедушка умер, бабушка умучена в застенках, скоро и самому Бордадыму в жмурову команду... А ты будешь на альтушке за гробом: иста-иста-иста-та-та... Вот видишь: одной рукой я уже в усопшей команде, там, в строю... Быть может, это место и для меня... — Алексей шмыгал носом, туманился взором. — А вот синее потрогай, помни-ка эту шишку! Помял? Осколок сидит — прееет... Но ведет себя аккуратно, исключительно, гад, по-немецки, пфуй!

Алексей открыл саквояж и разложил на футляре баяна легкую закуску: лук молодой и старое сало. Достал четок:

— Открывай, Шурка! Век свободы не видать!

— Напьетесь и тетя-Валю бить станете, — говорил Шура, но открывал. — Войны вам все не хватает...

— Кто — я?! А для проформы — не лишне. Я ж ее для проформы гоняю, патология у меня такая... А ты знаешь, салабон, что она меня раз женственной болезнью наградила? Я же басист, я ж ее одним духом: ф-фу! — и она на помойке истории, а если живой рукой — все! смерть! конец дыханью! Ну? А я ж тихонько пошумел — и спать... По-хорошему я, дурь ты альтовая...

Шурка скреб ногтем баянный футляр, узорчики на дерматине. Алексей выпивал стакан, морщился, нянчил свою каменную левую в правой руке.

— Нас предали, Симбад!.. Зачем мне эта жизнь дадена? Эмфизему на басу нажить? Жмуров таскать за три рубля новыми в месяц? Вальку гонять от нищеты? Что ты, что ты... А чем она, моя жизнь, хуже Никиткиной? Он в укрытии сидел, а я в атаки ходил! Завтра девятое мая, а я ни пьяный, ни трезвый играть не выйду и вам запречу! Не хочу играть, когда нас, Шура, и живых, и мертвых запродали! Куда ж им денег-то столько, скажи? Сколько ж им трэба-то, сукам, коммунакам позорным? Да собрали бы с народу раз в месяц по трояку... Ну-ка, умножь двести тысяч миллионов на три рубля!

— Семьсот пятьдесят миллионов...

— А? Жри — не хочу! Нет, жри! Да только береги ты землю-то нашу, матушку нашу, да управляй людом! Нет! Найд! Нихт! Им воровать слаще!

— Они привыкли, — сказал тогда Шура печально. — К деньгам-то...

Алексей с удивлением и нежностью глянул на мальчика, проскрежетал зубами в восторге:

— Ломоносов! Точно в институт поступишь, не в пример моему Борьке! Тому одна дорога — в энкавэдэ! Тот еще живоглот и кишкодей

растет! А ты, Шуренок, правильно мыслишь: привыкли они к денюжкам, как мы к нищете... А уж если мы лучше пожить не супротив, так и они тоже... Тут мы совпадаем, да вот капиталыцы-то у нас разные: у тебя с младенческо яйцо, а у него — с медвежье лицо... Снаружи мать Расею не смяли, так снутри разорвут.

— Кто?

— Да видчепысь! Наливай-ка дядьке! Он пока понял — жизнь прошла, ослаб Алексей Бордадым... Вот они и получили ручаг, чтоб Землю первернуть: да-а-айте мне ручаг, и я перверну-у-у... На, сука! На тебе ручаг — перворачивай, гадо! А ты кто такой, чтоб ее перворачивать?!

Саша терпеливо слушал, привычно желая, чтоб водка скорей и без остатка перелилась в большой живот дяди Алексея.

— А ты, Шурка, молодец... На пять учишься...

Шура стеснялся, когда его хвалили. Он сказал:

— Дядя Алексей, а у меня соль-диз не выдувается...

— А-а... А-а... — потух и заплакал Алексей. — Соль у него... Кишку, смотри, не выдуй... Соль у него... Нет такой ноты — сольдиза.

— Есть...

— Нет, омманутое ты поколение... И-их ты... Барашка ты... Прячь, Шурка, от меня муштук — не пойду завтра играть и вам запрещаю! — Он поднял брови и вытянул книзу лицо, чтоб утереть нос платочком с каемочкой, но забылся и стал разглядывать платок. — Валька крючком обвязывала. Каждую петельку, видишь? Погляди сюда, Ломоносов! Погляди! Ты еще доживи до моих лет, да чтоб баба тебе вот так вот петелечки обметывала... А возьми миллионера: что, баба ему обметывает платочки? Уй! Как же. Жди. За деньги — да, без денег — жди. Купить бабу можно, Шурк... Но чтоб она тебе вот так вот крючком вокруг платочка — это облезешь и неровно обрастешь. Она меня уважает, что я веселый... И ты веселый будь, брат. Фи мня поняль? Давай муштук, завтра играть будем. Рекордно долго будем трубить. А потом — бросай ты эту музыку, трясину. Чем тут сидеть, лучше б табуретку матери-то сочинил или огород полил. Усвоил?

— Да усвоил, усвоил...

— Давай тогда муштук, я пошел...

Когда дверь за Алексеем закрылась, Шурка быстрыми, злыми движениями протер старенькую трубу фланелькой и стал гонять гаммы, гаммы, гаммы: он не хотел быть альтистом, он хотел быть трубачом, хотел быть трубачом... Как Эдди Рознер или Луи. Он хотел показать маме весь мир у своих ног...

6.

... он искал своего учителя.

От Таштагола до Кузни дорога недалняя — ночь по однопутке. В поезде даже диванов не было, а кресла, как в салонах воздушных кораблей. Рядом с Сашей сидел старик, ворочался, звенел орденами, косился, искал разговор, живчик.

— Геолог? — спросил наконец, пронизательно щурясь.

— Да так себе... Путешественник...

— Сопляк ты, а не путешественник, — сказал нахальный старец, надвинул шляпу на глаза и смежил веки. Однако когда подошли глухонемые и стали совать Саше видочки на фото, сосед глядел вполглаза.

«Никогда не женюсь!» — подумал Саша и, наверное, произнес это вслух, потому что сосед старик со смехом заявил:

— Сопляк ты, а не жених! А я, будь помоложе, женился б! Вот те слово коммуниста — женился б! — И долго, любовно, жадно смеялся над фотокарточками, утирал слезу, восторженно тряс головой, щелкал ногтем по фотоглянцу. Глухонемые почтительно, мрачно нависали над ним.

— Женился б... Хе-хе... Слово шариком — женился б...

Тогда Саша встал и ушел в другой вагон. Мест не было. Пришлось ночевать стоя в тамбуре.

Саша был чист, юн и здоров. Еще он был горд, потому не поехал в поселок, чтоб не лишать надежды своих земляков: вот, мол, отличник наш, медалист-недоучка, а не потянул. Представлял он и презрение матери, думал: я выгребу, мама, я приеду с победой...

По младости лет Саша еще не имел на руках серпастого и молоткастого документа и устроился на жиркомбинат штабелевать мыло в ночную по билету учащегося техникума. Теперь и о ночлеге не надо было думать: ночь в тепле отработал — утром пять рублей получил плюс кефир, маргарин, майонез, мыло навynos. После смены идешь на первый сеанс в «Победу» и спишь полтора часа, потом в библиотеку. Однажды в кинотеатре к нему подседа юная бичиха и в задушевном месте сна так даванула своей стопой его стопу, что Саша ойкнул и перебежал под индийскую музыку на другой ряд полупустого зала.

Так прошли зима и лето, а в ясные дни раннего сентября Саша получил паспорт и вернулся в город. Он обманул маму — сказал ей, что перешел на третий курс, и этот обман долгой виной ляжет на всю его дальнейшую жизнь, потому что вскоре он и похоронит ее обманутой. А пока в эти ранние дни сентября Саша устремлялся на травянистый откос железной дороги вблизи улицы Мостовой и сверху глядел на крыши проходящих малой скоростью поездов. В ожидании хороших мыслей, в светлом уповании он жевал пирожки с повидлом, запивал их пивом или кефиром. Тут же вокруг ящика-столика полулежали-полусидели два его праздных друга и вслух обсуждали: где бы взять денег и махнуть в Сочи.

Саше же мнилось, что можно застыть во времени и никуда с этого солнечного откоса не исчезать, но время гнуло свое: сумерки, конвейер с пачками мыла, утро, предвзвье, ловля синиц и поиски сталистой проволоки для птичьих клеток. А там — Сенной базар: синичка в клетке до семи рублей, чечки — того дороже, но чечек надо высиживать в пригородных репейниках, а синичек можно и в любом городском закутке брать на сало. Мог Саша и корзины из лозняка плести, но кому в городе нужны кустарные корзины? Корзина стоила под двадцать рублей и могла бы обеспечить долгое безбедное сидение на кособоре с бутылочкой и пирожком.

Саша любил думать — и думал до наступления первых морозов: я делаю корзины — я получаю за них деньги — я покупаю на эти деньги еду — я ем — я делаю корзины — я получаю за них деньги... Как они циркулируют, где и у кого они оседают?.. Ведь если кузнец Арсеньев из мехцеха молотом ручным машет целый день и выдает начальству предметы, живые детали машин, и не может обуть своих сопляков к смене сезона, то почему же продавщица Муся, которая продает уже готовые, сделанные кем-то предметы, носит на пальцах золото, рыжье? Почему столько бунтов и революций не улучшили жизнь знакомых и незнакомых ему, Саше, людей труда, а лишь ухудшили ее, если червонец царской чеканки делается все дороже, а советские бумажки — все дешевле? Что такое валюта, если за махинации с ней грозят расстрельными делами? Как в ином, несоветском мире живут люди и что значат деньги для них?..

Саша понял, кем он будет. Он знал точно — будет экономистом...

7.

... а для этого нужно учиться.

В первые же морозные дни — хорошо, в том году они шли с запозданием — друзья с косогора определили Сашу к бабке Пани в двухэтажку, за рублевку в сутки. Саша стал ходить по утрам в библиотеку, а не в кино. Там и учитель ему подыскался — старый ссыльный из агрономов-аграрников, чаяновец и морж.

— У нас ведется идиотизация общества, Александр Фёдорович, — говорил он Саше, когда купались в проруби у Коммоста. — Приятно, что вы не идиотизируетесь, но... идиоты не дадут вам жить и развиваться... Они, Александр Фёдорович, идиоты-то, не любят не таких, как они сами... если даже сознают, что неидиот прав... Так и с Иисусом Христом было... Ловите смысл? А теперь брасс!..

После трех недель купания в проруби стало тесно и тепло. Моржей прибыло. Появились обязательные и вольные слушатели, многие не первый сезон знали учителя, многие приходили убедиться, что он не усажен в застенки Чека.

— А мне что тут Чека — что в Чека Чека, — говорил учитель, растирая тело алым полотенцем. — У них служба вязочная, а мысли-то не повяжешь... Мне и тут тепло, и там тепло...

Тепло было и в каморке бабы Пани. Перед сном слушал Саша о Паниной родне, что сметена с земной поверхности. Старуха говорит, чтоб говорить, а он слушает и думает о своем. Она не мешает ему думать, а он ей — говорить. Никто никому не мешает, как привычная песня сверчка, блики света от автомобильных фар, плывущие по стенке узоры оконного тюля, стучащие в окна ветви застывших рябин. А спросит, например, Саша о притчах Христовых, и Пания крестится, шепчет что-то коротенько, а уж потом отвечает:

— Наставления это, Шура... Христос их в поученье народам давал, а мы вот упряимся, противимся: сами с усами... Вот он по усам нам,

Господь, и дает... Ты вот читал притчу Нафана к Давиду? Об чем там? Об последней свечке, нет? Нет... Там значенье тако: отольются сиротски слезы на старашном суду... Каждая слезинка тяжеле свинца, тяжеле золота и серебра, тяжеле денег потянет... А у нас весь народ сирота...

Саша легко засыпал и просыпался свежим и сильным.

Шел на работу уже утром. Потом прорубь, потом библиотека. Один раз в неделю учитель читал у проруби проповедь и давал советы заблудшим, оципывая с бороды сосульки. Снег подтаивал под его босыми ногами, от бело-розового тела валил пар.

— Голубым глазам — конец, идет время черных глаз, помните, люди! — вещал он. — Я скоро уйду, — указывал он пальцем в прорубь, где мрачно плескались темно-зеленые обские волны. — Я уйду, а вы помните: главная политика — хлеб, рожь, ячмень, пшеница! Главные деньги — земля, воды, растения! Главная политика — армия! Хлеб и щит — вот в чем народное наше счастье! Грозит прийти время, когда вы будете отдавать свои компьютеры и автомашины, телевизоры и диваны, безделушки из серебра и дорогих камней за кусок черного хлеба... слушайте меня, беспмятные индейцы! Земля устала от вашей дурости, она откажет вам в дарах, в душах ваших поселится ночь при ясной погоде, а политика и демократия, политика и социализм, политика и капитализм — дрянь! мерзость! пучок травы впереди осла, тянущего поклажу! Повторяю: святое дело человека — хранить здоровье, чтоб не быть в обузу другим, беречь землю, в которую суждено лечь и воссоединиться со своими и с матушкой, растить дерево, а не убивать его, беспмятные! Дерево прекрасно, оно выше вас, папуасы, не только ростом — оно хранит в своей памяти каждый прожитый год, и ему не нужен прогресс, который не что иное, как самоедство и лень, сироты вы мои! Заблудился — иди к дереву, проси у высокого совета и направления мыслей, умей слышать его, потому что мир един по своей природе! А политика — дрянь, вместе с абстрактной философией! Есть одна философия: труд и оборона... Увидишь толпу с лозунгами — бери пулемет и шпаль по верх толов: толпа быстро разбежится по полям и заводам, это я вам, военные, говорю!.. Верь народу — не верь толпе!

— Фашист! — крикнули из толпы. — Реакционер, бей его!..

— Смерти нет, ты, пьяница и курильщик, прогрессист долбаный! — отвечал учитель. — Смерти нет — есть лишь сожаление о недожитой молодости... Убей меня — кто даст тебе совет, детка! А совет мой таков: пуще бабьей измены бойся клеить ярлыки на живую душу — завтра сам будешь оклеен ими, как забор с приглашениями на работу возле оперного театра, ты, папуас, готовый отдать поросенка за импортные штаны!..

Саша ждал его уже одетый. Сейчас учитель будет давать советы, а это дело долгое, если ты вылез из проруби и голый стоишь на морозце. Вот уже женщина с золотыми серьгами в ушах и в беличьей легкой шубке тянет к учителю руку.

— Говорите, — кивает он этой женщине.

— А можно вас потрогать, товарищ? — просит она, бестрепетно глядя в глаза учителя, на что он отвечает:

— Трогайте, я не музейный экспонат...

Она трогает его за мощный бицепс, но уже ее оттесняет мужчина щуплой наружности, с маленьким личиком под огромной енотовой шапкой.

— Меня волнует, — быстренько заговорил он, — тема... — оглянулся по сторонам, скорее по привычке, нежели сообразуясь со случаем, — тема докторской диссертации: я врач-нарколог... Жена в неудачники пишет, хотя кандидатскую я сделал... я сделал в двадцать восемь лет, а вот теперь мне сорок один, чувствую в себе силы, но расходуясь по пустякам, выпивать вот начал...

— Возьмите и запишите сто шахматных партий пьяных игроков разной степени подготовки. Исследуйте их, систематизируйте ошибки стратегии, тактики, возьмите хорошего консультанта из сильных шахматистов. Назовите диссертацию... «Мозг в трауре»... Следующий!

Следующим был заблудившийся в Сибири горец.

— Мнэ хоцэлось би тэт на тэт. Дэнги дам...

— Вы француз?

— Я кавказ.

— Говорите, слушаю вас, — учитель подставил ухо к губам просителя. Публика затихла, как бы помогая учителю. Многие раскрыли рты, забывая о сухом морозце.

— Найдите старуху в частном доме. У старухи должен быть сарай и не должно быть родственников. Поезжайте в колхоз весной и купите три свиноматки или десять поросят на откорм. Пригоняйте их в город ко старухе, размещайте в сарае-свинарнике, предварительно запасшись комбикормами. В ноябре забейте взрослых свиней и везите на базар. Наши деньги — ваше мясо... Следующий!

Приблизился румяный, с глазами доверчивыми и навывкате, с кейсом вишневого цвета мужчина, стал раскрывать замочки, но мороз не дал, и мужчина заторопился, делая рукой жест: а, пропади оно пропадом!

— У самолетов часто не выпускаются шасси... Проблемы посадки... безопасность пассажиров... Я делаю расчеты... Короче: что делать?..

— Попробуйте принцип реостата. Электромагнитная аварийная полоса. В брюхе самолета — рассчитайте, где именно! — железная полоса... Самолет заходит на посадку и плавно садится в понижающемся силовом поле. Главное — идея, остальное — технические расчеты.

— Фантастика!

— Следующий!.. Что?.. С этим — к венерологу! Вы — как дочери Даная, обреченные вечно наполнять водой бездонные свои сосуды! Следующий!.. Что?.. Как я это делаю? Научитесь разговаривать со своим мозгом, молодой человек. Мы — носители мирового разума с большой буквы, наше дело — работать, созерцать и думать о благе матушки-Земли: вот оно, счастье-то истинное! Ваш мозг понимает мой мозг? Тренируйте память о добре Земли, не воюйте с матушкой своей, тогда и в мыслях ваших, и в выборе будет порядок! Кто мой учитель? Здравый смысл...



Гроб учителя несподручно было выносить с четвертого этажа по узеньким лестничным маршам. Останки отпевали во дворе. Когда священнику стали подпевать старушки и хор зазвучал упоительно, торжественно и скорбно, из оставленной кем-то коляски вылез на четвереньках малыш, поднялся на ноги и, держась за длинные юбки старух, пробрался к священнику, вынул изо рта пустышку и стал подпевать, а кое-где и пританцовывать... Одна старуха заплакала от умиления — ангел! А дворовый киник Миша Зуй не вынес комичности сцены, прыснул смехом, укрывая тщетно рот, смех подхватили случайные люди в похоронной толпе, а потом и те, кто глядел на отпевание и слушал его из открытых окон пятиэтажек.

Саше Сигайлову показалось, будто и учитель улыбнулся среди восковых цветов.

8.

«...Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положи-
вый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохрани в мире люди
и град Твой молитвами Богородицы и спаси ны...» — шептал Саша, встре-
чая сентябрь на любимом откосе. Его призывали в армию, но со смертью
учителя жизнь сделалась непонятной, как ночи сумасшедшего.

— Что мне делать, когда ты уйдешь? — спрашивал он.

— Учись думать... И в институт пока ни ногой: уведет от истинного...
Бог тебя не оставит, если выбросишь из головы деньги; деньги — это
иллюзия. Ты что, всерьез считаешь, что эти бумажки дороже куска хле-
ба?.. Это фикция, фальшивка! Деньги никогда не заменят людям Бога,
они уничтожат их дом, их государства, их души, Саша!.. Сходи в армию,
научись владеть оружием — мужиком станешь! А уж потом учись в со-
ветском вузе, они у нас не самые плохие... Да Богу молись и молись!

— Да как же без денег-то жить? — едва ли не возмущался Саша, не
всегда понимая учителя. — Побираться, что ли?

— Эх, малой ты малой!.. Деньги зарабатывать ты научись, но не
трать их на себя — плюнь, не продавай душу свою: научись с ними рас-
ставаться в пользу слабого и сирого, в пользу любимой женщины и убо-
генького. И ты будешь непобедим, Александр! Твой предок по материн-
ской линии — князь Куракин, что умер в 1818 году в Веймаре, вот что я
узнал из своих запросов: у меня есть могущественные друзья и ученики!
Так вот, этот-то князь помер на чужбине, а тело его императрица Мария
Фёдоровна перевезла на родину, и погребено оно в Павловске, а возле
церковки, где похоронен князь, брат его, Алексей Борисович, построил
дом для инвалидов! Видишь, какие у тебя предки были? Не забывай об
этом в оккупированной стране нашей — думай о Боге, живи с именем
его!..

— Почему же мне ни отец, ни мама ничего о княжестве не расска-
зывали? — не верил Саша: ему бы удостоверение князя-то! Вот бы он
проникся.

Учитель был терпелив и объяснял:

— Боялись властей... А может, и друг друга боялись... Ты на кладбище-то у матушки давно был?... Теперь не спросишь уж, что их в Сибирь занесло, сколько имен да фамилий сменили, сколько тебе придется сменить... Эх, брат! Вся наша жизнь — дорога на войну да обратно, коль не повезет голову за веру сложить!..

Когда Саша служил срочную, сгорела двухэтажка бабы Пани. Задохнулась в дыму и сама Прасковья. Друзья с откоса дали Саше в часть телеграмму, но не заверили ее на почте — так, известили на всякий случай. Командир части не отпустил сержанта Сигайлова на посторонние похороны: шла подготовка к уборочной кампании.

— Грех ведь, товарищ майор! Она мне все равно что родня!

— Ты мне бумажку с печатью давай, а не грехи на меня вешай! Ишь, комсомолец, мать твою за рубаль двадцать! Кру-у... гом!

И Саша вызвал майора на дуэль, за что был водворен в психушку, а после — комиссован из рядов. Он просил эскулапов перевести его в другую часть, где бы он мог дослужить свой срок, но такая просьба лишь подчеркивала его ненормальность: гуляй, солдатик...

Поехал к Борьке Бордадыму в Новосибирский университет.

Борька был старше на год и уже кончал третий курс исторического факультета, а Саше еще предстояло получить аттестат зрелости в вечерней школе, что он и сделал к своим двадцати двум годам.

9.

Осенний лес — как огромный маскхалат.

Вот уже три года по срединному сентябрю проплывала смешная для порченного иронией обывателя университетского городка паника: снова убита попавшая в окружение леса девушка, убита она молотком, и труп ее обнаружен в пригородном окопчике лесного сосняка, в ничтожно малом для земных расстояний отдалении от тропы, рассекающей лес. В северном направлении тропа вела к автобусной конечной остановке в Академгородке, а противоположным концом тропа вливалась в чистенький асфальт железнодорожной станции. Тропа эта, случайная, извилистая, пересекала автостраду стратегического назначения и при выходе на автостраду чуть отклонялась, огибая обрывчик за изгородью соснового молодняка. Обрывчик-окопчик был, стало быть, глух, как застенок, хоть и находился рядом с тропой и автострадой.

Девушка лежала там недавно, душа ее, однако, еще парила в близком пространстве, когда некто отбежавший по нуждишке обнаружил ее тело; его вырвало от вида признаков надругательства и от мухоты, он выскочил на трассу, утирая слезы, шоферы давили на газ, принимая его за пьяного, несмотря на прекрасно освещенное солнцем утро: пьющие презирали пьющих.

Еще существовало государство под аббревиатурой СССР, украденное у Российской империи, но Леонид Ильич уже плохо выговаривал



речи, а народ, ожидая повального жилья к двухтысячному году, плодился, хранил себя по возможности, тащил потомство в учење и знать не хотел о тайной войне элит и Международном валютном фонде, ни о какой маргинальности и ни о каких маргиналах, черт бы их всех побрал; люди любили своих детей, а дети — родителей. Но вот убита чья-то невеста, чья-то отданная в учење дочь, а в студенческом капустнике уже показан свежий фильм на узкой пленке. Сценарий его таков: по лесу крадется мужик с дебильной рожей. Озирается. Крупно — дебильная рожа. Общий план — руки за спиной. Наезд на руки — крупно: молоток. На пальцах татуировка: К—П—С—С (капустник профессоров, студентов-смехотворцев). Общий план: женщина с серпом в боевой готовности выскакивает на лесную поляну — крупно: рожа дебильная, но на ней написана страсть плодиться. Фонограмма вопля женщины. Мужчина убегает. Женщина — за ним. Она догоняет его и после короткой комической схватки побеждает, прижав его руку с молотком своей рукой с серпом к земле. Из кустов появляется арбитр — морда дебильная, истощенная развратом и скукой. Он жестом подымает бойцов, они вздымают вверх руки с инструментами. Мы видим мосфильмовскую марку с надписью «КПСС» — «КаПуСт-ник-С».

Зал надрывает тощие животики, зал завидует остроумцам, глядя на тяжело дышащих «рабочего и крестьянку» с дебильными рожами, на своих кормильцев. Молодежь готовит команду для игры в кавээне, она иронична, скептична, образованна, она знает нечто такое, чего не знали ее родившие люди, она не боится дяденьки с молотком.

Что делает милиция?

Три убийства за три осени, все — молотком, все — в камуфлированном осенью лесу, все — нераскрыты. За три года посажены в темницу три известных городских психа по подозрению в убийстве. Дела прикрываются, но треклятый «Голос Америки» на весь мир вещает: Молоточник, гроза новосибирского Академгородка, продолжает лютовать! Куда глядит милиция?! Кагэбэ угнетает милицию и берет дело под контроль. Молоточник на свободе, его мрачная аура витает над красивым лесом.

Боря Бордадым, капитан Комитета госбезопасности, ходит с белыми от ярости зенками, отмечает громогласно, что все кругом дураки, и собирает стукачей в одном из номеров «Золотой долины». Он грозитя всех их перестрелять к ядерной фене.

Стукачи смеются: времена не те, чтоб стрелять. Стукачи женятся на чистеньких студенточках, выпивают в «Поганке» коктейли и сухие вина, едят шампиньоны под белым соусом и снова смеются: они знают, что Бордадым не расстреляет, что он мечтает уйти из органов, куда попал из-за своих романтических умонастроений и в результате плохой учебы и активной общественной деятельности по линии комсомола; что Бордадым желает работать трактористом и буртовать силос, что он помогает шабашникам добывать с металлургических заводов трубу-некондицию, но напрасно думает, что об этом в академической деревне никто не знает. Знают. Знают, а Бордадым на крючке. Привет, Борис Алексеевич, говорят стукачи на посошок. Поели, пора и поспать.

— Студенты! Дети мои! — вещает Бордадым в стиле Джамбула. — Вспомните ваши циничные шутки: убийства есть точные, слаботочные и молоточные! Поймите, что в войне этой вы нейтральны, ваши, мужики, женщины, ваши жены и сестры, бабы ваши ходят, дуры, по лесу и подвергаются опасности, а вы шутите, козлы! Поймите, что в детской войне нейтралов не бывает! Почему в детской? Объясняю: воюют всегда дети, и в гражданских, и в афганских, и в бытовых войнах воюют чьи-то дети, а уж что дети Божьи — так того вам не понять! Так было всегда — это я вам говорю, неудачливый капитан Боря Бордадым. Так есть. А взрослые — вечные, бессмертные, как деньги, — где они? Они за ширмой истории и историй...

И Бордадым горько напивался в служебном номере с какой-нибудь из своих знакомок, притворялся импотентом и засыпал, боясь одиночества...

10.

— Капитан, в зоб твою мать! — строжился старый Бордадым. — Я войну отечественну прошел, руки решился и сержантом сдохну! А он — без войны капитан, в зоб твою наташку-то! На какой это такой войне капитанами раскидываются, в зоб твою клавдею-то? А?!

— На детской! — отвечает Борька. — На детской, бать...

— Какой же ты дите, когда уж... небо осенью дышало-то?

— Тебе-то я кто? Подкидыш, что ли?

— Сын ты мне, — соглашался Бордадым, роняя чуб долу.

— Гордишься ты мной, что я военный?

— Военный, — еще ниже клонил чуб Бордадым. — Военный, парашку твою в зоб...

11.

И кто-то воюет. Воюет, не зная направления атаки, без связи с флангами, не имея оперативных сводок, не видя врага в лицо: враг в такой шахте, куда один лукавый вхож. Понял, дурачок? В жизни не отсидишься, если имеешь честь, а закон на стороне врага...

Эх, народ! Насмотрелись кинушки, нанюхались кварца в театрах, налицедействовались каждый в своей избушке — да и перепутали явь с выдумками. Закон отражения отражений... Зачем вот понесло в осенний лес к избушке-кордону через два оврага эту ученую да ненаученную бабенку? На симпозиум приехала, а симпозиум в переводе с греческого — дружеская попойка... Ах я какая любительница леса! Птички, синички, мурашки, ах! А в лесу — враг. Пахтизанен — пуф-пуф! Она осталась жива, ей повезло, этой башкирской аспирантке, но прическу ей попортили изрядно: вначале этот лесной брат, позже — врачи с иглами и пластырями.

«Голоса» информировали мировое сообщество. Примчался в гостиницу к пострадавшей капитан Бордадым с красным, красивым от ярости лицом и белыми от ненависти зенками. Как, спрашивает, дело было. С таким вопросом к деловой женщине он усаживается в кресло, достает японский диктофон.

Пострадавшая, ножки кривенькие — на что Молоточник позарился? — смугленькая, хоть и свежеумытая, чему-то радуется. Наверное, жизни. В эйфории и обалдении находится. А может, спросу, думает капитан Бордадым, ненавидящий ученых женщин и женщин в них не видящий вообще. Дура, думает он, и это можно прочесть по выражению его лица, хоть оно и красное от ярости.

Она же рассказывает, трогая осторожно шишку на затылке, еще и хихикает при этом:

— Знаете... хи-хи... я плохо... хи-хи... помню... Право, все так неожиданно...

— Замужем? — рявкнул Бордадым.

Она говорит после паузы для прикуривания сигареты от штатовской зажигалки:

— Ну... разумеется! И прошу вас не извещать мужа...

«Му-у-ужа...» — передразнивает ее мысленно офицер Бордадым.

— ... о том, что произошло, это недоразумение...

«Му-у-ужа...»

— Он недавно перенес инфаркт. Вы меня понимаете? Я дважды была в командировках в Штатах... и там... хи-хи... никто на меня не нападал...

«Даже негры?» — съехидничал капитан мысленно и сказал язвительно:

— Таковы их нравы... Прошу вас, постарайтесь припомнить, пожалуйста, голос... температура рук... характеристику дыхания лесного знакомого вашего...

— Ну уж... извините!

— Что вы имеете в виду?

— Какой же он мне знакомец? Бр-р-р! — Она передернула плечами от омерзения. — Выбирайте выражения, а не то я на вас таких собак спущу, что и начальство ваше будет бледно выглядеть! Вам понятно?

— Галия Габдрахмановна-а-а, не будьте столь щепетильны, прошу вас покорнейше! Я ведь не хотел вас обидеть! Он ведь нас тут затерроризировал, злодей, заматал по всем позициям! Я лично — в ярости! Видите — лицо жаром пышет! Думаете, это, может быть, от повышенного давления? А отчего оно повышенное? А оттого, что злодей нас...

— Хорошо. Успокойтесь. Курите. Вот зажигалка.

— Благодарю.

— Успокойтесь.

— Весьма признателен.

— Слушайте... М-да... История, хи-хи...

Рассказ аспирантки

— Я шла прогулочным шагом. Компхэнэ? Лес ведь, куда спешить? Сама я степнячка, но лес... лес я боготворю! О-о! Эти ветви! Эти белки! Эти мурашки, паутина!.. Я иду себе прогулочным шагом. У меня печенье курабье для белок... Может быть, чайку попьем?

— Не беспокойтесь, благодарю... Или позвольте мне, я специалист...
Пьют чай, хрустят сухариками.

— Дошла до кордона. Вечерет, белки неактивны, я их попросту ни одной не встретила. Однажды приезжала в городок, так они чуть ли не кланчили курабье, а вот сейчас специально привезла курабье, а белок не встретила... Дошла до кордона — поворачиваю обратно...

— Вы что же, про Молоточника нашего не слышали?

— Слыхала, слыхала! Но чтоб это меня коснулось... Мне такое и в голову не приходило. Потом, думаю, я же предупреждена... С посторонними мужчинами разговаривать не собираюсь, если что — начну кричать. И еще одно умозаклучение, возможно, оно пригодится вам в процессе поимки этого негодяя: если он нападает на женщин сзади и бьет их молотком по черепу, извините, он трус и слабак! Он трус и слюнтяй еще и потому, что вынужден нападать на женщин. Ему не везет в его любовных делах. К тому же... он трус и слабак еще и потому, что ведь не насиует женщин, а лишь убивает их... Хи-хи... Или я не права?

— Вы правы, Галя Габдрахмановна... Но прошу, продолжайте по существу!

— Итак, в семь вечера... или, по-военному, в девятнадцать часов... у меня ужин с коллегами. Надо спешить, думаю себе. И иду, фланирую эдак! Сзади шаги. Понимаете? Мне стало не то чтобы не по себе... но стало тревожно, страшно так, знаете ли! Да-а... Так что я решила обернуться и пойти навстречу этим шагам, лицом к лицу, как пишут в романах. Обернулась, стою, жду его. Он идет. Юноша, показалось мне, но там было недостаточно светло, вечерело, как я уже говорила, а к тому же у меня минус пять зрение, да... Подходит он, ничем не примечательный, и спрашивает: я правильно иду в сторону автобусной остановки экспресса восьмого маршрута? И что-то в этаким витиеватом режиме... Не успела я ответить, как он на скорости хода хватает меня сзади за вот эти самые волосы, разворачивает к себе спиной... и тэдэ...

— «И тэдэ»... Он же мог вас убить! Ведь вы первая, кто остался в живых!

— Мог и убить. Только, видимо, это был не Молоточник...

— Вы так думаете?

— А как же мне еще думать? Молоточник бьет молотком, оттого он и Молоточник... Молоточник не насиует.

— Так значит...

— Вот именно...

Вздых. Пауза. Еще один вздох.

— Вот оно что!

— Не знаю, как и вырвалась... Хорошо, в юности дзюдо занималась! Врезала ему кой-куда...

— Но ведь...

— Да. Он ведь так быстро не стал бы менять профиль. Как я понимаю, он маньяк... или же желающий, чтоб его считали таковым. Я права?



— Меняйте и вы профиль, Галия... Ничего, что я вас запросто? Меняйте профиль и переходите работать к нам. Вам цены не будет!

— А пистолет дадите?

— Зачем? Вы убиваете силой вашего интеллекта! Вот сейчас я покажу вам фото, это он?

— Страшный какой! Нет... Тот был симпатичный довольно-таки блондинчик... А этот страшны-ы-ый!

— Жаль.

(Конец записи.)

Отчего полегчало Бордадыму? Может, от беспшашности собеседницы. Может быть, просто приятно человеку, что другой человек вырвался из лап смерти, насилия и трогает одной рукой рану на затылке, а другой рукой играет зажигалкой штатовской. Вот она отложила зажигалку и говорит:

— Можно еще раз взглянуть на фотографию?

Офицер Бордадым знал: это фото Толика Соснова, одного из способнейших математиков университета, который внезапно забичевал, ушел жить в подвал и, дав обет молчания, уже третий месяц не говорит, лишь улыбается. Бордадым наметил в случае «нераскрытки» привлечь к ответственности Толика: ему все равно, где сидеть и молчать, в тюрьме или в подвале. В тюрьме еще ведь и корм будет, а здесь его добыть надо, цинично думал Бордадым. Всех ведь дураков пересажали — один Толик остался.

— Это не убийца, — еще раз оглядев фотографию, сказала Галия. — Я могу вам кое-что рассказать об этом человеке. Хотите?

— Хочу! — дурашливо ответил Бордадым, встал и глянул на себя в зеркало: лицо просветлело. — Вы что — из этих?.. Из тех, кто в сверхпространственных туннелях шляется? Из инферноматерий платья шьете? С психополей урожай собираете?..

— Да, не для протокола. Да, шляемся... — отвечала Галия. Она аккуратно обвела губы помадой марганцовочного цвета, вновь уселась с ногами в кресло и поднесла к носу очки.

— Этот человек, — стала она говорить, глядя на фотографию, — мог бы творить чудеса. Это человек утренней мысли, самой краткой и самой ясной, самой концентрированной и самой неуловимой мысли... Он алкаш в прошлом или в будущем... Возможно, это в его наследственности... — продолжала она читать. Лицо ее посерело. — Глорифицированный индивидуалист, но не убийца... Скорей самоубийца в будущем... Незаурядное академическое дарование... В имени буква «эль»... Алексей... Леонид... Анатолий, да... Раньше таких изолировали, я имею в виду дядюшку Джо, им не давали пить, вынуждали работать...

«Тебя бы, стерву, вынудить работать, а не шляться от мужа по лесам», — обозлился вновь Бордадым, и тут пострадавшая так глянула на него, что чувства его стали похожи на чувства человека в интимном месте, когда внезапно раскрывается дверь его уединища. Ему, а он был упрям, захотелось всадить Галие пулю меж глаз.

— Вы пугаете меня, — сказала она. — Я устала... Прошу вас уйти немедленно... Все, больше ничего не хочу, спать хочу, идите...

«То-то!» — подумал Бордадым и резво вскочил на ноги, этаким козликом расшаркался.

— Спешу откланяться. Благодарю, — благодаря и откланиваясь, сказал он. — Еще один ма-а-аленький вопрос можно?

— Завтра, — металл в голосе. Если перевести эту интонацию на систему знаков, то вы увидели бы, как на ваших глазах мягкий знак превратился в твердый. Ему приставили хвостик слева, и мягкий знак стал твердым.

— Целую ручку, — шелкнул каблуками офицер Бордадым.

— Целуйте на здоровье, — сказала она и указала на дверную.

— Ха-ха... Хи-хи... Очень остроумно! — бормотал Бордадым. — Вы удивительный человек, по вас костер инквизиции плачет... Ха-ха-ха...

Когда он вошел сюда, хихикала Галия. Уходя — хихикал Бордадым. Что за напасть! Он спустился в ресторан, где все его уважали.

12.

В ресторане среди прочих сидели: Вовик Мак-Аров, из тренеров детской спортшколы, хулиганистый, немолодой человек, задира благородный, бывший деревенский житель, вознесенный неплохими спортивными результатами и хлопотами друзей в научную элиту, дитя пригородного совхоза, разведенный с женой, пьющий только неразведенный спирт, которого в тогдашнем Академгородке было море разлитое; Ваня Мак-Аренко, человек огромной мускульной силы, одной рукой, как игрушку, поднимающий задний борт самосвала, бригадир шабашников, не единожды битый различными бригадами за жульнические расчеты с работягами и потому слегка подрастерявший душевную силу. На Ване как влитой сидел тонкого сукна пиджак с подбивом из алого парашютного шелка. Дитя сибирских полей, он, Ваня, любил анекдотец рассказать и сам смеялся громким тенором, васильками глаз сияя из всеобщей ржигачки. Коля Мак-Арчук, добрый и решительный малый, не понявший в жизни разницы между простотой и простофильством, убогий в том смысле, что большие деньги, зарабатываемые им по части архитектурного оформления городка, он спускал в считанные дни, но и алкоголь не мог совладать с его яркой природой, рассчитанной на сто лет детства, на сто лет отрочества, на сто лет зрелости и на долгую, счастливую старость, а посему год описываемых событий был сорок четвертым годом Колиного детства, — дитя алтайских гор, он обладал зоркостью и первым увидел облокотившегося на стойку бара Бордадыма, засемафорив ему: сюда, сюда, дитя ОГПУ. Федя Мак-Овецкий, крупный телом человек и специалист, врач-уролог, никогда не пьянеющий первым и не сдающийся живым тоске житейской, бывший борец-классик в тяжелом весе. Он в недавнем прошлом собственноручно спас своего сына от тяжелых ожогов, напрямую переливая тому свою кровь, он вытащил мальчугана, вторично вдев его в

свою кожу, но потом расслабился и круто запил на радостях — тогда жена изгнала его из дому в ресторан, к товарищам, навечно. Работал же Федя по-прежнему точно, классно, а когда того требовали обстоятельства, он клал в свою клинику отдохнуть кого-либо из товарищей, коими очень дорожил. Иногда излечивал их безвозмездно от болезней блуда.

— Привет, макаки, — утирая обильный пот с лица и обмахиваясь кончиком галстука, произнес капитан Бордадым.

Его приход не нарушил этой их клубной жизни. Никто Борю не боялся — все они знали, что он, Боря, заместитель начальника отделения местного КГБ, все они по-своему, по-советски гордились знакомством с ним и, не будучи им завербованными, пользовались его весомой поддержкой в различных житейских ситуациях, будь то залет в вытрезвитель, или затруднения с авиабилетом, или нужда в гостиничном номере. Бордадыму тут же принесли свободный стул и столовый прибор, он сел и шлепнул штрафную. После легкой и быстрой словесной разминки соколиный взор Бордадыма затуманился.

— Хочу привести вас к присяге, — сказал он. — Мне кажется подозрительным тот факт, что все вы однофамильцы, хотя и не доводитеесь родней друг другу...

— Увы! — отвечал синеглазый Ваня. — Мы больше чем родня! — В детстве он прочел много разных книг, о чем еще не успел пожалеть, потому мог стильнуть в разговоре. — А вы кто такой? Ах вы представитель тайной полиции?! Уж не думаете ли вы, что если наши фамилии начинаются на «Мак», то мы, все здесь сидящие, являемся наркоманами?.. Отнюдь-с, сказала графиня!..

— Он так не думает, — заверил Федя.

Вовик заявил:

— Чем ему думать-то? Вот этой маленькой бестолковкой? И зачем ему думать — за него начальство думает, прав я, Борина Бордадымская, или я не прав?..

— Ты, Вовик, лев. Рыгающий, — удачно вроде бы отшутился Бордадым.

Дружно хохотнули: молодец-де капитан, не ударил в грязь лицом в бою с пекинцем-молодцом. Ваня разливал.

— Что это у вас, любезная Солоха? — кивнул Бордадым на графинчик. — Это из больницы? Медицинский?

— Это из криницы, — отвечал Ваня, — капуцинской...

— Кто сегодня пьяный в дым? — спросил собутыльников врач Федя и, надменно улыбаясь, глядел на капитана. Ему ответил громкий хор:

— Это Боря Бордадым!

— Кто сильнейший из пьянчуг?

— Это Коля Мак-Арчук!

— Кто не пил и был здоров?

— Это Вовик Мак-Аров!

— Кто пропил диплом советский?

— Это Федя Мак-Овецкий!

— Вперед!

И захрустели на зубах кальмары, и стал дым коромыслом, и официантка Алька уже открыла большие стеклянные двери выхода на террасу в сторону заходящего солнца.

— Ну что, друзья! — сказал Бордадым. — Все вы спортсмены...

— Спортсмены!

— Мне нужна ваша помощь: надо некоторое время патрулировать лес... Молоточник свирепствует! Он убивает наших женщин, а мы тут сидим, казенный спирт хлобыщем. Надо патрулировать, а мы хлобыщем спирт и шутки шуткуем! А он, он надьсь башкирку по башке каким-то поленом огрел... лесным поленом... а мы, а вы...

— Ха! Ты бы нам хоть псевдонимы присвоил, раз воинские звания не присваиваешь! По знакомству, да? — тенорил Ваня.

— Ну! — согласился Вовик. — Ты вот, например, будешь, Ваня, Лысый! Лысый, Лысый! Вас вызывает на связь Маша-барменша! А я, например... Кто я? Лысый, Лысый! Кто я? Сообщите мои позывные!..

— Всё! — прекратил эти разговорчики в строю капитан. — Пили, ели, веселились — обо всем договорились. Договорились?

— А чего бы по лесу-то не пошляться? — смеясь, сказал Федя Мак-Овецкий. — Ты нам по бабенке выдай из штатных стукачих — и дело сделано, а?

— Бабенок сами найдете... Вон Верка с Наташкой сидят...

— О! — вдруг привстал из-за стола Вовик Мак-Аров и указал пальцем за окно. — О! Старый Бордадым кандыбает! Счас он тебя, Борька, выпорет!

— Что-то случилось! — Встал и Бордадым. — Пойду встречу старика... Вернусь не вернусь, завтра созвонимся...

13.

— Иди давай домой... — сказал старый Бордадым. — Там тебя Лёшка Снаб ждет... Иди давай... Хрен ли тут служить? Служи дома!

— Чего он меня ждет? А, отец?

— Нада. Сидит, с телефона не слазит. Жену ищет.

— Что?!

— Жинка пропала — што, што... Пошла вчера утром мусор выносить — и по сю пору нет... Пошли давай...

— Да ты что, его колобкову корову не знаешь? Богема чертова! Говорил ему: не женись на богеме! Вот результат! А она где-нибудь что-нибудь отмечает со своими волосатыми дружками и лысыми подружками!

— Иди служи! — рыкнул старый Бордадым. — Служи давай, нечего каку-то зопу-то тута смолить да к стенке становить!..

— Да тихо ты, тихо, батя!

— Штоб щас же дома был, вояка, в лоб твою матрену-то! — Старый Бордадым пошел прочь от ресторана...



14.

... а капитан вернулся в него и прошел к столику друзей.

— Получил, Борина?

— Как разобраться, где ложь, где правда? — глубокомысленно спросил Мак-Овецкий. — Кто скажет?

— В общем, договорились, — наклонился к столу Бордадым. — А то, говорю, «голоса» заколебали: нападения, нападения... Ненавижу прессу... как подстрекателя массовых психозов! Не-на-ви-жу!

— От любви до ненависти — один шаг, сказано...

— И передайте Сашке Сигайлову, что девчонок с понедельника гонят в совхоз на картошку. Если его Вера будет ездить домой каждый день, то пусть встречает и провожает утром на электричку... Передайте, если увидите. Я пошел...

— Что, так серьезно? — спросил Ваня.

— Серьезней некуда... Вон у Лёшки Снаба жена пропала, между нами.

— Да т-ты што!

— Да-а! Отец за мной приходил, а Лёшка у меня дома на телефоне сидит, морги обзванивает! Ну, пока... До завтра...

15.

Есть такая песня: хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махо-о-оркой... Почти в соответствии с этими строчками складывалась нескладная жизнь Толика Соснова. Жилички дома, в подвале которого он обитал, говорили:

— Он нас сожжет!

Все они были женами ученых и сотрудниками НИИ различного толка, но еще математический рейтинг Толика был высоким, его незлобивость и созерцательное спокойствие — легендарными. Вот что об этом рассказывали.

В общежитской комнате первокурсники жили по трое. Один спал ночью, а Толик Соснов занимался. Тот, первый, говорит:

— Толик! Черт бы тебя подрал! Туши, наконец, свет, я заснуть как следует не могу! — и снова заснул.

Минут через сорок Толик оторвался от учебника и громко заявил:

— Тебе надо — ты и туши...

Такой спокойный был человек. Жилички постепенно смирились с его резиденцией в подвале, уютно оборудовали ему логово, кто-то из них принес ему хрустальную пепельницу. Видимой драматической подоплеку его нынешнего поведения не обнаруживалось: кто говорил, что он влюблен в Плавинскую Веру, а она выходит замуж за Сашу Сигайлова; кто заявлял, что у него от научных трудов крыша съехала; блуждали слухи о том, что Толик сел на иглу и что Толика выкрала американская разведка, а человек в подвале — зомби, двойник молодого ученого, потому и молчит — ну кто, скажите, в наше время дает обет молчания?



С женщинами Толик был целомудрен, и они походя поддразнивали его, обросшего черной бородой с ранней проседью, с носом-уточкой и многожды штопанными носками, с его размякшими от долгого молчания взглядами и терпеливым гостеприимством и странноприимством.

Вот спускается в его убежище битая, пьяная, омужиченная, некогда красивая Наташа в сопровождении пьяного, битого, шкодливого Стаса Беспалого. Они умыкнули в тэбэка меру болгарского вина и идут к причалу, давая гудки: у-у... у-у... У Стасовой мамы квартира и у Стасовой жены тоже, но не хватало в его жизни вольной горчинки — он и отхлебывал от чужих судьб, пока не спился до инвалидности.

Другое дело Толик Соснов: он редкий из математиков, у кого шла из-под пера и художественная литература в виде едких и добрых рассказов. Светлые и горькие его рассказы ходили в списках по городку, а тут и Бордадым подключился — взял у стукача третий какой-то экземпляр и отдал своим экспертам для их соцреалистического анализа. Те поработали с красным карандашом во славу безопасности государства, и Толику было предложено явиться на собеседование в тайный отсек главного университетского здания. Была там, а может быть, и сейчас есть такая дверь с кнопочным цифровым замком.

После ознакомления с заключением экспертов ему показали статью в пухленьком томике уголовного кодекса:

— Вот что бывает за распространение и изготовление... Пока прощайте. Надеемся на ваше благоразумие. Все написанное вами, Анатолий Петрович, рекомендуем сдать нам под опись...

— Так я ж еще напишу! Я ведь математик, я все наизусть помню...

— Вот и за устное народное творчество есть статейка: изготовление и распространение... А занимайтесь-ка вы лучше математикой своей... Станете академиком — будете за границу вояжировать, мы вам аплодировать станем у трапа самолета! И это от нас в большой степени зависит: в академики вас произвести или в психушку зарядить! Ведь посмотрите сами: что ни литератор, то с придурью, то пьяница, то самоубийца, что, в общем-то, одно и то же! Они же все смуты затевают... Толстого взять Льва... Кто он? Он — зеркало русской революции, по меткому выражению Ильича. Тебе что, тоже революции и моря крови нравятся? А кто тебе дал право вещать и возмущать? Ты что, умнее, мудрее всех? Тысячу раз был прав полковник Скалозуб, жаль, имени-отчества его не названо: надо вам высшие курсы, высшее образование — получайте, а на высшее знание покушаться — стой, стрелять буду! Это дело Господа нашего Христа, Создателя. Ясно, Анатолий Петрович?

«А разве математика — это не покушение на гений Создателя? — думал Толик по дороге в родную тараканью республику. — В итоге-то: чего я хочу?»

Он стал выпивать часто, долго, благостно, с мягкой улыбкой на лице. Папа с мамой уже в гражданах Земли не числятся, жены нет: Вера ушла к Саше Сигайлову. Саша достойный человек, нечего сказать... И парень он красивый, армию отслужил, вечернюю школу окончил. А кто Толик

Соснов? На гитаре не играет, стрелять не умеет, политеса не знает — фэмэшонок наукоидный. Вот пришли Стас и Наташка, наливали быстро, жарко — выпили трудно, медленно, одновременно со вливанием думая о новом вине. Наташка медленно сказала:

— Ах, Толик! Дай упасть на грудь твою, гений ты наш! Пьешь, молчишь, а тоски в тебе нету, как у других говорунов... А я уж и призабыла, коллега, какой у тебя голос... А ты знаешь, кто я такая, Толик? Я ведь мамка твоя по жизни, ах! Я б тебя усыновила, и ласкала бы, и гладила... — она утерла слезы обильные, — кашку бы варила...

— Самогон бы гнала, — ввернул, гыгыкнув, Стас.

— Я мать твоя, Толик... Молчи, молчи, ничего не говори...

— Кошка ты драная, — обнял ее Стас. — Кис-кис-кис-с...

Толик тоже плакал с улыбкой на неподвижном лице.

— Не плачь, милый Толик, — ворковало слева. — Я сейчас вина принесу... Хочешь токая, Толинька? Не плачь, душа моя, ласточка моя, не журись, как бабуленька моя говорила... Я вина принесу... «Мурфатлара» хочешь?..

— Богиня моя! Я иду с тобой! — распахнул объятия Стас. — Кто тебя обидит — секир башка тому жлобу! — И запел: — Астанави-и-ите мусорку! Астанавите мусорку! Прошу вас я, прошу вас я, туда попала девушка мая-а-а...

16.

Снаб плакал у телефона, когда пришел капитан Бордадым.

— Ну, Лёшк, перестань хлюндить... Говори, что и как?

— Что и как? А вот так: утром пошла мусорное ведро выносить — и не вернулась! Кругом тревога одна, Боря...

— Ни хрена с ней не случилось — успокойся, а то по морде получишь! Во что она была одета?

— Не помню... Всё вроде дома... Туфли дома... Тапочек нету! Боря! Что она со мной вытворяет, а?! Что?! Почему я такой слабовольный? И кличка моя, кличка, знаешь, как получилось, что я — Снаб?

— Снабженец, наверное. — Бордадым поддерживал отвлекающий разговор. — Откуда я знаю... Думаешь, если госбезопасность, так я все знаю? На кой хрен ты, тюфяк, госбезопасности!

— А я в детстве посмотрелся кино и вышел на улицу с плакатом: «Все на борьбу с Деникиным!» Сокращенно — ВСНаБСДен! Вот и стали меня для пущей краткости Снабом звать — тут же деревня... А я — Снаб...

— Пьет она где-нибудь, куда ей деваться!..

Снаб утер лицо ладонью. В глаза не смотрел.

— С чего вот она... Раньше-то хоть вместе, а я вшился, так она, она теперь...

Вышел в прихожую старый Бордадым Алексей и сказал:

— Неча было на аборты эти бабу гонять. Сгубил бабу. Баба мстит.

— Так, дядя Лёша, тезка! Мы ж пили — вот урода бы и родили...



— От уродов урод и родится! — сурово сказал старый. — Кака она теперь баба — не люб ты ей и ненавистен! Сгубил бабу, щенок!

— Ладно, бать, иди смотри ящик... Мы тут сами разберемся, и Снаба с собой бери, мне позвонить надо... Поищем, найдем живую или мертвую, — не менее сурово сказал и молодой Бордадым, и тут Снаб запричитал:

— Люблю я ее, люблю... Не понимал раньше, не ценил — виноват!.. Люблю! Найди ее, Борина, найди — озолочу, рабом буду твоим! Ай-я-яй!.. Горе!

— Уведи его, батя!..

— Пошли телек смотреть, — решительно взял Снаба за шиворот старый. — Ухохочесся над вами, мужики... Пойдем — там и покурим!

— Я убью этого Молоточника! Убью!

— Убьешь, пошли... Оставь Борьку на телефоне.

Капитан откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, положил руку на телефонный аппарат. Посидел в таком положении, как в раковине. В полутьме набрал номер.

— Михаил Иванович, сходи в подвал... Глянь: там Наташка Бородулина не кутит с Толиком? Видел, да? Шельма!.. Да ушла из дому утром мусор выносить и пропала! Михаил Иванович, милый друг, спустись, скажи, что я звонил: пусть летит домой на крыльях! мухой! Не то я сейчас возьму такси и всю хевру разгоню. Так, Михал Иванович, и передайте им, чертям! Они меня знают, я быстро лавочку прикрою и больно... Спасибо! Я ваш должник. Потом позвоните мне, если не трудно. Отбой.

«Ну вот... Значит... это не Молоточник... — не то разочарованно, не то облегченно подумал капитан. — Вот и женись после этого... Такая вот Наташка попадется — пиши: петля... А жениться надо, иначе майора не видать... Отцу внука надо, ему повезло, в их время-то бабенка — она место знала, нынче — сплошной шантаж и судопроизводство! — Капитан вдруг поймал себя на том, что, думая — бабенка, он не относил это к своей матери. — А ведь все они — чьи-то матери горемычные... — Капитану стало жаль себя, одинокого волка двадцати восьми лет. — А за Молоточника медаль бы отхватил махом, — смущала его мыслишка. — Кто у нас медаль имеет в отделе? Никто боевой-то и не имеет. У полковника юбилейная... У майора — одни значки... Тут бы самое и времечко: медаль и жениться. Сашка Сигайлов женился, аспирантуру кончает. Таковую, как Вера, отхватить только этот умник и мог, куда уж нам...»

Капитана понесло в мыслях так, что он вдруг понял, что ничем не отличается от уголовника. При другом стечении обстоятельств... да без отцовского ремня, да при таких-то желаниях — вышак обеспечен. И с поразительным хладнокровием капитан сказал себе:

— Ну и подлец же ты, Боря!.. Господи, прости меня, грешного! Боже святой, святой крепкий, прости меня... Я ведь глушу эти свои желания, я борюсь с ними, Господи, а значит, не все пропало! Дурные мысли, похоже, во всякую голову стучатся, но не всяк их умеет заглушить, правда? А я могу, Господи...



Он вздрогнул от глухого телефонного звонка.

— Спасибо, дорогой Михал Иванович! За мной должок... Привет супруге!.. Сна-а-аб!

— Ай! Ай! Что, что, что случилось?

— Иди домой... Дома твоя... Полужива, но абсолютно здорова...

17.

Тогда, пятнадцать лет назад, моя фамилия была Сигайлов. Звали Александром. Какой была фамилия отца моего, пока он заячьими вскидками не стряхнул со следа охотников, я уже никогда не узнаю, наверное. За пятнадцать лет я сменил четыре псевдонима потому, что убил того Молоточника, отомстил за Веру и исчез с Бордадымовой помощью из списков живущих Сигайловых. Для моего спокойствия Бордадым попросил майора Сухнева лично заняться моими розысками. Из моих одногодков нашли: Сигайлова Александра, погибшего в Чернобыле; Сигайлова Александра, сгоревшего заживо в танке под Кандагаром; Сигайлова Александра, убитого в перестрелке с армянскими боевиками (майор Сухнев подивился тому, что его вдова, которая нынче замужем за бизнесменом, считает дурацкой службу человека, бывшего на земле ее супругом); Сигайлова Александра, микробиолога, погибшего от шальной пули в Азербайджане (он оказался детдомовским, был, по воспоминаниям, очень худ и прожорлив, по ночам выходил во двор с бутербродами: сыр, зелень, лаваш. Во дворе ел, улыбался, глядел на огромные южные звезды); Сигайлова Александра, убитого при переходе польской границы из любви к некоей молодой Ванде, из тех, что торгуют на приграничных «балках»...

Оставались еще и живые Сигайловы Александры, но их было много меньше, чем побитых, да и по документам они, говорил Сухнев, не совпадали с разыскиваемым мной.

Я уже отчужден от самого себя тех лет, того меня нет на свете.

18.

Лев Иванович Круглов, образцовый холостяк из служащих ученых, поднялся из-за письменного стола, потянулся для растяжки суставов и, делая приседания, прочел завершающий сегодняшнюю работу абзац: «Как и все художники мирового уровня, Антон Павлович хорошо знал лексику бранной сферы, которую он широко использовал в жанре эпистолярном, где не был связан печатным узусом и цензурой, но — увы! — эта сторона творчества большого писателя сокрыта, как оборотная сторона Луны, даже для читателя академического собрания сочинений». К своей зарплате мэнээса Лев Иванович солидно приплюсовывал, пописывая студентам рефераты, от своих тридцати семи лет хорошо выглядел, регулярно занимаясь утренней гимнастикой и вечерними прогулками по лесу. И в этот день Лев Иванович быстренько изготовил бутерброды, залил в термос чайку, а в чаек легонько плеснул гаванского рому — и на прогулку

отправился в начале шестого, упиваясь плавным течением своей жизни, ее замкнутостью и герметичностью, которые как бы возвышали его над мэнэсами всего остального академического мира этого огромного государства. А кто знает, что у Льва Ивановича штопаные носки и зубная щетка сварена по излому на огне спиртовой горелки? Кто знает, что Лев Иванович не женится по робости и неумению острить, а не потому что наука для него — юбер аллес? Ни один человек пока не знает и того, что Лев Иванович хочет иногда быть в обществе раскованным, грубоватым и смелым, но когда приходит час дебюта, он робеет, говорит скупой и сдержанно, как учебник для младших классов, жалеет сам себя, а потом идет домой и напивается спирту технического в полной изоляции от веселой, молодой публики.

— Эх, Лёва! — говорит ему назавтра кто-либо из вчерашних дам. — Вы ушли так незаметно, а ведь самое интересное было потом! Знаете, что было?..

— Ах... вчера... Вчера... А-а! Я ушел на почту — мама звонила, да да... Звонила мама, — врал Лев Иванович, еще больше желая удалиться в лес, в пустыню, в катакомбы. Вероятно, он жил не своей жизнью, воспитанный богобоязненной бабушкой и книжными положительными героями; а где его, Льва Ивановича Круглова, жизнешка — господь знает!

В кольце молодого сосняка на всю зеленую еще полянку Лев Иванович расстелил штормовку, полежал на спине, глядя в ясное сентябрьское небо; перевалившись набок, почитал Брюсова и понаблюдал за безымянной букашкой, долго бредущей от строчки к строчке по книжной странице; сидя выпил чаю с ромом и бутербродами и поднялся в обратный путь, едва начало смеркаться.

Не прошел он и десяти шагов, как навстречу ему из-за двух толстых сросшихся сосен вышел человек в шляпе и сером пальто. И шляпа, и пальто, казалось, были велики этому человеку, похожему на серый квадрат в разноцветном поле.

— Стоять! — приказал квадрат Льву Ивановичу. — Руки вверх! Предъявите ваши документы!

«Бред какой-то! — в ужасе подумал Лев Иванович. — Как предъявить документы, если руки вверх? — И тут сердце его панически вздрогнуло: — Это не милиция! Это — Молоточник!»

Квадрат медленно приближался к Льву Ивановичу.

«Но... я же не женщина!» — недоумевал задержанный какие-то доли секунды, а потом с криком «бля-а-а-а!» резво взял с высокого старта, боднул и опрокинул квадрат навзничь, на огромной скорости забрал влево и скачками понесся в сторону городка, слыша за спиной стихающее «а-а-а!».

Это голосил квадрат — Ваня Мак-Аренко, патрулирующий лес по дружеской просьбе капитана Бордадыма. Растирая ушибленную грудь, он пустился в погоню за злоумышленником, не стараясь догнать — да и отрыв был велик, а стараясь загнать, выследить, выгнать на людей. «Хорошо, что не молотком он меня угостил! — выговаривал Ванин мозг. —

Молотком-то по ореху — ой-ей-ей! Убью гада!» — И Ваня продолжал преследование, сокращая дистанцию между собой и гонимым, но не настолько, чтобы приступить к вынужденному задержанию с риском для жизни. «Хрен-то! — думал Ваня весело. — Вот к конечной остановке выведу его, а там — народ поможет!»

Такие разноречивые мыслишки искрились в его мозгу, и уже видна стала будочка конечной остановки, и человек в зеленой штормовке — видел Ваня — стриганул, не сбавляя скорости, мимо, вглубь городка, во дворы пятиэтажек. «Врешь — не уйдешь!» — пылко, по-старинному подумал Ваня, но полетел, полетел, полетел, после того как нечто рвануло его за левую ноженьку, и приземлился на травяной ковер, икнул, ударившись оземь. Тут его и начало полоскать. Его рвало, и Ваня с чувством исполненного честно долга помогал себе как мог. Да, это уже не молодость, когда легкие чисты, а носос радуется нагрузкам... «Пить меньше надо, — вяло решил Мак-Аренко. — Или больше?» — Он утер слезы и, чувствуя боль во всем своем ушибленном теле, вышел на конечную остановку.

— Тут пробежал такой... в штормовке, с выпученными глазами? — спросил Ваня у знакомого лица.

Ваню знали многие и тут же ответили:

— Во двор, во двор проскочил... Во-о-он тудэй!

Пришел Ваня и во двор, где в беседке сидели новые люди и уговаривали гитару выдать строевую песню про любовь для стоявшего тут же курсанта военно-политического училища.

— Куда пробежал пучеглазый такой, в зеленой штормовке? А, дети? — спросил бледный Ваня летучим своим тенорком.

Дети и курсант радостно накинулись на Ваню, скрутили ему руки, намяли суставы, крича кому-то, на балконе стоящему:

— Мы его поймали, поймали! Сюда-а, Лев Иванович! Сюда-а!

Спустился во двор Лев Иванович Круглов, молча оглядел вздыбленного Ваню и произнес:

— Он. Молоточник. Я уже вызвал органы. Он.

— Кто, я Молоточник?! — ужаснулся Ваня. — Ты, ты, ты Молоточник!

Народ стекался, как белые кровяные тельца к занозе.

— Звоните Бордадыму! — кричал Ваня. — Сволочи! Добровольца хватать?! Гадюки дратые, твари двуногие, звоните Бордадыму!

Кто-то сказал:

— Да это ж Ваня Макаренко!

— Вань, привет! Ты что — Молоточник? Ге-ге!

— Я тебя запомню... Я вам докажу... — не мог еще отдышаться Ваня. — Вы что, не знаете меня? Ты... как тебя? Снаб, что ли? Ты что, не можешь за Бордадымом в кабак сбегать? Дуи быстро, а то скуло сверну, как освобожусь!..

Но милиция прибыла вперед Бордадыма.

19.

Веру Сигайлову везли в морг, и голова ее глухо постукивала на выбоинах асфальта о днище кузова.

— Остановите! — Саша стучал кулаком по стене фургона, но в кабине его не слышали ни шофер, ни милиционер. Тогда Саша сел на деревянный настил кузова, подсунулся тихонько, осторожно своим бедром под голову Веры, обнял ее за плечи, а щекой прилег к ее холодному лбу. Так и окаменел на года.

После похорон старый Бордадым сказал:

— Дал тебе бог, Сашка, одну хорошу бабу, да и ту забрал... Каки вы мужики? Дети вы мудастые — вот вы кто...

20.

Бордадыму позвонил начальник.

— Срочно приходи в гостиницу, Боря... Тут майор из Москвы хочет с тобой поговорить, постфактум...

— Почему постфактум-то? — выжидательно засмеялся Боря.

— Давай, давай... Вырастешь — узнаешь, — сказал начальник и кончил связь, а Бордадым, повертевшись у зеркала с галстуком, почистил туфли, взял папочку и направился в гостиницу по чудесной сентябрьской поре, по срединному утру, по приказу начальника.

— Явился по вашему приказанию, товарищ майор! — отрапортовал он, глядя прямо в затылок начальника, потому что тот стоял у окна, по-вождистски расставив ноги, и тоже любовался сентябрем, и отпивал из хрустального кубка шипучий боржом. «Тоже, видать, с бодуна...» — тепло подумал Бордадым.

Майор грациозно повернулся лицом к Бордадыму, он словно разучивал приятный танец, и приятная улыбка освещала худощавое лицо разведчика, ординарное, как подъезд панельного дома. Он приткнул кубок на краешек стола, подал руку Бордадыму:

— Здравствуй, капитан. Садись рассказывай. — И сам уселся в мягкое, как детская игрушка, кресло. — Рассказывай, как твой неофит в консерватории? Поступает ли от него информация?

— Он словно воды в рот набрал, Никита Палыч! Дизел говорит, что он вообще бросил консу и удрал не то в Саратов, не то в Чебоксары... С перепугу, с пэрэляку...

— А чего ж он злякався? Чем ты его так зашугал?

— Трудно сказать. Он легко пошел на вербовку, считая себя борцом с сионизмом, а нас — своими. Возможно, он единственный в своем тираноборчестве на всю, мать ее ети, консерваторию, и при этом еще талантливый музыкант! Уже само его поступление в консервато...

— ...это подвиг? Ну и куда же он со своим талантом запропал? И ни единого сигнала! Вот так клиентов ты находишь! А этот твой дурачок Мак-Аренко, сеятель паники! Ты б ему хоть корочку красненькую

сгношил, Боря! Они ж ему все ребра в ментовке пересчитали, пока ты не явился! Это что за отношение к сотрудникам?

— Он никакой не сотрудник, товарищ майор. Он мой приятель. Для души, так сказать...

— Ты мне про душу молчи. Молчи, ничего не говори, разложенец ты, а не Бордадым... С такими приятелями — именно разложенец, со всеми твоими Дизеями и Бемолями, с Бекарами и Ферматами! Погоди же, я до тебе доберусь, сигналы на тебя имеются, Боря, мотай на ус! — Никита Палыч глянул на свои карманные часы. — Мотай... — повторил он и зевнул со слезой. — Боржомчика хлебни, горе... Слушай, чем ты перегар глушишь?

— Воздержанием от алкоголя! — сказал Бордадым.

— Ты кому говоришь? Встать! — И сам вскочил.

В номер вошла Галия Габдрахмановна и произнесла:

— Садитесь... Будем проще с коллективом...

Никита Палыч поцеловал её ручку и представил:

— Майор Габдрахманова... Капитан Бордадым...

21.

На седьмом году перестройки светлым утром Вадим Крякутный шел в молочный магазин к открытию. Пели вороны. Где-то рыдал диковинный на Москве баран — и вдруг затих, как шашлык. На свежем клочке асфальта лежала бескровно убитая каштановая собака средних размеров, глаза ее были закрыты, она отмучилась и прервалась. На уровне носа Вадима Крякутного струились запахи мусорных баков, отработанного горючего, вчерашнего пота, но особенно плотным и вечным казался гниlostный запах невесть чего с Останкинского мясокомбината.

На уровне ушей Крякутного свистела горская речь: открывались поганые воровские киоски с гуманитарной помощью. Из горской воркотни выделялось слово «баксы». Оккупированная русская столица устало умывалась из вялой поливальной машины, так после пыток приводят в сознание арестанта.

Еще выше увидел Крякутный дельтапланериста. Он кружил вокруг телебашни и что-то кричал в милицейский «матюгальник». Кто он был: демократ или кадет, монархист или большевик, ждал ли его дома кто-нибудь и есть ли у него дом; занесло ли его попутным ветром из-за бугра или же он жил в небе над Москвой — не узнаешь, пока не подстрелишь, а и подстрелишь — замолчит, не быть живу, грохнись он с такой высоты, ранняя пташка новой России.

У входа в магазин Вадим Крякутный подал трем нищим поровну.

— Дай тебе бог здоровья, сынок, — сказал самый молодой нищий и закурил, наглец.

Крякутный молниеносным движением вырвал у него из толстых губных валиков сигарету и бросил в стоящую у ног нищего шляпу — шляпа задымилась; коллеги злорадно захихикали, а нищий бросил костыли, лов-

ко двинул ногой шляпенцию в угол подъезда и, повернувшись, расстегнул ширинку, стоя спиной к прохожим. Так погасил сигарету, но этого Крякутный уже не видел.

У прилавка затоваривался молоком детина с трясущимися руками.

— Сто две... — шептал он, — сто три... — и огромная сумка заполнилась на счет сто десять.

Детина со счастливой улыбкой оглядел молчаливых горожан у кассы и спросил, словно сам у себя:

— Да... как же я это попру-то?..

— А я тебе помогу! — вызвался Крякутный. — Становись!

— Вот спасибочки, господин хороший! — отозвался счастливый барыга и встал, чуть согнувшись и растопырив лапы, спиной к доброжелателю.

Доброжелатель же, взвалив суму на собственные плечи, пошел к выходу под одобрительные хохотки очередных. Детина распрямился и вознегодовал.

— Эй, господин хороший! Товарищ! — кинулся он вслед за Крякутным. — Куда ж ты, козел? Стой! — Он решительно вцепился в сумку, но похититель не сбавил хода — так и спустились с крыльца на асфальт.

— Стой, паразит! — кричал паразит Крякутному. — Куда ж ты прешь, как на буфет? — И он вдруг отпустил сумку, забежал вперед похитителя и встал, как шлагбаум, на его пути. — Держи во-о-ра-а!

Крякутный поставил сумку на асфальт, разогнулся, но все равно оказался на голову ниже барыги, однако, когда тот с подшагом двинулся к нему, чтобы нанести удар в голову, Крякутный легко ушел в заднюю стойку, правым предплечьем отбил летящий кулак и левой снизу ужалил барыгу. Тому оставалось лишь притвориться мертвым, беспамятным, что он и сделал. Крякутный же неспешно вскрывал пакеты с молоком и поливал ими поверженного, говоря:

— Очнись, шеф... Очнись, земляк! Молоко скиснет!

Редкие прохожие переходили на другую сторону неширокой московской улочки. В городе царил беспредел: боялись бандитов, боялись милиции, боялись голода, боялись грядущей зимы. Одним словом, террор.

Возвратясь в логово, Крякутный выпил кефир, почистил гранатомет, спрятал его в антресоль и стал ждать Бордадыма, слушая радионОВОСТИ:

— «Это стало очевидным, когда Руцкой прибыл в Молдову, чтобы добиться компромисса в Приднестровье — прекратить огонь, развести вооруженные формирования, ввести во фронтовую полосу...»

— За все ответишь... — сказал Крякутный, возбужденно постукивая кулаком правой в ладонь левой и наоборот. — Эх, борики-шурики!..

— «Мы ищем круглый еловый материал из СНГ с мелкой структурой годичных колец... Категория качества... Длины... европейская колея...»

— Будет вам колея, друганы, — заверил Крякутный. — Держите курс на СНГ, но бойтесь рифов...



— «Чтобы весь мир, а особенно американцы, для которых свобода слова — это святое, заговорили и зашумели, чтобы в этом сердитом шуме кто-нибудь вдруг вспомнил про миллиард долларов, который уже в начале августа нам обещали... пишет Эдди Гонсалес...»

— Эдди, стало быть... Им обещали, значит... Но могут не дать, если будут плохо себя вести... Ай-я-яй! Запомним, Эдди, запомним...

Он разобрал и почистил «беретту».

Бордадым вошел почти бесшумно, но Крякутный, не оборачиваясь к нему, занимаясь сборкой оружия, сказал:

— Привет, генерал! Работу принес?

— Привет. Срочно. Нужен политический прогноз на осень.

Бордадым поставил дипломат на стол, отмечая небрежно детали револьвера, покрутил колесики цифр на замочках.

— Тут вся информация...

— Всей информации в политике не бывает, — с неприятным скрипом в голосе поправил Крякутный. — Чего ты со своим чемоданом — в комнату не мог? Обязательно тебе этот стол нужен?

— Я тебе объясню: работа срочная, в ней заинтересован *сам*...

— А при чем здесь кухонный стол? Она быстрее не сделается, работа твоя, анчихрист! Так?

— Ты, Сашка, брось придирааться... Кончай пушками баловать — вникай в информацию. Тебе дается двое суток на все...

— Сколько?

— Пятьдесят штук.

— Сколько из них мои?

— Все твои. Что за вопрос? Ты еще миллионером не стал, Шурик?

— Я не Шурик. Вадим Крякутный я, запомни, эксцеленц... И не считай моих денег — это цена проданной жизни.

— Да хватит пафос-то взгонять! Всем бы так жить, как ты — полная свобода, никаких мелочевок...

— Все не могут иметь такую голову, согласишься?

22.

После убийства Молоточника менявший внешность и имена Саша Сигайлов мотался по стране. В старинных городах он приходил на кладбища и бродил по ним часами. Он думал заработать денег и поставить памятник своей Вере, ничего в жизни он тогда более не хотел. Он присматривался к надгробьям и надписям на них, он садился на скамейки за могильными решетками и, как некогда на железнодорожном откосе, предавался неясным размышлениям о будущем, о смерти, о долге человека перед своим даром жизни... Он заходил в редкие по тем временам действующие православные храмы и слушал проповеди, считая себя погибшим человеком, желая спасения. Саша, возможно, ушел бы в лоно церкви, но его крепко держал на крючке Бордадым и нещадно использо-

вал знания друга детства, его умение мыслить и обобщать, предугадывать события, выстраивать возможные варианты их развития. Саша запомнил одного рыжего священника, отца Наума, пребывающего, казалось, в вечном озарении. Прихожане любили слушать его и понимать, а кто не понимал, тот просто плакал, облегчая душу.

— Для человека, не испытывавшего действительного добра, оно представляется иногда как напрасное мучение, никому не нужное... Есть состояние неверного покоя, из которого трудно бывает выйти. Как из утробы матери трудно выйти ребенку на свет, так бывает трудно человеку-младенцу выйти из своих мелких чувств и мыслей, направленных только на доставление эгоистической пользы себе и не могущих быть подвинутыми к заботе о другом, ничем не связанном с ним человеке... — говорил отец Наум, напоминая Саше учителя из обской проруби. — Выдумывайте в необходимом случае какую угодно нелепую ложь, но не говорите в ежедневном житейском обиходе неправды ближнему своему...

«А кого же мне считать ближним?» — не понимал Саша.

— Пустяк это, мелочь, ничтожество, но попробуйте это исполнить — и вы увидите, что из этого выйдет. Верный в малом оказывается верным в великом...

«Поставить бы памятник Вере, да ведь не могу я открыться в городке...» — думал Саша, бродя по чудом уцелевшему монастырскому кладбищу. Шел со службы рыжий священник, и Саша вдруг рванулся к нему:

— Отец!

— Чего тебе, сыне? — остановился тот, перекрестив издали Сашу.

И крест словно остановил Сашин порыв, утишил его.

— Вы служите вечером? — спросил Саша, сам того не желая — он бежал к отцу Науму за чем-то совсем иным. — Можно прийти? А, отец?

— Кто ты, сын мой? Приходи, двери храма открыты для всех страждущих...

— Я — убийца, — выпалил Саша.

— Изыди!

Священник подобрал рясу и дал ходу. Саша засмеялся ему вслед, закурил и пустил струйку дыма.

— Кайся! — издали прокричал отец Наум.

— Обязательно! — ответил Саша. — Сейчас!

23.

— Прямой удар... удар снизу... скрученный удар... удар ребром ладони сверху... удар основанием ладони... удар локтем... удары ногами — прямой... назад... боковой... сбоку снаружи... сбоку изнутри, верхний блок... средний блок наружу... средний блок внутрь... освобождение от захвата двумя руками за запястья... шеи спереди... туловища спереди... — Родина в опасности!

24.

— Майор Габдрахманова... Капитан Бордадым... — сказал Никита Палыч, жестом приглашая всех присесть. — Майор Габдрахманова — наш куратор из столицы. Какое на вас впечатление произвел наш капитан, Галия Габдрахмановна?

— Деревенский детектив, — ответила майорша, роясь в сумочке.

«Диктофон, сучка, включает», — подумал Бордадым и сказал:

— Присылайте столичных! Они тут быстро оплывут. А возможно, захиреют...

Никита Палыч скомандовал молчать. Майорша улыбнулась:

— Надо отдать должное капитану — у него очень живой ум и оригинальная рабочая методика... Весь городок знает, что он работает в КГБ, ему в ресторане овадии устраивают.

— Как можем, — ввернул Бордадым, и Никита Палыч матюгнулся беззвучно, одними губами, но очень выразительно работая мимикой.

— Нет-нет, Борис... Я совсем не осуждаю вас. Тут в самом деле шила в мешке не утаить — деревня, потому ваш стиль не порочен. А вот агентура у вас слаба, слышите? Какие-то примитивные люди получают у вас зарплату: я беседовала с двумя из них, с Интегралом и Кварком, они что — дураки?

— Конспирируются, косят под дураков, — пояснил не без ехидства Бордадым. — Они же не знали, что вы куратор, правильно? Откуда им знать, что ими интересуется столь важная персона, а?

— Лучше б они косили под умных. Не так ли?

— Спорно, спорно! — поджал губы Никита Палыч и тяжело вздохнул. — Умных боятся — дураков нет...

— Меня интересует ваш друг детства Александр Сигайлов. Расскажите мне о нем. Он ведь занимается социальным прогнозированием, политологией? Я не ошибаюсь? Расскажите.

— А... как ваша голова — не болит, надеюсь?

— О нет. Как она может болеть — это же кость.

— Тогда слушайте...

— Пойду закажу чайку в номер, — удалился Никита Палыч, страшно чем-то довольный. — Продолжайте...

— Так что именно вас интересует? — спросил Бордадым, выигрывая время и с огромной скоростью прокручивая в голове своей капитанской, сколько клюквы развесистой можно добавить в этот кипяток, чтоб было не кисло, не сладко, а в самый раз. — Мое к нему отношение?

— Ну уж вы-то идиотом не притворяйтесь. Не пройдет. Я вас насквозь вижу. Давайте работать, Бордадым, у нас работа такая: вам говорить — мне слушать и делать выводы...

— На сотрудничество он не пойдет.

— Капитан, вы что, не хотите стать майором? Вы что, испытываете мою выдержку? Отвечайте: где родился, где учился, кто родители, что любит, что не любит, чем слаб, чем силен, комментируйте, предлагайте... Что вы... как молокосос.

Капитан Бордадым рыкнул:

— Слушаюсь! — и начал свой рассказ: — Мы росли в одном поселке, и в детских войнах Сашка всегда командовал, потому что был учительский сынок — раз; был отчаянней и изобретательней меня, к примеру — два; три — занимался всерьез спортом, организовывал нас на строительство каких-то спортплощадок, футбольных ворот и в тимуровскую команду... хе-хе-хе... Двум старухам помогали умирать... Так, стало быть... В тимуровскую — говорил... Да. Отец его, бывший фронтовой офицер, в пятьдесят шестом попал под сокращение в звании... хм... капитана, тогда они и переехали в Сибирь, к нам в поселок. Отец погиб на ремонте экскаватора... Он приобрел специальность гражданскую — помощник машиниста экскаватора. Вот его на ремонте и придавило ковшом, каким-то образом ковш упал, перелом костей таза, множественные разрывы пузыря, сами понимаете... Тогда Сашка бросился в книгоечейство, в музыку — мой старик отец обучал его играть на трубе, на альте. Потом поступил в индустриальный техникум, чтоб облегчить жизнь матери, из техникума вылетел, уехал в тайгу полевым рабочим, что ли... уже не помню, к сожалению, подробностей. От матери скрыл, что не учится, так до смерти она и не узнала, что он не стал инженером. Далее — служба в армии, где он вызвал на дуэль командира части, и после психушки, с полгода не дослужив, вернулся в город. Я тогда уже кончал университет, я на два года старше. Вернулся он, пришел ко мне в универ, на Пироговку, жил у меня, ходил в вечернюю школу. Потом — экономфак, Абел Гезевич, Татьяна Николаевна. Сейчас — аспирант. Специализация вам известна. На днях женился, я там был, мед-пиво пил. Вот вкратце все...

— Как он до женитьбы с женщинами?

— Запросто!

— Конкретней, пожалуйста.

— Я у них свечку не держал! — обиделся притворно Бордадым.

— Ну... успехом пользовался?

— Громадным, я вам скажу! Вот свежий пример: его нынешняя жена Вера до недавней поры считалась невестой Толи Соснова. Каково?

— Это того, что дал обет молчания?

— Точно так, товарищ майор!

— Но, насколько я понимаю, он не бабник, не юбочник?

— Кто, Толя? Не-е-ет!

— Я о Саше.

— И Саша нет — они, кобылы...

— Выражайтесь корректней, капитан!

— Слушаюсь: выражаться корректней! Они, девы-то, сами на него виснут! Вот видели клещей на таежных птицах?.. Ф-фу! Так и наши девы на Сашку. А что? Замучили его — он и женился. Но Вера-то — золото, не человек: красавица — раз, отличница — два, умница — три, хозяйка — четыре, не вертихвостка — пять... — Бордадым держал перед собой кулак, словно в зажатом кулаке находилась словенная муха, а он размышлял: отпускать или не отпускать муху на приволье помоек. Бордадым

валял дурака, он так тупо глянул на майоршу, что ее передернуло, и она сказала:

— Может, хватит, а, Бордадым? ... Ваша фамилия звучит как должность... Откуда она?

— Надо тятеньку спросить!

Галия Габдрахмановна встала у гостиничного окна, достала из сумочки губную помаду, зеркальце и, сказав:

— Ох и хитер ты, Бордадым! Но ты на месте! — стала гримасничать, округлять рот под покраску, выгибать брови. — Значит, Сигайлова надо работать. Ра-бо-тать! Сколько языков он знает?

— По-моему, три — основательно...

— Работайте, Бордадым. Вы должны, если не верите в вербовку, передать его при случае нашим ребятам. А случай нужно устроить, думайте.

— Алло! — закричал Бордадым, хватая телефонную трубку. — Что? Кого? Да, это я, Пастор. Да, славянский шкаф, хе-хе, продается... Кто утонул? Дизель? Подумать только! А я недавно пошутил, что он молчит, как воды в рот набрал! Мистика! — Он прикрыл микрофон ладонью и шепнул майорше: — Агент утоп — во дела! — И в трубку: — Слушай, Банщик, а не утопили ли его? Остановка сердца... Асфиксия... Ага! Алкоголя нет? Со страху, значица... Мы разберемся... Разберемся... Пока.

25.

— «21.09.1983 г. от Р. Х. Здравствуй, Боря!..» — зачитал капитан вслух. — Боря, значит? — Он почти ласково глянул на Толика Соснова: тот сидел в кресле напротив и смотрел в полировку Бороного служебного стола, клоня плавно голову то влево, а то вправо. — Обет, стало быть, молчания? Ладушки... — Капитан помолчал тоже, засмеялся натурально снисходительным смешком, словно бы забегаая взглядом в смешной следующий текст, и продолжил чтение вслух: «Есть такое выражение — друг ситный. Иногда я буду позволять себе такое обращение к тебе, ведь у нас в стране все товарищи, а вследствие этого почти друзья. Не помню, писал я тебе раньше или нет о том, что наша Россия, запряженная Мерином Покорности, являет собой Возок Нравственности и греет и гладит мир, словно уют, исполненный Душ Горячих, олицетворяющих саму любовь. Любовь с большой буквы! Ты, государственный Щит и Меч, козел, не понимаешь того, что скоро кругом будет литься детская кровь, и просяживаешь в ресторане с легкими женскими порванками, а на Россию — это дитя Божие! — уже заточены ножи, отлиты из ее же недр пули. Где ты и твои бдительные отцы-предатели? Вы кидаете в темницы несчастных и заблудших, вы неспособны, как я нынче, завести и поросенка с теленочком, собаку, заняться огородиками и саженцами»... Насчет саженцев ты, Толик, неправ... Сажаем... А этот твой отвлекающий маневр мне ясен: под крестьянского философа косишь?.. Итак: «Нынче сухо. Один полив сколько времени отнимает, а мне о вас еще думать, о тунеядцах, все равно что из пустого в порожнее переливать. Так и по начальству передай, что



нам в аду гореть за измену Родине, это я вам обеспечу с Господом нашим Христом. Я уж сколько писем тебе написал, а ты все дурак дураком. На днях приезжает моя историческая жена (по Апокалипсису), и мы пойдем в сельсовет подавать заявление. Ей, Боря, 36 лет, ни разу замужем не была, и исторический Сын будет для нас воистину тяжел, но он вам за все отомстит. И аз воздам! А Андропычу — глаз на жопу натяну и моргать заставлю: я — народ, ясно? Ты — дерьмо плавучее, это тоже ясно? Андропыча-ленинца я тоже на днях благодетельствовал своим письмишком на пол-листочка. Я был бы рад, если б ты черкнул-чирикнул мне пару строчек о том, где вы с Андропычем учились государственной мудрости, да боюсь — арестуете, и адреса своего вам не дам...» Да мы сами, сами с усами — найдем! Правда, Толик? Ах, извини — забыл, что у тебя обет молчания... Ничего, писать-то ты не зарекался — все и напишешь, как на духу. Итак: «Помни, Боря: все ваши премудрости для меня — оно на палочке. Когда вступит в силу мое мнение, вы убедитесь, что безумие — строить дом без фундамента, как это делаете вы, а народ еще и жалеет вас. Думает, ах, запутались вожди, ах, заблудились! Вы прекрасно знаете, что творите в ваших высших эшелонах власти. И пишу я тебе лишь в силу того, чтоб ты слушал — это мой курс твоего лечения...» Ты меня полечишь — я тебя, Толик... Ты мне — я тебе... Читаем далее: «... после которого ты, возможно, и поймешь — я вижу агонию эфемерного социалистического благополучия (а значит — не я один), и попытки втянуть после этого Страну Дураков в благополучие рыночное столь же наивны для разумного человека, сколь и сам мир в общей наивности и ложности нынешнего своего развития — страшным будет тормозной путь сначала для нас, умирающих детей, а потом уж стократно для вас, умников, выбившихся в отцы. Труд ваш остроумен, сказать нечего: мы ждем от вас охраны безопасности государства, а вы беспокоитесь о безопасности вождишек. Стыдно. Ох, блин, как стыдно! Ай-я-яй, Боря, бывший пионер! Вы вот все Сталина клеймите, однако если Сталина принять за параноика, то уж Лёню и всех, кто кандидат на участие в лафетных гонках по Красной площади, вполне можно принять по сравнению с дядюшкой Джо за ярко выраженных дегенератов, явно спутавших личные ценности с общечеловеческими, но это лишь кажется, это подстава, фишка — тут у вас страховка отработана. И я вам, дуракам, пишу, что знаю о ваших проделках и буду клеймить вас, дураков, каленым железом и рвать вам ноздрю. Гуд бай! Гуд найт! Аста маньяна! Аста луэга! Ауфвидерзеен, господа интернационалисты, заразные и чумные! Человекобог Апокалипсиса. Подпись». Человек Апокалипсиса, а почерк твой! Интересно, как он подделал твой почерк, а, Толик? Вот заключение графологической экспертизы, а вот и литературный эксперт пишет, что стиль и лексика твоих рассказиков сходны... Так и будем в молчанку играть? Продолжим? Или подпишем кое-какие бумажонки?

Соснов молчал и грустно жевал кончик спички.

— Подпишем — и в больничку, а?

Соснов поглядел на разжеванный кончик спички.



— А кто свою бывшую невесту молотком по... А?!

Соснов швырнул щелчком спичку в Борю. Не попал.

— Хорошо, хорошо... — сказал задумчиво Боря. — Пока брать тебя не будем... Пусть Сигайлов тебя собственноручно, как только излечится от нервного, заметь, потрясения. Пока свободен! Иди! И чтобы снабвской жены в твоём бардаке не видели, иначе получишь срок за содержание притона. Да что там притон? Я тебе статей штук восемь пришлю на предъявителя... Иди, монашек, иди и прожигай дни в молитве. Мы за тобой ещё зайдем чуть позже... Подпиши о неразглашении нашей беседы — и гу-у-уляй себе по подвалу. Вот тебе ручка, вот остальное...

26.

«Вот остальное... — крутился барабанчик в сознании капитана, — и основное... Вот и подпишем... выйдем-подышим...»

Он думал о пляжном волейболе, о своих новых японских плавках и своих же загорелых ногах в золотистой шерсти, о скорых дождях и об отце, который стал глохнуть и разговаривать так громко, что собаки с улицы начинали панически лаять, когда старый Бордадым говорил: «Сынок! Переключай на первую программу!» Или: «Борька, в лоб твою аришку! Почему же в баню-то бы нам не сходить, а?!»

Он-то думал вслух, а от его думанья по экрану телевизора начинала бежать строчка и корежиться изображение. Капитан со щекоткой в ноздре думал, что-де люди не вечны, что придет и отцово время, что... Дальше капитан паниковал и, нажимая кнопку звонка, вызывал из словно запаянного с двух концов коридорчика следующего, который записался по очень важному делу.

Следующий вошел.

Спортивная прическа, лоб без морщин, легкий стройный молодой человек.

— Здравствуйте, — говорит. — Моя фамилия Шведов, зовут Николай...

— Здравствуйте, — отвечал капитан Бордадым. — Садитесь, — указал он на кресло. Поправился: — Присаживайтесь... — и поинтересовался: — С чем пожаловали, товарищ Шведов?

— Знаете, возможно, я видел Молоточника! — уселся посетитель, облокотился на стол и подпер кулаком щеку. На глазах его синих блеснула слеза юного пионера, которому доверили важное дело и он с честью рапортует старшему вожатому о точном исполнении. Экзальтированный, одним словом. Или шиз, решил Бордадым-младший мгновенно и спросил:

— Вы видели его только что? Выходящим отсюда?

Синеглазый запротестовал мимикой и жестами, как учат театральных студентов:

— Что вы, что вы! Это я видел Толика Соснова! Какой же он Молоточник, вы что? Тот совсем юноша, белокурый, длинноногий, с чувственным ртом... И видел я его недели две назад на Барышевском переезде,



где полоса отчуждения, как идти со Звездной к остановке экспресса мимо зоны...

— Почему сразу не обратились?

— Ну... Это разговор особый: у меня нет прописки в городе, понимаете? Я улицу только на зеленый свет перехожу, чтоб на проверку документов не налететь, а тут самому являться — избави бог!

— Рисовать умеете?

— К сожалению, нет...

— Если я сейчас вызову художника, то сможете с ним поработать над фотороботом? Как вас по батюшке?

— Николаевич.

— А, Ник-Ник? Попробуете?

— Отчего ж не попробовать!

— Вы поможете нам — мы поможем вам. А пока ждем художника, расскажите мне про обстоятельства вашей встречи с этим мизгирем...

— С кем, простите?

— С этим неуловимым Джеком-потрошителем.

— А-а! Ага!

— Давайте на диктофончик. Не смущает?

— Нисколько.

— А что же вы сегодня не побоялись зайти?

— Так он ведь, я слышал, жену Сашу Сигайлова... убил!

— А вы откуда Сашу знаете?

— Так кто же в городке Сашу не знает! Да и Вера... Что ж тут не понять? Ловить и давить этого выродка! Я бы своими руками... Я гнался за ним...

— Стоп, Ник-Ник!.. Орднунг! Давайте по порядку, подробно.

— Отлично. Я могу и по порядку. — Шведов глянул на часы, скорее по привычке, нежели спеша куда-нибудь. Так решил Бордадым — скорее по привычке, нежели по долгу службы. — Могу, — повторил Шведов, налил из графинчика боржомом, ухнул стаканчик и утер губы рукавом, потом вынул из кармана носовой платок и вытер платком свой рукав, сказав при этом: — Извините. Волнуюсь. Может, выключим диктофон?

— Отлично! Выключим! — согласился Бордадым. Выключил диктофон и включил второй. — Начинайте...

27.

— Начинайте спокойно. Еще воды?

— Да, благодарю вас... Чуть позже. — И он расстелил носовой платок на бордадымовом столе, где под стеклом заключались многочисленные фотографии шпионов, ожидаемых в городок на очередной симпозиум.

— Это зачем? — спросил Бордадым, прикрывая картонными папочками фотографии.

— Это — территория. — Шведов пальцами нарисовал в воздухе квадрат. — Территория, где я живу. Вот дом. — Он поместил на плат-

ке спичечный коробок. — Пять этажей. Панельный. Я тут, на первом, снимаю квартиру. Я поэт. Пока не публикуют, но скоро. Это к делу, как я понимаю, не относится. Да... Да-а! Вот лес, — рубанул он по углу платка, — вот... зажигалка — это дом, стоящий перпендикулярно; за ним... дайте что-нибудь... ага!.. за ним — молочный магазин... Дайте еще какой-нибудь предметик... о-о! изящный сувенирчик!.. Это лагерь для заключенных, котельная-коптельная... По ту сторону — дома персонала и разночинцев, асфальт... телефонная будка... Стройка, где работают зэка... Она вот так, по периметру, огорожена забором с вышками...

— Представляю, — доброжелательно улыбаясь, сказал капитан: ему нравился этот заводной шизик.

— А теперь дайте ниточку. Желательно — черную... Нитки с иглой, говорят, у военных есть всегда.

— Есть. Вы в нас не ошиблись, — капитан открыл ящик стола ключиком и подал Шведову тюрючок ниток. — Плиз!

— Фэнк ю! — отмотал тот несколько метров. — Сейчас я выстрою улицы...

— Вот тут, — сказал капитан Бордадым, — растет полуживая березка, а тут — небольшой котлован...

— Точно! Вы знаете это место?

— А как же! Служба такая!

— Блеск! — сказал Шведов и с сожалением повалил на платочке свои плановые сооружения. — Тогда я так, да? Ну и вот: утром я всегда хожу за молоком. Не то чтобы я его очень люблю, но недорого, и продавщица Оля — очень миленькая девушка... мы с ней... симпатизируем, что ли, один — другой... другому... А в то утро, числа не помню, мне нужно было к восьми часам на речной вокзал, и я прямо без завтрака чешу себе встречу восходящему солнцу. Огибаю тут, выхожу сюда — погода чудесная, радостная, сворачиваю на тропинку к железнодорожной насыпи, вижу: навстречу, метрах в тридцати, идет Оля, а сзади чуть-чуть — с такого расстояния трудно определить разрыв — молодой человек. Ах ты, думаю, скромница! Ах ты, очаровательница! Кто же он, мой счастливый соперник? И когда мы поравнялись, я отступил к обочине тропы, чтобы пропустить эту парочку, показать себя воспитанным человеком, а сам по известным причинам не постеснялся внимательно глянуть в лицо Олиному провожатому, а ей лишь кивнул головой легонько. Она мне ответила, молодой человек опустил голову, мы разошлись, как джонки в океане. Я иду дальше, ах ты, думаю, Оля, ну и Оля! Мысленно сравниваю себя и его: ничего, думаю, парень, но уж больно молод и мокрогуб...

— Мокрогуб?

— Да... Это, разумеется, чисто сенсорное мое восприятие, но у меня осталось неприятное ощущение, что рот у него, уголки губ всегда увлажнены, понимаете?..

— Да, Николай Николаевич. Продолжайте, все это суперархивно!

— Да... Иду я, стало быть, рассусоливаю таким вот образом, и вдруг — Олин крик, а я уже поднимаюсь на гравийную насыпь! Обора-



чиваюсь, вижу — он Олю держит левой рукой сзади за волосы, а правой бьет по затылку, она уж на четвереньках, прошу прощеньица, стоит, а он, похоже, на одном колене — около. Никого вокруг, я бегу, на ходу хватаю кусок щебня, чтоб в руке что-то иметь из оружия, да?.. Вижу, он резко вскочил, увидел меня бегущего, расстояние — метров двадцать по прямой, и сам побежал к асфальту, в сторону Звездной... Я к Оленьке, на себя ее — и к телефону за «скорой»... Она плачет. Я говорю: не плачь, жива ведь, а это до свадьбы заживет...

— И когда же свадьба?..

— Чья?

— Ваша с Оленькой?

— Нет, ну что вы!.. Коня и трепетную лань...

— А она сейчас в том же магазине работает?

— Да-да... Еще красивей стала... Вот с молоком, правда, перебои...

— У кого?

— В торговле, я говорю, перебои, а она... Что она?.. У нее золото на всех двадцати двух...

— Тридцати трех, наверное?

— Что вы имеете в виду?

— Зубы! — сказал Бордадым. — А вы?

— А я все пальцы и пару ушей...

Капитан взял зеленый телефонный аппарат и позвонил в милицию, чтоб узнать, было ли зарегистрировано это происшествие в их милицмейских ведомостях. Нет, ответили ему в районном отделении, не было.

— Хм... — произнес капитан Бордадым. — Значит, вы — поэт, Николай Николаевич? Прекрасно, прекрасно... — «Сейчас определимся, — думал он, — что ты за сокол...» — А не прочтете ли что-либо из своего? Был бы польщен, признателен, а?..

— Дело в том, — словно бы извиняясь, проговорил Шведов, — что Оленька отдалась легким испугом и тоже не сообщила в милицию...

— Но ведь «скорая помощь» обязана сообщить в ментовку о такого рода происшествиях! — не скрывал кислого выражения лица Бордадым.

Шведов развел руками:

— Я сказал вам все как было. Разрешите на этом отчалить...

— Нон! — сказал Бордадым. — Ждем художника и едем в молочный магазин, если вы не спешите. Как?

Шведов снова развел руками:

— Если родина в опасности...

28

...Родина в опасности!

Бросок захватом ног сзади — бросок через голову — бросок через бедро — задняя подножка — передняя подножка — бросок через спину — обыск в упоре у стены — обыск в упоре согнувшись — обыск лежа на земле — обыск группы пленных в упоре у стены — связывание брючным ремнем — связывание веревкой — конвоирование... Повторим!

29.

Однажды в юношеской драке Сашу Сигайлова ударили так, что он вылетел из клеенчатых плетенок и какое-то время не мог вспомнить ни имени своего, ни звания. Нечто подобное приключилось с ним после похорон Веры — шок. Его надо было бы везти в психушку, однако приятель Саши, заведующий райздравом, чтобы не пятнать биографию будущему светилу социологии, положил его в отделение ишемии, где главной являлась супруга заведующего. Та кормила Сашу снотворным, и когда приходили частые радетели и многочисленные товарищи, а Саша выходил в больничный скверик для встреч с ними и улыбался тупо, и мычал, и кивал согласно головой на все ими сказанное — он мало что понимал. Более того, первые несколько дней он не мог находить обратный путь в палату и нервничал, кружа вокруг больничного корпуса на Пироговке. Тогда он прекратил глотать транки, попросил Бордадыма привезти в больницу велосипед и приковать его цепью с замком к сосне у служебного входа.

Ночью Саша выбирался через подвал к велосипеду и накручивал за ночь десятки верст до изнурения сил; потом спал без таблеток.

Когда он ездил по ночным улицам, то тени деревьев складывались в имя убитой, зажженные Господом звезды и светящиеся окна домов — тоже. Саша стал ненавидеть ревущие в поднебесье самолеты: там душа Веры, там много живых душ, а самолет режет по живому.

С тех пор, под какой бы чужой фамилией он ни жил, по каким бы делам ни спешил — только наземным транспортом.

На тридцатом году жизни он оставил целевую аспирантуру, но место в общежитии оставалось за ним.

Иногда соседи видели, как из его комнаты выходила, укрывая лицо в стоячий ворот свитера, стройная пышноволосяя блондинка, на изящных ее ножках были спортивные туфли, а в крупных, размашистых шагах таилась сила. Женщина несла на плече сумку.

— Что ж... Мертвым — мертвое, живым — живое... — говорила вахтерша тетя Галя вахтерше тете Наде. Та в свою очередь молвила:

— Что ж ему теперь, жизни решаться? Вон их сколько, девок, всяко-разно...

— Веру-то больно уж жалко! Вот уж королева прямо была... Царствие ей небесное...

— Царствие... А эта его бабешка все лицо прячет, ай-я-яй...

— Видать, есть чего прятать... У-у! Поганцы все ж таки мужики, ай и поганцы-ы-ы...

Никто, кроме Бордадыма, не знал, что Саша Сигайлов устроил охоту на живца. Бордадым не одобрял этой затеи — в женском наряде и парике болтаться по осеннему лесу. Он знал, что более двух нападений в сезон Молоточник не делает, но знал также, что Сашу отговаривать — воду в ступе толочь.

— Смотри там... — говорил Бордадым. — Не увлекайся... А то схлопочешь молотком по компьютеру...

«Да неужто он так любил ее, Верку?» — размышлял Бордадым, разглядывая фотографии убитой. Смотрел на прекрасные тона леса из окна гостиницы. Где-то там, в лесу, ходит настороженный Саша: у него обострились и обоняние, и зрение, и слух. Выражение лица, обычное для Саши, со смешинкой во взгляде, стало спокойно-сосредоточенным. Не лицо, а теплый камень.

Майор Габдрахманова настаивала:

— Сигайлов готов — и надо ускорить его вербовку, капитан. Нажать на сознательность: надо-де сообща выводить нечисть... Да вы не хуже меня знаете, как это делается! Я прочла несколько его рефератов — это серьезный и оригинальный аналитик. Плюс мастер-рукопашник. Плюс языки импортные — да нас с вами надо в ефрейторы, если мы такого кадра не отхватим...

«Жди, как же... — наслаждался капитан Бордадым. — Ты будешь по загранкомандировкам лифчики скупать, эсэсовка, мата хари чертова, а Сашка с Борькой — на закланье пойдут...»

Он говорил наряду с этими приятными мыслишками:

— Да он лучше в трактористы пойдет — это сто процентов, век статуи Свободы не видать, родичей не бачить!.. И анкета у него не пройдет, младший брательник евонный, Федька, рецидивист, на третий срок пошел, хулиган, по двести шестой — смекаете, товарищ майор? Как мать у них умерла, так он и взбесился, а Сашке-то самому не до воспитания было...

Майор Габдрахманова по-дзержински пронизательно, очень не поженски оглядела капитана:

— Я знаю больше, чем вы думаете, Бордадым. Фёдор Сигайлов уже освобожден с Табулги и работает пастухом в деревне. Я еду к нему. Вы — со мной. Кстати, вы дали на телевидение фоторобот Молоточника?

— Дал бы... Вот только очень уж он какой-то неприметный, на всех похожий... Как начнутся эти звонки, а мне через неделю в отпуск, а они: др-р-р, бдительные... дз-з-зынь, законопослушные...

— Слушайте, вы в своем уме, Борис?

— К сожалению. А иначе давно бы уволился из рядов. В трактористы хочу. Вечером преферанс, в полдень — домино, с утра пораньше — последние известия и сыродой с хлебушком, а?! Выходите за меня замуж, уедем в деревню, а?!

Майор Габдрахманова хохотала, говоря: ох и артист, ну артист...

30.

— ... артистов люблю — некондиционные ребята!..

— Ну! — ехидничал Бордадым со смаком второгодника на ковре директора школы. — «Живем мы в нашем лагере — ребята хоть куда: красивые, хорошие, ударники труда!..»

Габдрахманова, смеясь, икнула, засмузилась:

— Ох, прошу про... ик... щения! Уходите... ик... Бордадым... До завтра...

— А вдруг она меня обманет?

— Отставить... ик... шуточки. С автовокзала едем на несколько дней... ик... в Монику, к Сигайлову-пастуху. Вы — мой муж; я, соответственно...

— О нет! — пропел бельканто Бордадым. — Я влюбчивый, я не смогу без вас потом, о-о...

— Да хватит же, прекратите! Надо знать меру, в конце концов! Приказы не обсуждаются! Встать!

— ...человек пять! Остальным — сидя подравняться!

— Вста-а-ать!

Бордадым вскочил и вытянулся во фронт.

— Вы что, забыли про инспекцию по личному составу?! — гневно прошипела Габдрахманова, поскольку зубы ее были стиснуты. — Отвечайте!

— Никак нет! Не забыл! — пожирал ее глупыми зелеными глазами капитан Бордадым. — Я лечил вас от икоты! Разрешите обратиться!

— Обращайтесь, хитрец, — сказала Габдрахманова, понимая, что избавлена от икоты. — Садитесь...

— Благодарствую! — рявкнул Бордадым. — Я постою! Скажите — зачем мы едем к Федьке?

— Хочу коротенько объяснить: мне нужен сравнительный анализ характерных данных Сигайловых. Происхождение сильных и слабых сторон характера, происхождение достоинств и недостатков... Мне нужен Сигайлов-старший.

— Зачем? — взмолился Бордадым. — У нас ведь по Конституции нет агентурной службы!

Габдрахманова устало и проникновенно глядела прямо в болотистые глаза капитана:

— Не валяйте дурака, пожалуйста. Речь идет не о службе, где приказывают, а об услугах, когда просят. Устала я от вас. Налейте мне боржоми и уходите. Завтра выезжаем семичасовым рейсом. Проваливайте...

— Советую крепкий чай ме-е-елкими глотками, не извольте гневаться, а ноги в теплую воду, разрешите обратиться...

— Боря, иди, а?

— Есть «Боря-иди»! — Бордадым взял папочку, и занавес рабочего дня опустился за его спиной.

31.

Автобус стал у сельмага. Там уже стояла очередь.

— За чем стоим? — подмигнул старикам и сельским дамам Бордадым, подавая руку Габдрахмановой, сходящей по ступеням автобуса на островок сухой земли.

Какой-то очередной ответил — за всем стоит. Кто-то — присесть не на что... Приезжих разглядывали охотно и откровенно, а когда с плеча Бордадыма соскользнул на ремешке и шлепнулся в грязь фотоаппарат, люди пожалели и вещь, и хозяина:



— Хорошо грязь!.. А ежели бы об асфальт — все, дребезги и гайки! А в грязь дак самый раз — шлеп тихонько!

— Да вон помой под колонкой, под колонкой помой — водопровод у нас! — советовали местные жители. — Помой иди!

— Дак туда не пройти! По колена хрязи! — упростился капитан. — Хде ж мне, хородскому, пройти!

— А к нам в болотных сапогах нада! — сказал старик не старик и молодой не молодой, а без определенного возраста мужчина в кожаном картузе на голове, возвышающейся над толпой. — Давай технику — пойду помою!

Пошел помыл под колкости очередных:

— Ты, Колюшка, умойся заоднем!

— И подстригись тамо, ну!

— Похмелись тамо, Колюшка!

— Икономь воду-то — она нынче казенна!

Листом лопуха Колюшка вытер грязь с сапог, поскоблил их щепочкой, спросил:

— По какому делу к нам прибыли? Журналисты, небось?

— Точно! — сказала Габдрахманова.

Колюшка, сопя после чистки обуви, осмотрел майоршу с головы до ножек:

— Тоже мне, в туфельках... А мужик-то кем тебе доводится?

— Фотокорреспондентом доводится...

— Не муж, стало быть?

— Подчиненный.

Очередные, притихшие на какое-то время, обмершие от любопытства, оживились, загомонили:

— Женись, Колюшка!

— Давай, Колюшка! Не робей, родной! Щас лавку отопрут, вермутыщи наберем — и в сельсовет, а?

— Колюшка! На тебя вся область смотрит — не подкачай!

Колюшка зевнул и сказал:

— Да на хер я ей нужон! — и обратился к Бордадыму: — К кому пожаловали, извиняюсь, конечно? Не могу ли, блин, быть полезным?

На что Бордадым поспешил ответить:

— Нам в совхозную контору. Просим не беспокоиться. До встречи на голубом экране, друзья! Приятного аппетита!

— У нас такой апитит, что нежевана летит! — хихикнула скорбная доселе старушка с кирзовой сумкой из времен продразверсток, и Колюшка похвалил ее:

— Ты, Люлюба, настоящий поэт, блин! Сфотографируйте бабку, а то скоро вымреть... — и сделал перед бабкой проходочку: — И-их, блин-малина! Выходи, Люлюба, за меня — водку пить станем!

Тут же из очереди вычленился лысый рыженький человек, схватил за рукав уходящего с улыбкой Бордадыма и картаво заверещал:

— Ваучег, ваучег, ваучег! — чем весьма способствовал выбросу адреналина в кровь капитана.



— Отпусти, дед, рукав! — нервно посмеивался капитан. — Отпусти, тебе говорят!

Картавый юродивый вещал:

— Пголетагии всех стган, соединяйтесь!

Подошел смущенный Колюшка.

— Нет... Так он не отцепится... С ним надо по-хорошему: Владимир Ильич, блин, пошли на заседание чай с морковкой пить, а? Вот так-то. Пошли, батенька, в Смольный... Пошли... И вы, — сказал он журналистам, — идите к своим в контору, идите с богом, а то Владимир Ильич вас мигом в чеку ответит — и к стенке. Так, батенька?

32.

Директор совхоза отдыхал в Пицунде. Вместо него фигурировал главный агроном, но уехал в область.

— Вы с ним разъехались, — сочувствовал главбух. — Может, видели — на голубом жигуленке, вам не попался на трассе?

— Кто есть-то? — снимал его на «американку», пустую кассету, Бордадым. — Из деловых людей есть кто-нибудь? Уборочная ведь идет...

— Да мы мясного направления, нам че... Уберем, забороним и вспашем... Нам силосу одного забуртовать надо вон сколько, кукуруза в этом году — мечта Никиты! Цас я вас к зоотехнику к главному сопровожу, товарищи, он вам скажет, кого из пастухов можно готовить к съемке!

Главный зоотехник, похожий на молодого тощего грека, в своем кабинете чинил электроутюг, и когда вошли журналисты, то с лица его еще не успела сойти гримаса свирепого отвращения к жизни. Из-за стола, однако, он встал, вытирая руки о боковины армейских брюк.

— Дерьма! Электроутюга купить негде! — заорал он и попытался согнать гримасу ненависти с лица — она не сгонялась. — Фаут! Иван Андреич! По национальности — немец! — говорил зоотехник, пожимая руки приезжим. — Главный зоотехник вверенного мне хозяйства!

— Габдрахманова! Галия! Башкирка! Корреспондент областной газеты!

— Слыхали-слыхали! — врал Фаут. — Читали-читали!

— Бордадым! Специалист спецотдела Минспецмонтажспецстроя!

— Как-как? — тряс Фаут руку Бордадыма своими двумя. — Не понял? Борда... как?

— По национальности — казак, из гребенских!

Фаутово лицо наконец-то разбогатело улыбкой:

— Так по сто грамм, что ли, товарищи интернационалисты! Сидор Мокеич, уважь, принеси похрумать, — сказал зоотехник бухгалтеру и пояснил: — Тесть, мать его старушка, — когда Сидор Мокеич выкатился шариком из кабинета. — Врать не буду, с женой мне повезло, с тестем тоже, а теща — мечта подростка: пыль с меня сдувает, а пыли-то у нас здесь — ой-ей-ей! Пыль бы государству сдавать — из передовых не вы-



лазить! Садитесь, друзья, я из говорливых немцев! Известно, с кем поведешься — с тем и наберешься!

Бордадым поощрил:

— Владимир-то Иваныч Даль из датчан был, а...

— Вот именно! — с обидой почему-то подтвердил Фаут. — А брат мой Гельмут еще русей меня — все песни знает, чудак такой. Что ж, Россия нас вскормила-вспоила всех. Черен хлеб, а все хлеб...

— Поголовье-то у вас большое? — прихорашивалась в тепле Габдрахманова. — Какие породы скота?..

— Да потом! — досадливо развел ладони Фаут. — В основном... было черно-пестрое стадо... Три года как герифордов завезли бычков, а из свиней — ландрасы...

— Пастухи не пьют? — доверительно сощурился капитан, снимая блинду с объектива и протирая сам объектив бархоткой. — Из управления внутренних дел нам советовали поинтересоваться, как тут перевоспитывается рецидивист Сигайлов... Фёдор, кажется? — обратился он за пониманием к Габдрахмановой.

— Кажется, Фёдор, да вот у меня записано где-то, — завияла Габдрахманова, тщательно скрывая недовольство темпами, навязываемыми Бордадымом.

— Ково-о-о? — вкатился к столу главбух с огурчиками в трехлитровой банке. И повторил, ставя банку на стол и отменяя детали утюга: — Ково-о вы спрашиваете?

— Они спрашивают, перевоспитался ли Фёдор Сигайлов, Дуси Мартыновой приёмка, хе-хе! — пояснил Фаут, доставая из сейфа «посольскую» и стопки. Они с тестем загадочно переглянулись.

— Дела-а... — сказал главбух.

И главный зоотехник, наполняя стопки, вздохнул и спешно закивал головой:

— То-то и оно, что дела...

— Дак в прошлый четверг закопали Фёдора — девяти дней еще нет, новопреставленный. — И, боясь креститься, он изобразил губами нечто вроде чтения молитвы, потом стал в грустной задумчивости резать огурец. Нож постукивал о блюде.

— Мухи одолели... — пожаловался главбух. — Самим жрать нечего, кыш, тварь летучая! — И обратился к приезжим: — За встречу прошу поднять! А вечером мы вам накроем в банкетном зале, в столовой... Девочки горяченькой свежанинки приготовят... Прошу! Под огурчики!

— А хороший он пастух-то был, этот Фёдор? Не хулиганил? — закусывая «посольскую», допытывался Бордадым. — Рецидивист ведь?

— Сирота он, а никакой не рецидивист... — утирая высеченную водкой слезу, сказал главбух. — Из-за собаки помер... Найда, что ли, ее звали-то?

Зоотехник ответил:

— Найда звали...

— Найда, точно. Ее еще зимой, в марте месяце пристрелили, дак он чуть не пожег контору: кто мою Найду застрелил, кто замочил?!

— Ну вот! А вы говорите, не хулиганил! — сказал Бордадым. — А контору чуть не пожег!

— Да куда ему было контору пожечь, если он из больницы чуть живехонький в бега пустился? А если взять во внимание, как он эту собаку любил!.. Может, он всю свою любовь на собаку обратил... Щас вместе на земле отсутствуют — были на Руси такие друганы... Еще по одной? Помянем приبلудного Фёдора...

— Из-за собаки и погиб, — сказал Фаут. — Мне ее и застрелить пришлось... — Он разлил. — Не повредит с дорожки-то, хорошо...

Габдрахманова прикрыла свою стопку рукой:

— Все. Я барышня. Мне конфузно. И скажите, что за история с этой собакой? Что за поджог конторы? Только по порядку.

— Ну... щас... — сказал Фаут. — Выпьем — отец расскажет. Расскажешь, отец?

— Выпьем — расскажу...

— Ну так не тяните вола за хвост!

— У нас говорят: не тяните kota за...

— Ваня! — строго прервал главбух. — Вперед!

— Х-хы! — выдохнул капитан Бордадым. — Валяй, закусывай — и к делу! А то нам еще в три хозяйства сегодня успеть...

— А я девочкам свежанину заказал! Э-э, ребята-ы, мы так и не договаривались! — обиделся видимо главбух. — Что за гости такие, а, Вань?

— Ну про собаку, про собаку... — закапризничала Габдрахманова, притворяясь опьяневшей. — Дама хочет про собаку-у-у...

— Дама хочет про собаку, — сказал с удовольствием Фаут. — Она хочет. Она — дама. Отец, крути рукоятку.

— А чего ж тут? Жил он, Федя-то, с Дусей Мартыновой. Женщина она достойная, брошенка, муж был залетный. У нее хозяйство: леггорны, свиньи, пять овец, цветной телевизор, в доме чисто, огород в порядке, в палисаднике с мая по саму осень цветы цветут. И Федю она в порядке содержала — он стадо наше пас. Все хвастает, бывало, вот я собаку воспитал: напьюсь, усну — она никого ко мне не подпустит, хоть ты сам Керенский будь! Летом-то пить ему некогда, а зимой делать что?.. Ну и напился он как-то у Миньки Зотова на свадьбе. В снегу уснул, а на улице-то, едрена матрена, за тридцать: сморкнешься, а оно камнем падает, трактора объезжают тот камень! Ну что? Замерзнет ведь мужик, руки-ноги потеряет! Народ к нему, а Найда, сука-то его, не пускает близко! Побежали гонцы за Дусей — Дусю ни в какую не пускает, скалитя, рычит, а зимой дни какие?.. Только взойдет оно — и сразу в чужой колхоз садится, солнышко-то... Дуся плачет, Федя спит, Найда службу справляет: все, гибель Фебина. Ну, я говорю Иван Андреичу, беги, Ваня, за ружьем, тут разговорами не поможешь: застынет мужик, заколеет!

А Ване че? Он зоотехник, знает, куда ей пулю вложить. Он принес ружье и вложил... Найду за задни лапы в сугроб, Федю с воспалением легких в район, на больничный покой...

— Это еще зимой? — спросил Бордадым. — А умер он в прошлый четверг, так?

— Дак все! Так и не оправился, помирал, паря, долгонько... Не смотри, что из зоны пришел тощий, как гвоздь на сто пиисят, здоровый был, мучился долго... А из больницы б не сбежал — может, и оклемался бы... А он ведь оклемался — и сюда, в хозяйство, Найду хоронить! Делай, говорит, жена, гроб — будем Найду хоронить. К Анатоличу на столярку ходил, гроб заказывать. Хотел крест на могиле поставить, да старухи рас-советовали: нельзя, грех! А вечером-то он кинулся нашу с Иван Андречем контору жечь, мстить, значит, за Найду! Ну, честно говоря, драка была, связали его, — опять недолгонько, но на снегу голый поваялся, все одежды на себе в истерике-то поразрывал... Жалко мужика. Одинокий был пастух... Так чах, чах... да и отдал концы. Родня-то хоть у людей есть, а тут... Ну, совхоз его богато похоронил, с музыкой... Ваня на басу, Пискаренко — на теноре, другой Пискаренко — на эсном барабане, с литаврами, Надюшка Седьмицына...

Главбух встал и ушел в дверь каморки, где мелькнули ведра и метлы без черенков.

— Вот такая история. А стадо у нас в основном черно-пестрое... — сказал Фаут. — Надои средние, как у всех...

«Кажется, я поняла о Сигайловых, — думала майор Габдрахманова. — Это инфантилизм: их несгибаемость, гонор, максималистские установки — всего-навсего инфантилизм... Ведь взрослый человек — это щепочка компромиссов...»

Она вышла, прижав к глазам платочек.

Бордадым стал снимать на «американку» Фаута.

— Эй, тещушка! — постучал в дверь каморки Фаут. — Ты что там, онанизмом занимаешься? Выходи на съемку!

Вышел тесть.

— Дурак! — сказал он. — Скотина зоотехническая! Я молился, понял? Разве можно так о старике?

Фаут рухнул перед ним на колени:

— Ох, прости! Мамочка, зачем же ты меня, дурака, на свет-то родила? Батенька-а, не сердчай — печенка лопнет!

— Дурачок... Дите малое, — ласково сказал главбух. — Наливай по маленькой-то давай!

33.

«В конце концов, мир ваш плохо устроен, и из моих писем вы взяли только плохое, — вслух читал Бордадым, имея перед глазами силуэт Толика Соснова на фоне окна, а за окном солнце бабьего лета. — Вы взяли только мою ругань, которая вам явно не нравится, гэбистам, а о

хорошем не помянули ни слова...» Что-то ты, Толик, стиль потерял... Какие-то, пардон, банальности изрекаешь. Деградируешь, малыш. Читаем далее: «Ты же читал Пастернака, Боря? Значит, ты совсем пропащий! Мир нужно делать открытым и оконкреченным в этой открытости...» А ху-ху не хо-хо, диду? Жди, диссидюга вонючая! Цас мы тебе границы откроем, полигоны, шпаны напустим в науку! Эшь ты, какой вумник! Молчишь? Молчи, хвалю! Чем продолжительней молчанье, тем оглушительнее речь. Продолжим наше собеседование: «А я вам уже писал, что я — Живое Слово, сошедшее к вам со страниц Великой Книги. Живое — именно и матом, и руганью, коя вам не нравится, и истинной нравственностью моих к тебе, шпиону позорному, писем...» За шпиона позорного ответишь, бельдюга, обещаю, как снег в декабре... «А что ты знаешь о любви, дорогой мой дебиленок? А ведь только ею измеряется величие человеческого разума, не ума — разума, заметь, олигофрен дутый. Ладно. Борь, извини, я прервусь. Пойду соберу огурцы и отдохну от тебя, недоумка, чуть-чуть. Ах... как ты меня мучаешь своим присутствием на земле! И ненавижу себя за свои душевные порывы — они ложны, Бобик. Да. Реален только постоянный душевный труд, а я, несообразительный ты мой, на тебя трачусь...» Толик, я устал от тебя, все... Пора тебя окучивать. Сейчас позвоню, чтобы несли айдендикит, идентификационный набор, слепим тебя. А на дактилоскопические карты переснимем твои пальчики. Потом посадим на иглу, и когда ломка начнется, то ты мне все, что скажу, огромными чернилами для высших математиков нарисуешь! Врубился, чертенок ты мой ненаглядный? И станем мы тебя лечить в больничке закрытого типа по соображениям сложившейся практики и неписанных деловых инструкций. Тут и посмотрим на величие разума. Понимаешь, бляшка, ты мне нужен. Мне — и более никому на земле. Ты жил, чтоб встретиться со мной. Этих писем твоих я люблю...

Когда зазвонил телефон, капитан бросил на стол пачку «Беломора» фабрики имени Урицкого:

— Кури, жалкий мой... — и взял к уху трубку. — Пентагон на шнуру, сержант Лейтон слушает! А? Ну шутка, шутка, конечно! Юмор у меня такой. Называется юмором висельника! Как? Это что — шутка? Минутку, минутку...

Бордадым заалел, как пастушок на закате солнца, упер взгляд в лоб Толика Соснова, который меланхолично пускал дымом в ползающую по фотографии китайца под настольным стеклом муху.

— Пшел отсюда, вонючка подвальная! Еще одно письмо получу — кастрирую! Давай сюда повестку, чмо!

Толик взял из пачки пару папирос и вышел на свободу.

— Подробнее, товарищ полковник! Чем убит Молоточник? Молотком? Ни фера себе... Да, слушаюсь! Лечу, бегу! Слушаюсь! Слушаюсь, товарищ полковник... — Бордадым прикрыл микрофон ладонью, — долбаный, — открыл микрофон. — Есть! Есть, понял!

34.

«Совершенно секретно.
В одном экземпляре.
Начальнику следственной части
Старшему следователю...
Спецдонесение.

В связи с расследованием дела об убийстве неизвестного мужчины в районе лесного кордона... по Вашему поручению старшим инспектором... новосибирского горисполкома, капитаном милиции Сухининым А. Д., с помощью Р. Р. Лонгинова, коменданта общежития № 7 по улице Пирогова, была проведена оперативно-агентурная работа, направленная на выявление лица или группы лиц, совершивших это убийство, а также свидетелей, обладающих сведениями по обстоятельствам данного дела.

Проведенной работой установлено:

1. Женский парик, найденный на месте преступления, идентичен прическе женщины, по утрам выходившей из комнаты бывшего аспиранта Александра Сигайлова, проживавшего по адресу: ... 1950 г. р.

Ее приметы: рост 175—178, легкая сутулость, плечи широкие, развернутые, грудь невысокая, походка легкая, спортивная; одета была в коричневую спортивную куртку, свитер со стоячим воротником, закрывающим низ лица, спортивные брюки синего цвета с лампасами, кроссовки приблизительно 42-43 размера.

2. Сам Сигайлов вторую после убийства неизвестного ночь в общежитии не появляется.

3. В комнате произведен досмотр в присутствии коменданта Р. Р. Лонгинова. Обнаружены предметы дамской косметики и парфюмерии. По словам знавших бывшую жену А. Сигайлова Л. Рыбиной (4 курс матфака) и Д. Забурдаевой (4 курс матфака), Вера Сигайлова косметикой не злоупотребляла».

— Ты все понял? — спросил Бордадым.

— Не шилом делан, — ответил Сигайлов.

— Вот адрес. Вот ключи. Исчезни с глаз — я тебя найду очень скоро. Живи тихо, как Герасим. Продукты там есть, дней на семь от пуза хватит. Все, растворишься. Бумажку с адресом сожжешь на газу, с газом осторожней, герой... Пшел! Такси у подъезда.

35.

Саше снился урок пения в школе.

Учительница Валентина Акимовна — его бедная любимая в пятом классе — старательно втолковывала Саше:

— Ты пой не «к», а «х»! Понимаешь? Х-х!.. Х красоте-э-э!

— К храсоте-э-э-э!.. — бестолковый от любви к изумрудным глазам певички, пел Саша, а Борька Бордадым, уже в аспирантских летах, гля-





дел на бестолочь белыми лупатками с портрета на стене класса, терпел, но не вытерпел.

— Все! — сказал он и строго рыгнул по-ресторанному. — Все! Ему вышак! Он никогда не докажет, что кокнул Молоточника, а не простого грибника, отца семерых по лавкам! Зачем ты, дуремар, бил молотком? Теперь у вас с ним на каждого приходится по молотку!.. Увести ханыгу на Колыму!.. Молото-о-ок, Сашуня!..

Проснувшись, Саша нырнул в радиоволну, и она понесла его в далекое зарубежье:

«— Можно сказать, что свершен акт возмездия, так как монстр убит собственным молотком. Окончен ли террор? Напоминаем, что на протяжении нескольких лет по осени в прилегающем к научному центру лесу происходили злонамеренные убийства, жертвами которых являлись молодые женщины. Методы работы советской милиции, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Что вы на это скажете, Илья Натанович? Почему вследствие этих убийств осуждены невинные?»

— Видите ли, Алёна, судебные и следственные ошибки имеют место в любой системе правосудия... Что касается конкретно этого дела, то скажу так: причины кроются в порочности практики работы советских следственных органов, когда к концу отчетного, обратите внимание, *отчетного* периода — а это может быть и месяц, и квартал, и год, и пятилетка — скапливаются в районных отделениях так называемые «висяки», нераскрытые уголовные дела. А отделение имеет, к примеру, самую низкую в городе раскрываемость. Какие меры нужно предпринять, чтоб формально ее повысить? Тут и проявляется изобретательность начальников отделений. Можно к концу отчетного периода часть нераскрытых дел переправить в соседний район в обмен на их висяки, сотворить этакий бартер. Можно просто законопатить дело в долгий ящик и свалить все на изъяны плохо поставленного учета. Можно мелкие правонарушения повесить на не совершавшего их, он возьмет на себя, допустим, мелкую магазинную кражу, если ему пообещают столь же мелкие льготы в ходе его прохождения по делу. А крупные правонарушения: убийства, грабежи, изнасилования — это снести на психически неполноценного человека и, отправив его на больничку, поставить плюс в графе «раскрываемость»...

— Нечто подобное и произошло в сибирском научном центре?

— Да, Алёна... По делу о Молоточнике ушли на срока три невинных местных шизика. И вот наконец он устранен путем самосуда...

— Можно ли с уверенностью сказать, что убито именно это чудовище?

— В том, что убито это, как вы образно высказались, чудовище, нет сомнений. Буквально за несколько дней до акта возмездия один бродячий поэт составил его фоторобот: он видел убийцу в лицо в момент, когда тот пытался убить продавщицу молочного магазина на улице Звездной. Другое дело, нужно ли признавать этот факт местным органам дознания. Ведь, как мы знаем, трижды они закрывали это дело, раскрывая якобы убийцу. Вот вам случай: несколько лет тому в Московское управление

внутренних дел на должность начальника учетно-регистрационного отдела был назначен честный капитан. Вопреки воле руководства, он отказался фальсифицировать отчетность и добился проверки деятельности всего управления. И что же? В ходе проверки было выявлено более двухсот, а точнее... где это у меня записано... Ага! Двести пять скрытых от учета тяжких, повторяю, тяжких преступлений... и приписка девяноста дел, которая должна была показать рвение работников следственных органов в их борьбе с санитарями окружающей среды! Каково? Так что неизвестно, что еще выкинут местные холмсы...

— Илья Натанович, кто был последней жертвой Молоточника?

— Ею была Вера Плавинская, студентка пятого курса факультета прикладной математики. В июле этого года она вышла замуж за Александра Сигайлова, способного ученого-социолога с уклоном в политологию. По отзывам друзей этой новой семьи — пара была прекрасной! Вера обладала массой достоинств не только по меркам советской морали...»

— Водки-и! — заорал Саша, вскипая. — Водки-и, скоты! Эй, Бор...

Ниоткуда, может быть, отозвался капитан:

— Молчи, дурак! Схватите дурака! Через тридцать минут буду! Прекрати бузу, Шурка, и забудь, что ты есть... Водки доставлю. Конец связи!

— Ты откуда, шпион? Ты где? Сообщи свои позывные! — Но капитан не отозвался вторично...

«— ...вероятно, муж Веры Плавинской, — вещал приемник домашнему, по-отечески. — После ее гибели — а этого нельзя не учитывать — он двадцать один день лежал в больнице: послешокое состояние. Друзья рассказывают, что потрясенный трагедией Сигайлов не спал даже под воздействием снотворных препаратов. Лежал он не в отделении психиатрии, а в обычной больнице на Пироговке, куда его положили друзья, чтоб не портить ему ученую карьеру. Вот и думайте сами: он выходил в больничный парк, когда являлись соболезнующие, а входа в больницу найти обратно уже не мог... Как зомби плутал вокруг. Да что говорить: известно, что в психбольницах лекарствами и процедурами медики убивают в своих пациентах высшие, может быть, духовные способности! Кто-то из друзей принес Сигайлову велосипед в больницу, и он часами гонял на велосипеде, чтобы уставать физически и вернуть способность ко сну. Сигайлов — человек далеко не глупый, судя по этому. И, как человек не глупый, он понимает, что органам милиции и КГБ, который наверняка имел дело о Молоточнике на контроле, страшновато за честь мундиров, они, скорее всего, признают, что убитый нынче тип — никакой не Молоточник, и станут ловить убийцу, циники чертовы! Поэтому Александр Сигайлов уже в подполье и обречен. Мне жаль этого талантливого и мужественного парня...

— Как вы думаете, ему удастся скрыться?

— А куда? Куда он из этого огромного лагеря с названием эсэсэсэр, из этой огромной пересыльной на тот свет тюрьмы? Долго ему не продержаться...»

«Ловко... — слушая радиоголос из-за моря, дивился Сигайлов. — Кто же их так информирует? Все разложили как по нотам! — И сам себе ответил: — Бордадым Борька!»

36.

Как чертенок по вызову, через пару минут явился Бордадым. Он отпер замок своим ключом, влетел в комнату, как из парной:

— Рота, подъем... Надевай шинель и дуй к границе... Встал?

— Сел...

— Еще не сел, а уселся. Ел чего-нибудь? Ешь вон из холодильника — баланды еще нахлебаешься. Боишься, студент? Не бойся, не мандражируй, Феоклит, победа будет за нами! Вот тебе ксивота, а внешность мы чуток изменим... Слишком уж она у тебя — не обидишься?.. нет?.. правда? — нетривиальная...

Сигайлов изучал новые документы с интересом большого идиотией.

— Кого ж ты сажать думаешь?

— Не твоего ума дело. Никого. Кого надо... Вот тут на тумбочке стоял цибик чая со слоником... куда девался?

— Толика Соснова сажать будешь?

Бордадым все еще искал цибик чая, который уже держал в руке. Подумавши, он грянул чай об пол и, сев на пол, стал строить из чая песочный домик.

— Давай играть, — предложил он Сигайлову. — Мы маленькие несмышленные сосунки. Где наши сопли? Где наши мокрощелки? Верни, верни мне их, господи! Ой, ой, какать хочу, от такого товарища подальше, подальше! Чтоб только не на одном га-га-га! — Он вскочил и отряхнул руки от чаинок. — Слушай сюда, ты, чистоплюй, совесть моя пионерская! Ну давай, иди, иди и сдайся органам! А ты знаешь, интеллигент сопливый, что такие, как ты, и привели Россию сначала к терроризму политическому, потом к октябрьскому путчу, потом к геноциду, а потом... Ты знаешь, что происходит в этой милой твоему сердцу стране? Нет? А что ее скоро по голове молотком, кувалдой, балдой кузнечной?! Не знаешь? И ты хочешь, чтоб я, Борька Бордадым, сын собственных родителей, сын фронтовика, отдал джентльменам твои государственной важности мозги? Ди дада, ди дада! И предоставь мне, профессионалу, думать, какой шаг предпринять во имя, повторяю, во имя спасения Отечества. Шандец! Речь окончена. Повторяю: шан-дец, сказал отец, и дети положили ложки! Теперь изучай документ и забудь на время, что ты был Сашкой Сигайловым, детским полковником.

— Эва-а! — сказал бывший Сигайлов, подходя к зеркалу.

— Прощай, Саша, до свидания! Нынче ты Одинцов Евгений Игоревич, вот тебе билет на поезд, уматывай на запад нашей пока еще неотъемлемой Родины...

— Хочу быть Гансом-Христианом Андерсеном.

— Хочешь — станешь. Только веди себя как послушный мальчик, не размахивай молотком, как дебилый плотник. А вообще, хорошо,

что к тебе вернулась способность шутить, Женюрка. Молодца, Евгений Игоревич!.. Давай закурим, друг мой Одинцов, хоть Минздрав и предупреждает, но Комитет госбезопасности работает без предупреждения. Теперь к делу. В Москве пойдешь по этому адресу. Там живи, читай газеты, слушай «голоса», тебе будут приносить материалы из их прессы. Анализируй, вникай, следи: куда ветер дует. Я тебя вскорости найду.

— Стало быть, теперь ты мой хозяин... Патрон?

— Я твой друг, Женя... И старший товарищ...

— Значит... я свободен?

— Свободен, свободен, дурило! Но если я тебе помог — то это значит, что некоторое время ты должен выполнять мои рекомендации, дабы ни себя, ни меня, глупого, не подвести под трибунал. Ясно?

— Извини, Борька...

— Бог простит...

37.

Гражданин Месорубкин, литератор, в жизни был так ледащ, запущен и длинен, что спокойно мог бы жить в мусоропроводе.

Он не имел постоянной жены и прописки, но у него хватало долгов и детей, двое из которых были русскими, один эфиопом, еще один — голландцем, а последний, четырех лет с небольшим, родился во французской Канаде, куда уехал в утробе матери. Алиментов иностранные мамы не искали, однако Месорубкин Вячеслав Палыч в состоянии «под турахом» горько плакал о невиданных своих детках и рвался к рубежам государства, якобы к детям на свидание. Словно они стоят у всех границ, как казаки порубежные, и тянут к папке невинные ручонки, и вопиют: падре... фати... ку-уша-а-ать... эссен!

Вадим Крякутный заметил Месорубкина в Битцевском парке, где тот торговал портретами Ленина, писанными маслом.

— Постхристианские российские иконы! — кричал Месорубкин. — Новый старый русский боженька! Доперестроечный идол письма Налбандянкина! — зазывал иностранцев Вячеслав Палыч, доставая из-за брючного ремня плоскую плашечку коньяка и согреваясь им. — Торопись-навались, у кого марки завелись, а также фунты, доллары и йены — подходите попеременно! Сэр! Сэр! Купите на память о бывшем эсэсэсэр! Эй! Бабка Бенина, купи себе дедку Ленина! Он не сеет и не косит, зато пить и есть не просит! Не пройдите сгоряча мимо деда Лукича!

— Вах, маладэц! — сказал старик кавказец в адрес Вячеслава Палыча. — Вах, какой маладэц! — сказал он еще раз и поглядел на Вадима Крякутного, словно ища поддержки своим словам. — Так все продаст, все!

Крякутный кивнул одобрительно.

— Мнэ Сталын нужин... У каво Сталын йести, скажи! Мнэ хароший Сталын нужин, ваенни нужин, ордын штоп... Ви пра Сталын нэ знает, я — знаю: хароши был члавэк, нэ паразыт Амброзий, а? Вах-х!



— Навались-налетай — и Шри-Ланка, и Китай! Иностранец! Подумай заново и приобрети своим деткам детушку Ульянова! Человек в кителе, купи себе молчаливого друга и бывшего учителя!..

За час Вячеслав Палыч продал два поясных портрета по три доллара за полотно и один сюжетный за пятьдесят долларов. Когда, отпив из плашечки остатний глоток коньяку, Вячеслав Палыч отшвырнул тару ногой по ноготворному гололеду, он держал баксы в левой руке, а правой порылся в нагрудном кармане пальто, где искал бумажник. Тут к негоцианту подошли двое качков в кожаных куртках и белых кашне. От их стриженных затылков, казалось, шел пар электрической силы. Их мысли и намерения Крякутный прочел, как сверхчувствительный прибор. Прочел их и неглупый Вячеслав Палыч, вследствие чего лицо его сделалось высокомерным, надменным и героическим, однако гринь он срочно и ловко сунул в бумажник, а вот уже бумажником в карман сразу попасть было Вячеславу Палычу не дано.

— Вам чего? — не попадая бумажником в карман, спросил он с бюрократической холеной силой в голосе. — Товар продан — приходите третьего марта тысяча девятьсот девяносто второго года. Ферштейн?

— Натюрлих, — ответил один из качков. — Но ты мне скажи, глиста, ты почему, солитер, прошлым своей Родины торгуешь?

— Все вопросы адресуйте Егорке Гайдару, — презрительно засмеялся тощий, как болотная осина, Вячеслав Палыч, и стекла его очков «минус семь» фирмы «Президент» тускло сверкнули оттого, что он гордо вскинул голову. — Ищите Михайлу Горбачёва и спрашивайте, почему и чем обыватель торгует...

Второй качок вырвал из носу волосинку и сказал Вячеславу Палычу, протягивая ее на кончике указательного пальца:

— Тогда купи кровное... Тебе говорю, фитиль...

— Когда — тогда? — съязвил Вячеслав Палыч, все еще не попадая бумажником в карманную нишу. — Тогда-а-а... Ты что, больше горя видел?

— Пхачму мэшаеш чхалвэку?! — возмутился качками кавказский дедок. — В чем дэль, понимаеш, а?

— Молчи, отец мафии, а то папаху на яйца натяну, — сказал качок и сдул волосинку с кончика своего пальца. — Разойдись отсюда, турок зачуханный... Уезжай на свой казбек, мартышка! А ты, кишка, сдавай выручку сюда... и тихо, чтобы для твоей же кишечной пользы! Ферштейн? — И он сунул кулачище в карманище кожаной, свободной даже на нем куртки.

— Зачем же вы, детки, людей обижаете? — подошел к Вячеславу Палычу и встал с ним бок о бок Вадим Крякутный, бывший некогда детским полковником. — Вас что, мало ремнем папки стегали?

— Вот хорош чхалвек! — перешел на их сторону и кавказский дед. — Я капусту в горах сажаю! Вот мои руки, сматры! Я — нэ мафия, хороший чхалвэк!

Главный качок сказал, несколько картинно поводя плечами:

— Мы уходим ненадолго! До встречи!

— Катитесь колбаской! — пожелал Вячеслав Палыч, и это решительное пожелание взорвало младшего из качков. Он стремительно развернулся и попытался в прыжке нанести Вадиму удар ногой в солнечное сплетение, за что и был жестоко бит в многолюдной тишине. Второй качок выудил из-под куртки обрезок трубы и едва не обрушил ее на горькую голову отца многих иностранцев. Но удары сбоку снаружи и левой по гортани уложили его на заплыванный наст, он подтянул согнутые колени к подбородку и все мостился улечься поудобней, как перевозбужденное дитя перед сном после колыбельной.

— Вах, бичо! — произнес кавказец. — И тут война!

— Уходим, сейчас прибегут гладиаторы! — сказал Крякутный. — Быстро к машине! И ты, дед, тоже! Быстро!

Так произошло знакомство Месорубкина с Крякутным, которому он был нужен. Очень нужен на очень важную роль.

38.

— Посмотрите на него, месье Коробьин-Христосов! Это Вячеслав Павлович Мясорубкин...

— Месорубкин! — подчеркнул Вячеслав Павлович. — Ме-со!

— Месо так месо, — согласился Коробьин. — Нам все равно, из какого мяса делать фирменное блюдо... Прошу к зеркалу! Света, света прибавьте! Гм... Надо гражданина откармливать... Валяжности в нем нема...

Вячеслав Палыч бодрился:

— Уж не на рагу ли вы меня, земляки, откармливать собираетесь? Из рта долго пахнуть будет! Гы-гы-гы!..

Коробьин-Христосов изобразил лицом глубочайшую степень удивления. Он сказал, почесываясь, как прокаженный:

— Вы глубоко задели мои лучшие чувства, гражданин Месорубкин! И вы тоже, товарищ... мм... Крякутный! Тоже зацепили, надо вам сказать, чтобы вы приняли к сведению! Во-первых, почему, товарищ, вы не сказали гражданину, что господин Коробьин — вегетарьянец...

— Был такой артист Коробьин-Христосов, — уходя из-под света софита, произнес Вячеслав Палыч. Усевшись в глубокое кресло, он выдержал недолгую паузу, на протяжении которой чиркнул зажигалкой, пустил дымовое колечко, а Коробьин спросил:

— И что?

— Кажется, он погиб во время взрыва башкирского газопровода. Во всяком случае, документы его и чемодан с барахлом были обнаружены на месте аварии новосибирского поезда... Вы родственник усопшего?

— Я сам усопший... Итак, продолжим: во-первых, я вегетарьянец. Во-вторых, если товарищ Крякутный, тоже из усопших, как я полагаю, не объяснил вам смысл вашей хорошо оплачиваемой работенки, то я весьма, весьма удивлен! Насколько хорошо я информирован относительно вашей

особы, мне трудно судить; но правда ли, что вам негде и не на что жить в бывшем Советском Союзе, а ныне — и, надеюсь, не присно — в эсэнге?

И Вячеслав Палыч вдруг всплакнул и сказал:

— Чистая правда... Мне и при коммунистах досталось, а демократы-крохоборы точно со свету сживут... Налейте, если есть, возликуй, душа русского поэта! Облегчись, душа бывшего члена Союза писателей, душа правдолюбца и правдоискателя, господи-и-и-х-х! Скажите, коллеги, что же я должен делать за то приличное жалованье, которое вы мне положили?.. Я слышал, что бесплатный сыр бывает исключительно в мышеловках. Жду разъяснений, хотя считайте, что я согласен. Я верю этому доблестному, — он сделал жест в сторону Вадима, — справедливому бойцу... Прошу плеснуть, как говорил небезызвестный Бронислав Пупков!

— Отставить плеснуть, пока не проясним дело по всем статьям! — рявкнул Коробьин. — Эшь ты... плесну-уть! Пить ему надо на обломках империи. Слушай меня, член союза бывшего Союза... Ты в курсе, что от нашего государства, от народно-хозяйственного комплекса остался только комплекс неполноценности? Ты знаешь, что без планового хозяйства, без планового руководства экономикой не обходится ни одно уважающее себя государство в мире и в войне? Ты знаешь, что люди наши, детский наш народ, замучены очередями, дефицитами, высокими, выше тебя и твоих карманных денег, ценами, люди отупели от казарменно-арестантских методов распределения самых насущных товаров! А что делают с вами, писателями? с наукой? с армией? с оборонкой?..

— Точно Коробьин-Христосов, вылитый! Только лицом не тот! — воскликнул почти трезвый Вячеслав Палыч. — От ведь, дьявол тебя побери-то!

Крякутный принес коньяк и стал резать лимон, говоря:

— Молодца, Васька! Вещаеть на ять! Только уж как-то очень погазетному... Ты помягче, попроще, с примерцами!..

— Да? — недоверчиво спросил Коробьин. — Ты митинговый стиль не отличаешь от стиля собеседования, Вадим!

— Ты ж не на митинге...

— Чеши, человек, похожий на Коробьина! — оживился Вячеслав Палыч при виде коньяка. — Я полностью с тобой согласен — Отечество в опасности!.. Нас продают нам же самим за проценты... Так говорил старик Маркс по вопросу о сдаче Франции банкирам...

— Ну ты, чувак, даешь! — похлопал в ладоши Коробьин. — Ты и старину Карла штудировал! Ты тот, кто нам нужен! Мы будем тебя снимать! Вадим, сколько дадим ему на подготовку к исчезновению?

— Три дня вам хватит, Вячеслав Палыч? — спросил Крякутный и жестом пригласил к столу. — Подумайте... Потом вы исчезнете как Месорубкин.

— Хватит, милые, хватит... Наконец-то мне всего хватает... Да и приелся я сам себе изрядно... За здоровье усопшего Месорубкина!

После похвальных в адрес коньяка ахов, после утирания слезы, высеченной лимоном, Месорубкин заявил, что его не интересует зарплата,

что он будет работать за идею, но три дня, отпущенные ему режиссером будущего спектакля, он намерен погулять, и хорошо было бы получить гонорар авансом.

— Нет проблем... — сказал Крякутный. — Пропивайте свои пятьдесят баксов, а когда вернетесь, получите компенсацию... Повторяю — пятьдесят тысяч ежемесячно... плюс пропитание, свободное время, книги.

— Так что все же я буду делать?

— Вы будете, Вячеслав Палыч, сниматься на видео.

— Порнуха, что ли? Не-е-ет, братишки...

— Оставьте ваши домыслы. Вы будете играть роль одного из крупных политических лидеров отечественного типа, но импортного производства... Отец Глеб, войдите...

В комнату вошел человек в черной рясе с крестом на груди. Он встал, потупившись, у стола и начал оглаживать рыжую бороденку.

— Что здесь делает эта... эта... — удивился Месорубкин, — расстрига?..

— Это актер. Успокойтесь, это дублер, актер, двойник, тройник — что угодно... Вы тоже нам нужны — кино. Только секретное. Секуритатэ, ясно?

— Забавно, забавно... — молвил Месорубкин. — Это мне подходит. Приступаю к запоминанию роли через три дня.

— Надеюсь, не надо предупреждать о том, что язык требуется держать за зубами?

— Разумеется, — грустно заверил Месорубкин. — Я понимаю. Я навещу только одну женщину. Какую — еще не знаю...

— Главное, не волнуйтесь, Вячеслав Палыч: вас будут надежно охранять. — С этими словами Крякутный поднялся из-за стола и удалился в одну из комнат огромной квартиры на Кутузовском проспекте.

В сумерках вывели Вячеслава Палыча из подъезда прямо в автомобиль. На глазах его была повязка.

— Я теперь Фемида, — шутил он...

39.

Несмотря на свою редкостную по болотистому привкусу фамилию — Чуватина, — Ирина Степановна навечно имела великолепный художественный вкус, прекрасно знала искусство и живопись и была искусствоведом. Очки с розовыми стеклами, которые она носила последние пять лет перестроечного развала могучего государства, не мешали трезво оценивать свои перспективы: ей уже никогда не выйти замуж, в ближайшие лета только беспривальная работа позволит забываться сном одинокого существа женского пола тридцати семи лет от роду. Она уже не любила своего отражения в большом дедовском зеркале: да, красива была, но росой иссохла. И расхожие, дневальные мужские комплименты словно налетали в ее душе на стену, на заслон из прежней веры, из прежних желаний, из девических надежд и руин старых привязанностей. На днях Н.,

зрелый мужчина при обязательных усах с бородкой, из тех пустобаев, что, громыхая лабораторными колбами, пыля архивными свитерками и вертя джинсовыми ягодицами, переехали ее младую жизнь, говорит ей:

— Ах, Ириночка, Ириночка!.. Ах, милая вы моя хлопотунья! Был бы я не женат!.. — говорит в твердой уверенности, что мог бы осчастливить ее.

«Да лучше б ты меня за ягодицу ущипнул да получил бы пощечину — так я бы хоть знала, что ты мужчина... — думала Ирина Степановна. — Так, глядишь, и жене, и мне со временем пользу приносил бы». Но, пойдя мысленно дальше щипка и вообразив некоторые пикантные моменты с усобородым, Ирина Степановна нехорошо, с отвращением содрогнулась и сказала этим образом, чтобы шли прочь, и прочла молитву. Молитва помогала. Ирина Степановна в молитве чувствовала благоговейный озноб и силу человеческой чистоты. Она искренне благодарила Господа, что тот не оставляет ее благодатью своей. И работала, вся уходила в работу, как ребенок, боящийся темноты в комнате, уходит с головою под толстенное душное одеяло.

А кто самозабвенно работает, тому нелепо не везет.

Музей живописи, в котором она работала — или, скорее, служила, — не был богатым и славным. Но одна картина из его запасников значилась в каталогах произведений мирового искусства. И вот выставка, а картины нет. Перерыли все в хранилищах-запасниках — привет. Ирина Степановна расстроилась до страшного желания напиться горькой, взяла водку в коммерческом киоске по дикой цене, взяла колбаски, хлеба, стопку гра-неную, выпила, даже не запираясь на ключ в своей служебной каморке, и к ней пришло озарение: ремонт в августе... Она спустилась в подсобку, где еще с августа оставались вонять фляги с краской, шпателя с высохшей на ребрах шпатлевкой, драные и убогие овчинные валики, пустые бутылки из-под сиккатива. Ирина Степановна скоро огляделась и обнаружила, что шедевром мирового искусства живописи рабочие заделали дырку в окне. Видно, случилось это уже по запоздалой осени, когда ложно угро-жали холода.

Заплакала Ирина Степановна. Ужаснулась своей любви к простому люду. «Сама-то ты кто?» — усмехнулась она, покачивая бутылку с остатками сивухи двумя пальчиками, как иные нувориши играют брелочками с ключами от иномашин. Потом на нее накатила стих. Она принесла в подсобку бумагу писчую обычного формата и, поглядывая на свою единственную драгоценность — золотое кольцо с рубином бабушки-покойницы, выпивая помалу, сотворила этот стих:

Твой костер в тумане светит,
 Мой костер в груди горит.
 Кто-то вздрогнет, и приметит,
 И в ночи заговорит,
 Белой птицей обернется,
 Станет зернышки клевать,
 Встрепенится, ужаснется

И уедет воевать...
 Я его держать не буду
 И не стану привечать.
 Разобью о дверь посуду —
 Научусь молчать...

Ирина Степановна в сердцах швырнула полную стопку о дверь — та не разбилась, а лишь расплескалась и растеклась водка.

...Бродит ветер отдаленный,
 Гнет деревья и гудит,
 Не поймет росток зеленый
 Все, что будет впереди.
 Впереди за поворотом,
 У ворот, в чужом краю
 Запоет и смолкнет кто-то,
 Песню оборвет свою...

— Эй! — отворилась дверь в подсобку, и из коридорной тьмы проклюнулось лицо усобородого Н. — Что здесь за грохот? Иринушка, лапа, это вы тут воюете?

— Вон!.. — указала Ирина Степановна в сторону отысканной наитием картины.

Усобородый поспешил заверить:

— Ухожу, ухожу, ухожу, детка...

— «Мальчик с винтовкой Мосина» нашелся! — сказала Ирина Степановна. — Я нашла... Требую премиальных.

Усобородый затрепетал в океане чувств, затрясся, стал часто обихаживать уголки губ: ах, ах, ах...

— Полет шмеля, — глядя на него, определила Ирина Степановна.

— Цым-цым-цым! — развернул полотно картины пришелец. — Ай-ай-ай! Работы нашим реставраторам — цым-цым-цым!..

«Поеду-ка домой да напьюсь в дым», — решила Ирина Степановна и ушла на стоянку троллейбуса. Может, и позвонит кто... Или сама кому. А еще думала, что хорошо иметь квартиру без соседей и телефон...

40.

...Однако неисповедимы пути господни, и Чуватина не поехала в свой однокомнатный оазис среди городской пустыни. Она поехала к институтской подружке, чей жизненный опыт мало чем отличался от массового: родилась, научилась читать, мечтала учиться, училась — и в итоге осталась незамужней и бесплодной и нынче молилась, грешила, молилась, веселилась, отмаливала грехи, гоняла по магазинам, сравнивала ценники, покупала и разочаровывалась, радовалась, что нет детей в это бандитское время, плакала, что нет детей вообще, любила шоколадные конфеты, подруг, канарейку Зою, прошлое, которое, казалось, не за что любить, искала счастья в лотереях — его не было, его на массу не хватало.

— Привет, Ларка! Ты меня узнаешь?

— Кто Чуватину забудет, тот дня не проживет, собаченька ты моя! — сказала Лариса, принимая цветы из рук Чуватиной. — Проходи, милая, не разубайся, цыпленок мой несмышленный! Почем гвоздики, отвечай?..

— Да подороже, чем в кинофильме «Коммунист»!

— Дурилушка ты моя! Зачем же тратиться, черногривых баловать? Пусть кушают свое сенцо сами...

— Как тебе не стыдно, Ларка! — без обиды, впрочем, увещевала Ирина Степановна. — Гуля-а-ам! — Они обнялись и радостно повизжали.

— Музыка-а-а!

Пили день и вечер.

Заглянул на раут сосед сверху, муж учительницы. Быстро напился и лег спать. Уснули и подружки. Они спали до тех пор, пока не позвонила учительница.

— Да здесь он... Здесь... — отвечала Лариса. — Заходи... — И открыла дверь, а потом снова легла.

Пришла горемычная учительница с градусником под мышкой, отчего ее левая рука казалась привязанной к туловищу, а правая суетливо тередила пуговку халата с короткими рукавчиками-крылышками.

— Где он?.. — произнесла она, не думая и не рассчитывая, что ее услышат спящие. И когда она сорвала со спящих одеяло, проснулась Ирина Степановна, села в постели и поискала очки. Водрузив их на нос, Ирина Степановна спросила учительницу:

— Вы по какому вопросу, мадам?

— Что! Здесь! Происходит?! — спросила и учительница и швырнула в Ирину Степановну градусником. Промахнулась и схватила со стола пустую бутылку. Тогда Ирина Степановна закричала:

— Не трогайте меня — я шлюха!

— Что?! — вскочила и Лариса. — Да сама она шлюха! Ты что, не понимаешь, — обратилась она к учительнице, — что мы ничего такого не делали?

— Как же не делали? — всплеснула крылышками та. — Как же не делали, если вы... все... голы-я-а?! Вы меня кем, дурой числите?!

— А кто ты? От умной мужик пить уйдет? Напьется до отпада, чтоб ни тяти ни мамы? А мы, усталые после работы, должны его на себе, на двух горбах, как верблюды, на седьмой этаж! Благодарствуйте, барыня!

— А позвонить? Позвонить тебе, Ларка, трудно?!

— Вот забота! Твой мужик — ты и звони... Я что, прячусь от тебя? Да на кой хухер ты мне нужна... И твой алкаш Петя... или как там его.

Но Петя заблажил из-под одеяла:

— Я не буду с тобой жить, учительница! С ними буду! Тут хорошо... Буду жить... Дайте мне жить, крысы... Учителя... учите-ля-та...

— Ну вот видите, девчонки, — огорчилась учительница и присела на краешек тахты. — Вот видите...



— Да хрен с ним, Анечка! Где они, мужики-то? За рюмку все отдадут! Да еще бисексуалы ненавистные! Давайте выпьем... Анечка, что это у тебя в руке? Наливай!

...Уснули вчетвером.

А в три часа утра в дверь позвонил Вячеслав Палыч. Он принес в рюкзаке море веселья:

— Амаретти, девочки... Шерри, голубки... Французский спирт — раз! Американский спирт — два! Восемь сникерсов — одиннадцать...

— Bravo!

— Вива, Слава!

— А это — розы, солнца мои!

— Ах, ро-о-озы! Господи милосерд, ро-о-озы!

— Слава, ты разбогател?

— Как его зовут? Слава? Слава, вы настоящий кавалер!

— Посмотрим, посмотрим!

— Посмотрите, посмотрите! А это — мясо быка в полиэтилене! Да здравствуют передачи с воли — гуманитарная, сука, помощь нашей зоне! Быстро мне, быстро двести оборотов!.. — ревел Вячеслав Палыч. — И этому, в постели... кто это?.. никак Петруч-чио? Подъем — «скорая помощь» прикаретилась! Этому тоже — сколько выпьет!

Петруччио запел, не отчиняя век:

— Не крути мне руки, друг, ведь на всех не хватит ру-ук...

В стенку угрожающе застучали соседи.

— Что?! Я — майор кагэбэ! — рявкнул Вячеслав Палыч. — Молчать, в соседней камере, молча-ать!

— Я им ща устрою стукоток! — пообещала Лариса. — Славка, собаченька ты моя вкусная! Стихи будешь читать? Я твои дурацкие стихи передам в гимназию — вот Анечка у нас, она в гимназии преподает!

— Никаких стихов — ухожу на спец... задание...

— Может, на спецлечение? — молвил Петруччио и громко икнул.

— Заткнись, иколог! — посоветовал Вячеслав Палыч. — Выпей на, залей пожар... Вы ж не знаете, что живого меня хороните!.. И-э-ха! — махом выпил он. — После первой... не занюхиваю... — Ира! Аня! Жарьте мясо...

— Жарьте! — сказал Петруччио и выпил тоже.

— Не пей много! — строго посмотрела на него жена. — Имей совесть.

— Честь имею! — еще раз выпил Петруччио поданную Вячеславом Палычем водку. — Имею... что имею... Чужого... не моги... не хочу... Тут жить буду, хи-хи, мля... Жид буду! Мам-м-ма, хочу ням-ням!

На лестничной клетке что-то происходило. Оттуда доносились гортанные голоса горцев.

— Арчил! Арчил!

— Что, Гьви?! Здыхаю здэсь насмэртъ!

— Держись, Арчил! Ми с табой, друг, понымаэш?

— Позавыте русских, русских! Позвытэ, здыхаю! Панмаэш?

На звонок в квартиру Ларисы открыл Вячеслав Палыч. Он увидел перед собой махонького горчика, который суетился где-то на уровне брючного ремня Вячеслава Палыча, указывал в сторону шахты лифта:

— Задрастуй! Там Арчил в лифчике застрал! Цто будэц делать, а? Арчил, дэржись, друг! Буд мушина, а? Цто делать будэц?

— Руби канаты! — приказал Вячеслав Палыч. — Руби! Тут для горного орла невысоко! — и вышел из квартиры в подъезд. — Тащи топор, кацо!

Арчил вопил:

— Здыхаю!

Его друг укорял Вячеслава Палыча:

— Зачэм, слушай, шутка? Чхалвэк там, панмаэш, хороший друг, а?

Плакат нада!

— Зачем плакать? — отвечал Вячеслав Палыч. — Будьте мужчинами — держите слезу в мешочках... Эй, Арчил! Слышишь меня?

— Слышу, дарагой, ах, слышу, дарагой!

— Жми на кнопку «стоп»...

— Нажму!

— Отпускай!

— Ну?

— Что «нул»?

— «Нул» отпускает? А?

— Вай! — возмутился друг застрявшего. — Ты сколько клас кончал?

Тхибэ руским языком гаврят: стоп атпускает, идьют!

— Атпустыл!

— Что тут происходит, Славик? — вышла Лариса. — Что за переговоры?

— О прекращении войны с Абхазией! Отпустил?.. Жми на девятый!

— Арчил лифчык застрал! — объяснял Ларисе маленький.

— Ну зачем же так!

— Минэ нэ нада девятый! Перви нада!

— Слушай, крэтино, тхибэ говорят, жмы дэвятку, руским язык, жмы!

Лифт тронулся.

— Процесс пошел, — сказал Вячеслав Палыч. — И я пошел.

— Стой, друг! — прижал руку к сердцу маленький. — Благодарыт будэм! Обычай такой, панмаэш? — И он раскинул объятя вышедшему из лифта взмокшему Арчилу, который был ничуть не выше его ростом. — Арчил! Откривай кхэйс, коняк достан!

— Тогда просим в гости — обычай такой! — пригласил Вячеслав Палыч. — Оружие можете оставить при себе — обычай такой! — И он сделал широкий жест рукой в полупоклоне. — Просим!

— Вай, маладэц! — сдержанно улыбнулся Гиви и протянул Вячеславу Палычу руку. — Знакомы будэм: я — Гиви!

— Арчил!

Их рукопожатия оказались крепче, чем мог предположить Вячеслав Палыч.

— Начинайте, — сказал Вадим Крякутный режиссеру Коробьину.

Коробьин вошел в студию, где его ждал один из лидеров фээнэс.

— Свет! Саша, ты готов?

Оператор кивнул головой и уткнулся глазом в видоискатель.

— Вы готовы?

— Я всегда готов, — ответил политик.

— Оператор просигналит вам о начале съемки. Постараемся говорить свободней — это не митинг... Малыш, в кадр!

За столик лидера присел журналист.

— Пошли! — сказал оператор.

— Друзья! — начал журналист. — У нас, у оппозиции существующему ныне режиму в России, государстве, не имеющем границ, правосудия и конституции...

— Стоп! — прервал Коробьин-Христосов. — Малыш, ты не мог бы полегче, без патетики? Будешь готов — команду «мотор»...

— Мотор... — с готовностью сказал Малыш и, выждав паузу, заговорил: — Соотечественники! У оппозиции нынешнему режиму нет средств на издание своих газет и журналов. «Радио России» — импортный спектакль с импортными актерами. Центральное телевидение — гнездо предателей интересов крестьян, рабочих, национальной науки и культуры, лаборатория вестернизации страны. Мы, патриоты, для оккупантов всего лишь «красно-коричневое отребье», быдло, люмпены...

Коробьин-Христосов тихонько шепнул Крякутному:

— Ладно, потом подчистим... Горячится Малыш, но гнев его справедлив.

Малыш тем временем продолжал:

— В новом году с новой силой встает вопрос: что делать? Смотрите передачи нашей студии «Телемолния», которые мы будем распространять на видеокассетах. В них мы попытаемся ответить на все злободневные вопросы. Рядом будут интервью с простыми тружениками, с депутатами Верховного Совета, который начинает прозревать и набирать политическую силу в своем противостоянии разрушительным силам, что прикрылись ничего не значащим именем демократов. В наших передачах вы будете встречаться с лидерами Фронта национального спасения, увидите истинные лица тех, кто разрушает Россию уже не один десяток лет. Меня зовут Малыш. Усы, борода, очки — все это мне не принадлежит, это грим в целях личной безопасности. Мне ее никто не гарантирует... как присутствующему у нас в студии сегодня депутату Верховного Совета России Анатолию Соснову. Он, слава богу, защищен правом депутатской неприкосновенности. Анатолий, в Конституции, ныне еще не отмененной, хоть и не действующей, есть такие слова: «Народ осуществляет власть непосредственно». Что это? Пустая фраза или прямое указание на право народа восстать, чтобы взять власть в свои руки, если у власти окажется тиран и самодур, любящий при случае сослаться на



то, что он «всенародно избранный»? Ведь даже буржуазные правоведы признают право народа на восстание во имя спасения и Отечества, и самого народа!

— О том, что Россию надо спасти, знает каждый, кто не забыл своей кровавой фальсифицированной истории. Наша же история — это частица мировой, которую выковывает международный капитал по давно отработанной технологии. Маразм, начатый Горби, вызывает у здравомыслящих людей не отвращение, не удивление, а ассоциации с революционным прошлым человечества. Скажу лишь одно: Карл Маркс с гениальным предвидением описал политические события в СССР в своей брошюре под названием «18 брюмера Луи Бонапарта» — спектакль, поставленный сто сорок лет назад, как по нотам разыгрывается сегодня в России. Желтая пресса говорит о том, что капитализм — строй прочный, а социализм не выдержал конкуренции с ним. Но прочтите Карла Маркса — и вы увидите, что всего сто сорок лет назад этот капитализм барахтался в крови французов и реставрировал монархию...

— Для тех, кто не читал этого руководства к действию для нынешних демократов, проведите несколько аналогий.

— Это нецелесообразно. Эту брошюрку надо читать. Она вышла в Москве в издательстве «Политическая литература» в 1985 году. Я отсылаю вас и всех, кто нас смотрит, к ней. Это даст результаты, я вас уверяю. А насчет аналогий... Попробую процитировать Маркса по памяти. Он пишет: после того как они основали республику... (в нашем случае *они* — верхи капээсэс, начавшие перемену строя)... основали республику для буржуазии, прогнали с арены революционный пролетариат и на время заткнули рот демократической мелкой буржуазии... (в нашем случае — это видимость борьбы со спекуляцией и коррупцией)... они сами были отстранены массой буржуазии, которая с полным правом завладела этой республикой как своей собственностью. (Имеется в виду крупная советская теневая, главным образом связанная с Западом, экономика.) Никакие наши кооператоры, при всей их всеядности, граничащей с людоедством, при всей их помоечности, в желании ограбить ближнего своего, при всем их сволочизме, в желании разграбить отчий дом и осквернить мать свою землю, никакие наши доморожденные деятели не способны сравниться с заокеанскими коллегами и братьями по стае. Под вопли продажной нашей прессы о том, что у нас все плохо, Штаты скупают на бирже акции КамАЗа, продукции которого нет равной в мире, они почти задаром приобретают завод «Фрезер», завод с уникальнейшими технологиями и прекрасно знающими производство рабочими... А Закон о земле? Он сделает нас перекасти-полем вселенского масштаба!

— Как вы относитесь к Марксу?

— Я лично Маркса не знал, но все мы знали марксизм... Россия — самая первая жертва марксизма в мире. Горькая чаша — этот марксизм... Да еще приправленный водчонкой!

— Ваше отношение к возрождающейся компартии?

— Не коммунисты довели страну до экономического краха, а отсутствие коммунистов у пульта управления страной. Ложь о процветающем Западе, о счастливом обществе потребления упала на прекрасно унавоженную почву, и сделал это тот воистину интернациональный сброд, под управлением которого творились и творятся все преступления против трудящихся народов России. Это они создали легенду о «старшем брате» и ею же попрекают русских; это они создали миф о великорусском шовинизме и даже Ермака записали в завоеватели, ни словом не упрекнув испанскую конкисту, выбитых напрочь заезжим сбродом американских индейцев; это они умалчивают о том, что самое страшное порабощение — экономическое, что и происходит сейчас с так называемым бывшим эсэсэсэр; это они врут о том, что наша страна состоит из невежд: любой наш средний студент более широкообразован, чем средний американский конгрессмен; могу подтвердить сказанное фактически, но это тема, как я понимаю, не наша.

— Анатолий, вы состояли в КПСС?

— Не удостоился чести.

— Иронизируете?

— Для меня сейчас это не имеет значения: кто был, кто не был членом партии... Для меня сейчас важно: что ты делаешь для спасения Родины... Человек может заблуждаться, вступая в партию того или иного политического окраса, может искать выгод, может помодничать... Вступая в ряды патриотов, человек рискует. Это война с превосходящими силами противника. Верю, знаю и убежден: с временно превосходящими, захватившими нашу еду, наш уголь, наш лес, нашу нефть, наших потомков, телевидение, радио, газеты, Кремль... И хорошо, что для отпора захватчикам создаются такие партии, как РКРП.

— Почему РКРП не стремится объединиться с Купцовым, Медведевым, Склярсом, Калашниковым? Ведь они тоже выступают за восстановление власти коммунистов?

— Некорректный вопрос. Всем, кто задает подобный вопрос, съезд РКРП в Челябинске ответил: она выступает не за восстановление власти компартии, а за восстановление власти трудящихся во главе с рабочим классом.

— Опять классовая борьба?

— Если существует классовый враг, то и борьба с ним является классовой.

— Снова кровь?

— Какая разница, от чего ты умрешь — от кровотечения или от голода... От кровотечения или от петли, которую своими руками накинешь себе на шею... От кровотечения или от ностальгии по быломu Отечеству, родному, несмотря на коммунистическое иго... Как мы заметили уже на своем веку, политические структуры недолговечны. Вечны законы природы, вечен дом, который у нас пытаются отнять, — Россия.

— Но ведь Россия наконец-то суверенна, нынче она свободна!

— Представьте себе уставшего от работы главу семьи: он обеспечивал достаток в доме, он защищал дом, он думал о долге и ответствен-

ности перед приемными детьми и отдавал им лакомые куски, отрывая их от рациона своего, он вот-вот должен был уйти на пенсию и отдохнуть. А ему сказали, обессиленному: вон из дому! ты нам не нужен, старик! И старик свободен. Он ищет и штопает свои мальчишеские одежды, чтобы было в чем из дому-то выйти, а и они ему оказываются велики. И приемные детки орут вслед: на вырост оделся, старый дурак! Вот свобода деморализованной, шокированной безнравственностью творимого собственными детьми России.

— Что вы скажете о нашем «всенародно избранном»?

— Градобойное орудие... Инструмент...

— Туманно.

— Со временем прояснится и для... непонятливых.

— И когда прояснится, то народ восстанет?

— Народ объединится. И это главное.

— Ну что ж, спасибо. Думаю, что это не последняя наша встреча, Анатолий. И последний вопрос, касающийся непосредственно вашей личности: скажите, это правда, что в пору своей университетской юности вы преследовались КГБ?

— Я бы не назвал это преследованием. Это была личная неприязнь со стороны представителей органов. Капитана Бордадыма, в частности... Допускаю, что это была игра с его стороны, отвлекающий маневр, потому что им, гэбэшникам, ничего не стоило изуродовать меня в своих потайных ящиках. Однако же этого не произошло, как видите. Это было взаимонепонимание: они считали, что защищают безопасность государства, а я считал, что они просто служебные псы, которым все равно, кому служить, что такое понятие, как русский патриотизм, в советские времена им чуждо... Словом, мне их игрушки не понять. Некогда, ей-богу!

— Но страх был?

— Паники не было. Мой дед сидел, отец сидел. От этого они не стали врагами людям, не стали глупей, не стали менее дороги мне. Редкие из людей в России не сидели. Кто-то еще сядет... Надо помнить, что у нас от тюрьмы и от сумы не зарекаются. Уж если сидеть, так за верность матери нашей России.

— Спасибо, Анатолий. На этой не совсем оптимистической ноте мы и закончим наш сегодняшний диалог.

42.

«Он не узнал меня...» — печально думал Вадим Крякутный, глядя из окна вслед Соснову.

Сосновская походка не изменилась. Он по-прежнему слегка подтаскивал правую ногу, которую сломал на военке четырнадцать лет назад, по-прежнему монументально неподвижно нес корпус и смотрел не поверх носа, а прямо перед собой в землю, словно не хотел отвлекаться от решения какой-то занимательной задачки... Вот он подошел к депутатской «вольво», положил на багажник папку, достал из кармана сигареты и,

развернувшись к окну, из которого глядел во двор Крякутный, закурил неспешно.

«На меня смотрит... — взволновался и без того расслабленный воспоминаниями о родине Крякутный. — Узнал... Он любил Веру... Он просто не пустил бы ее в колхоз, и она бы не погибла... Но ведь я тоже ее любил... А она выбрала меня. Судьба? Судьба... Она не делает опечаток... Эх, Толик, тошно-то как!»

— Мальш! — вырвалось у Крякутного.

— Здесь Мальш! — отозвался тот из соседней комнаты. — Запись отсмотрим?

— Мальш! Сбегай, верни его, пока он не докурил!

— Мухой! — согласился Мальш. — А кого?

Но вошел на кухню Коробьин-Христосов и охладил горячку Вадима.

— Стоп, земляк! — сказал он. — Умерла так умерла. Нас нет. Есть борьба. Есть табак. Есть оружие. Есть дамы. Есть перспектива вернуться к живым. Стоп, Мальш!

— Есть стоп! — согласился Мальш и с этим. — Запись просмотрим?

43.

Бал у Ларисы не затихал.

Вячеслав Палыч прощался с жизнью. Заметно ломился раздвижной доперестроечный стол, и когда учительница захотела сплясать на нем, то Ирина Степановна сунула ей под нос ватку с нашатырным спиртом. Два горца церемонились и пытались говорить красиво. Учительницын Петя сбегал домой и принес для них костяной рог, оправленный в нержавейку.

— Это мой рог! — зачем-то со злостью и по-детски выкрикнула учительница. — Отдайте рог! Мой!

— Да будут у тебя еще рога, будут, милая! — утешала Лариса. — Дурное дело — не хитрое...

— Мне учерики... учери... ки... на восьмое манта...

— Тихо! — рявкнул Вячеслав Палыч. — Я прощаюсь с жизнью! Я хочу сказать, эй!

Петя зажал жене рот, и пожелание Вячеслава Палыча исполнилось. Наступила тишина, и слышно было в ней тихое сопение уснувшей на худом плече героини Ирины Степановны. Вячеслав Палыч с нежностью переложил головку Ирины Степановны на край стола — Ирина Степановна с улыбкой встрепенулась и поцеловала собственную руку, а потом с той же невинной улыбкою поцеловала руку Вячеслава Палыча и, сказав:

— Ты настоящий герой, хоть и пьяница, — предложила: — Говори все, что хочешь... А я давно не лежала на мужском плече... Не шевелись... Говори сидя...

— Пьяница? Какой же я пьяница? — гладил ее волосы Вячеслав Палыч. — Вот поставь мне утром сто граммов водки, месяц, два месяца

будет стоять — не трону. А уж поставь мне вечером бутылку — махом оприходу. И я — пьяница? Всю жизнь вокруг меня десятки сотен любопытных воронят так и вьются мошкаррой: ах какой вы талантливый! подыхай швыдче, Славик, мы сделаем тебя великим!.. Нон! Я не подыхаю, пока сам этого не захочу! Одного друга детства прошу: дай мне, Рудик, на наши детские фоточки поглядеть, я-то свои в походах растерял! И что Рудик?.. Нон. Он ждет, пока я подохну, чтоб стать обладателем и распорядителем моих фотографий! Он ждет, когда к нему придет комиссия по литературному наследию, я наследил-то немало, и скажет ему, Рудик: продайте нам ваш фотоархив с маленьким Вячеславом Пальчем! А Рудик повеживает: я дорожу, типа, памятью корефана, мне эти снимки дороги! Цена его не устраивает, наперед вижу козла с его политикой! Вот такие, как он, и нарекли меня пьяницей... Бывало, нажрешься, начудишь: нате, други, получайте, чего жаждете и вожделеете... А мои иностранные дети? Вы, Лариса, думаете, что я глупый коллекционер? Любитель импортного мяса? Как бы не так! Моя первая супруга, поэтесса Хвоцина, так меня достала беспросветной своей ленью, мнимыми хворобами, безразмерным эгоизмом и пустыми, самое больное, разговорами, что впору бы и на глухонемой жениться. А иностранки — они ж почти как глухонемые! Там слов нет. Где есть любовь, там слов не надо! И что я понял? Все бабы на один фасон, по одной выкройке: дура на дуре сидит и дурой погоняет! Что я понял еще: жалеть их и любить надо — зачем воевать с несмышлеными! Если берешься — иди до конца, до потери пульса. Если нет — шути и ничего не принимай всерьез. Выпьем за женщин — за других людей, за наше счастье и нашу печаль, которые заключены в них, дурах! Виват!

— Слава женщын! — ввернул в общем радостном ликовании горец. — Пуст будэм вмэстэ дураки глупи!

— Слава! Я тебя люблю! — кричала учительница. — Не умирай!

Второй горец вынес телефон на кухню:

— Пхазваныт хачу! — и запер за собой дверь. Аппарат он поставил на подоконник, поглядел на тихий снегопад, швырнул щелчком окурок в форточку и, по-военному одернув свитер, набрал номер:

— Галя, это я... Да... Все идет по расписанию... Запиши адрес... Диктую... Никак нет, госпожа Габдрахманова... Подслушивание исключено... Да, мы обязательно его проводим... Отбой...

(Окончание следует.)



Владимир КОСОГОВ

ЗА ПРОСТО ТАК

* * *

За просто так, за то, что воробей
Резвиться не устанет — непоседа, —
За то, что пух осыпался с ветвей,
Пушистее декабрьского снега,

За то, что я еще не испытал
Любви чудесной каторжные муки,
За то, что солнцем залитый бульвар
Чужих подошв подсчитывает стуки,

Еще за то, что обнаглевший пес
Четвертый день дежурит у порога,
За то, что я хотел, но не донес
Под сердцем обескровленного Бога,

За всех вокруг, за мелочи, пыльцу
Пустячных дел, оконченных к обеду, —
За это все, ладонь прижав к лицу,
Я никуда отсюда не уеду...

* * *

Венецианской папироской
(Уже примерно полчаса)
Иосиф Александрович Бродский
Дымит и смотрит в небеса.

Звучит мотив фортепианный,
Но тает с дымом сигарет
И профиль Кушнера туманный,
И Рейна грузный силуэт.



* * *

Христос воскрес, а Лёша не воскрес.
Попал на Старом рынке, у «художки»,
Как рассказали старшие, в замес,
Минут пятнадцать ждали неотложки.

В двух метрах продавали куличи,
Иконки, серебро — в церковной лавке.
И напрягались, словно силачи,
Святые лики, лежа на подставке.

Хоть Богоматерь хмурила чело,
Косясь на шило, всаженное строго
Под пятое — смертельное — ребро,
Быстрее не приехала подмога.

Подумал я: успеет ли простить
Меня Господь? И можно ль отвертеться?
Лишь медсестра пыталась запустить
По новой обескровленное сердце.

* * *

Молча вышел из школьных ворот
Толстопузый очкарик-задрот
С «трояками» по точным наукам.
Ближе к дому свернул переулком.

Он тогда заучил назубок:
Нет решебников к сложной задаче.
Только математический бог
Навсегда отказал в передаче:

Раскрывает картонный журнал,
Где закладки торчат, как купюры.
До смешного становится мал
Список пройденной литературы.

И выходит сценарий иной:
Школьник прячет убор головной
И заходит в последние двери,
На печаль умножая потери.

* * *

По субботам в клубе позабытом,
Где сгущался мрак, хрипел шансон,
Притворялся уткой и бандитом
Каждый перепившийся гондон.

Грубое словечко, но поверьте —
Мне другого здесь не подобрать.
Пацанам казалось: нету смерти,
Здесь никто не будет умирать.

Первым Лёша был, который часто
В самогон подмешивал карбид.
На «Урале» он заехал в царство
Трезвых и бездушных аонид.

Мы пришли на похороны эти,
Будто на премьеру в кинозал.
«Ничего страшнее нет на свете!» —
Про себя я тихо повторял.

А потом Андрей поймал печенкой
Ржавый нож и вмиг сошел на нет,
Я стоял и плакал, как девчонка,
Весь в дыму моршанских сигарет:

«Отче наш, иже еси на небе,
Даждь нам днесь, избави от грехов
И остави в этом ширпотребе,
В Царствии пластмассовых венков».

И сейчас, когда прошло полвека
Или больше, — да не в этом суть:
Не боюсь живого человека,
Много больше мертвого боюсь,

Потому что как глаза ни прячь ты
И усталым ни води плечом,
Лишь крестов расшатанные мачты
Всех живей на кладбище пустом.



* * *

Керамическая смерть
Не всегда людской короче.
Блюдцу сложно умереть,
Человеку это проще:
Шило сунь ему в живот —
Наземь грохнется и только.
А керамика живет
До последнего осколка...

* * *

Тяжкой долею гонимы,
Связаны одной судьбой,
Заходили в магазины,
Закупались колбасой,
Пивом светлым, пивом темным,
Водкой теплой, как навоз.
И гудел о чем-то стремном
Одноглазый паровоз.

Светит месяц, светит чистый,
Как цыганка в золотом,
Мы его в ломбард на Чистой
До аванса отнесем.
Нет, не думы роковые
Хмурят бледное чело,
Это деньги гробовые
Тратить время подошло.

Я добрался до конечной
Остановки, где тупик.
Там мороз бесчеловечный
До костей в меня проник.
И остался, как заноза,
Лет на семьдесят вперед.
Долгожданная мимоза
Все никак не расцветет.

* * *

Никто не умер. Никогда
Никто не умирал.
Никто прожженные года
По пальцам не считал.

Ложились в гроб живе́й живых.
 Ложились как один,
 Чтоб жить в раскатах грозовых
 И в отблеске витрин.

* * *

Морозного глоток горячий
 Смешаешь с дымом табака
 И по ступенькам, как незрячий,
 Уходишь прямо в облака.
 И там прикуриваешь снова,
 Потом бычкуешь и опять
 Простого, мраморного слова
 Не можешь в рифму подобрать.

Губами шевелишь немыми,
 Руками дергаешь, чудак
 (Так за решетками стальными
 Полжизни тычутся во мрак).
 Осознаешь, что шел впустую,
 Исчиркав спичку о стекло,
 Как будто голову седую
 Лучом Господним припекло.

* * *

Живу как все, одергиваю тюль.
 За рамою беснуется июль,
 В наколках весь, и пахнет перегаром.
 Но я большой, мне скоро тридцать лет,
 Когда Господень припекает свет,
 Я упиваюсь солнечным ударом.

Да, было время: бегал карапуз,
 Мотал на ус, тащил вселенский груз,
 Боролся, как с гомеровским Циклопом,
 С кошмарами, к земному охладев.
 И слишком часто не везло на дев,
 Поэтому не верил гороскопам.

Все вышло так, как я и представлял:
 Седой моряк не удержал штурвал,
 Проспал Итаку, загубил матросов,
 Один остался, кончился один,
 Печальный кареглазый исполин,
 К которому у неба нет вопросов.

КОШМАР НА РАССВЕТЕ

Наречием движений крючковатых,
На языке глухонемых
Я спрашиваю мальчика из книг:
«Какого черта за спиной возник
С крылами мой сосед придурковатый
И смотрит, точно я — один из них?»

Но мальчика забрали в детский дом,
Где сделанный из бритвы кипятильник
Завхоз отключит, дернув за рубильник,
И дразнится береза за окном.
Где в потолок вбивают два крюка,
Чтоб смерть тебя нашла наверняка.

...Но громче смерти захрипел будильник...

* * *

Учился на тройки, езжу теперь на «тройке».
В старом троллейбусе люди друг другу волки:
Заденешь плечом соседа, услышишь: «Падла!
Грязный и рваный, так тебе, сука, и надо!»

Так мне и надо. В рюмочной захудалой
Я выбираю между бесцветной и алой
Жидкостью, что на витрине и в преёскуранте
Лучшая перспектива при всем таланте.

Что тебе снится, Тускарь? О чем печалишь?
Банки пивные, как поплавки, качаешь.
Думаешь выйти из берегов в апреле,
Все затопить к чертям на Страстной неделе?

Это ли не финал? Торжественный, величавый,
Мною предсказанный, речью моей картавой,
Глоткой моей луженой, хрипящей матом
В троллейбусе, ускользящем за закатом.

Алексей ТАРАСОВ

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТOK

Р а с с к а з

1.

Давно застыли нулевые, а Миха жил в девяностых: все еще носился, все еще солнце, ветер, летящая в лицо трасса. Не совпадал с реальностью.

Друзья и компаньоны канули в предыдущую эру, в булькающее вареву русской воли. Миха говорил — *булькатившее*. Кроме бульканья, слышалось клокотание и бурление.

Еще он говорил — бешеной собаке сто верст не крюк. И гнал, и возвращался, и снова срывался, мчался — словно было куда. Это как лихорадка, горячка, только пока не смертельная, хроническая.

Миха жил на съемных, порой совсем убитых квартирах, ел макароны, серые фабричные пельмени, докторскую колбасу и гонял на «феррари-спайдере». На пути в Хакасию или уже там выбирал отрезок трассы — испытать скорость по полной. Пулей. Сначала проезжал потихоньку, смотрел, чтоб ни ям, ни камней — иначе взлетишь. Возвращался, ждал пустоты в попутном направлении. И потом зажигал. Гладко, степь, обзор...

Жигуленок как-то вывернул с проселочной дороги. Когда мимо него пролетела ракета на скорости под триста, съехал на обочину, замер надолго. Миха вернулся извиняться. Сидели в «пятере» потом и ржали, дураки; выпить достал из «спайдера». Он его называл «штучкой» или «маленькой» — видимо, по сравнению с другими своими рыдванами: выбирал американские джипы, не японские. Чтобы было просторно.

Казалось, он себя представлял только в беге. Остановись, замри — исчезнешь. Так он понимал мир. Скорость и была его жизнью, лучшей жизнью. Чем быстрее, тем лучше.

Но над черной землей, где лежали товарищи, Миху все же насильно сняли с его огня. Конечно, то была женщина. Мария. Красивая, анорексичная барышня с зелеными глазами в пол-лица. Ее тонкие волосы светились из-за обилия в них палладия, серебра, платины: дочь металлурга, она жила на правом берегу, под боком у аффинажного завода.

Миха привык подчиняться чутью. *Чуйке*, говорил он. Ею — спиной, задницей — чувствовал и опасность, и деньги. Ею шел по следу. Ею уходил. Ею, полагал, и жив до сих пор. В те дни он с чего-то решил тормозить, успокаиваться.

Тогда же увидел Машу.

Напился для отваги. Вызвонил приятелей. Глядел на них, не видя, и наливал по кругу, не глядя, больше на стол и на пол. Думал, что так и не решится сейчас подойти к ней, заговорить. Лучше потом скупит все рекламные щиты вокруг, напишет ей — девушке, сидевшей в клубе за таким-то столиком, а я был рядом, мы встречались взглядами, — вот же идиот.

Подошел к ней уже у раздевалки. Широкий в плечах, но гибкий. Красивый, но с чем-то волчьим в обтянутых кожей скулах, с длинными, не то женскими, не то звериными ресницами. И карие за ними, глубокие глаза такие же — то веселые и хитрые, а то разили животной силой.

Она не выделяла его, но за полчаса до того, как оказались рядом, поняла, что это произойдет. Когда он опрокидывал в себя стопку за стопкой, он ей скорее нравился, чем нет. А он смотрел на нее точно в огонь.

— Завтра в десять приеду. Во двор. Жду пять минут. Не выходишь — уезжаю один.

Завтра было 31 декабря.

Назавтра он подарил Маше большой желтый цветок — сам он его считал подсолнухом — и увез ее за шестьсот верст. В горы, на замерзшее зеленое озеро.

Светло было от снега, от белого подоконника, от ее белого тела. Что-то дрожало в воздухе, незаметное для глаз. Миха жалел, что он не осьминог с восемью щупальцами. Миха был в толще вод на огромных глубинах. Он входил в Машу, и им было так, точно они оба ждали этого всю жизнь.

Глубоко новогодней ночью они спустились вниз, в общий зал турбазы. Парень со складчатыми затылком и шеей, с целлюлитом на ушах, осоловелый от водки, или что они там пили, сразу увидел Марию. Минут через пять, ворочая камни во рту, подошел. Миха даже не уловил, насколько мгновенно вытащил его во двор.

На крыльцо плавно, как убийцы, вышли еще три гоблина. В багажнике у Михи лежала «сайга». На заднем сиденье — колотушка, какой масаи в Африке отгоняют обезьян. Миха всегда утверждал, что если по темечку, так и льва укокошить запросто. Грозная колотушка лежала не вместо биты — рядом с ней.

Но это был другой субъект Федерации. И тот хлопец — сын начальника ГАИ, как, подбежав, нашептал на ухо официант. Миха понял: им просто, если что, перекроют выезд, не выпустят из этой маленькой республики.

Они сбежали. Ехали с его Машей — уже его — молча по первоянварской пустой дороге. Километров триста одолели. И тут Миха вспомнил про цветок: остался в номере. Развернулся. Маша недоумевала. Потом, смотря на снега вокруг и уже их не видя, засыпая, вдруг вспомнила родину, Украину, откуда ее увезли шестилетней, как мчалась так же с отцом, долго-долго, и повсюду одни подсолнухи. И все залито солнцем.

Миха включил какую-то красивую английскую песню, она казалась страстным классическим соитием любовников, впервые познающих друг

друга — краткая прелюдия, все учащающийся ритм, кульминация, затухание...

Цветок Миха забрал благополучно. Стоял на прикроватной тумбочке, в толстой керамической вазе.

Уехали потом на базу к знакомым спасателям, запускали салют, пили. Миха не мог насмотреться на свою женщину. Напрасный желтый цветок, какая-то большая желтая ромашка, лежал на заднем сиденье, увядал. Мария о нем больше не вспоминала. У нее, с кошачьей талией и повадками, все происходило как во сне, и она ничему не удивлялась и не сопротивлялась. И это, она понимала, было закономерным этапом ее жизни.

Следующий Новый год они встречали в Париже.

Миха таинственным образом периодически размагничивал свои кредитки, приходилось ездить в банк их восстанавливать. Пока ходил в банк, размагничивался его парковочный билет. Все бы ничего, но банки ушли на рождественские каникулы, а наличка как раз кончилась.

Зато здесь 31 декабря выпал снег. Они ходили по улочкам, Миха периодически порывался зайти в кафе, отдал последние монеты уличному скрипачу, шарил по карманам при виде следующего, Маша смеялась. Он вообще не дружил с деньгами: если в карманах оказывались купюры, он не успокаивался, пока не спускал их все. Спать, говорил, нужно с чистой совестью и карманами.

Предложил постоять на паперти:

— Я же до знакомства с тобой в цирке работал. Лепил на тела ложки, вилки, миски, самовары. Сталепрокат магнитных сортов и небольших размеров. Еще, как сейчас помню, глушители дамских автомобильчиков. Тряхну стариной. Со мной не пропадешь.

Нагулялись, пришли в квартиру, которую снимали уже две недели. В воздухе, в прозрачных линиях деревьев и крыш присутствовало, помимо тихой, безмятежной и безответственной радости, некое сообщение, и оно было адресовано ей, так это понимала Мария. Контуры домов и деревьев расплывались, таяли, и она была абсолютно счастлива. Она сидела на краю ванны, новое платье из-за долгой ходьбы намагнитилось от колготок, облепило бедра. Она смотрела в окно и впервые столь ясно ощутила свое счастье, хотя и не подозревала раньше, что страдает от его нехватки. Сейчас оно было осязаемо, переливалось через край.

Нашла две картофелины, сварила. И — по глотку недопитого накануне шампанского. Брют был какой-то пьяный-пьяный, и, стоя у окна, Мария почувствовала время, ночь, зиму, праздник, воздух, небо.

2.

Она нарожала ему сыновей, заставила обзавестись хозяйством, купить два дома — в Лондоне и в какой-то испанской дыре. Русских там, впрочем, хватало, Миха провел русские телеканалы, выпивал с соотечественниками, но чаще почему-то спал. Говорил, что отсыпается за все дни и ночи в России. Во сне возвращался в первую пятилетку девяно-

стых: каждую минуту ему натекает пять тысяч рублей долга, проценты по кредитам, тикает в висках, прошибает потом, в понедельник платить сто миллионов или лишаться недвижимости, но на дворе воскресное утро, и он — традиция — едет на остров гонять в футбол. Все уже в сборе, вся банда, он — центрфорвард.

Мария видела: во сне он поворачивает лицо всегда к солнцу, как подсолнух. Даже если солнца за шторами или жалюзи не видно.

Миха в Андалузии маялся. Море ему казалось холодным.

Дети уже лопотали. Он учился у них английскому.

Мария знала: Миха — образцовый альфа-самец, ему надо регулярно доказывать свою первость и получать признание его доминантности. От этого его любовь к *тусне* — ему не хватало в их испанском доме уличного шума за окнами, компаний, он терпеть не мог оставаться один. «Найти своих и успокоиться...» Это ведь из какого-то кино. Это не про него. Какие мы ему свои? Хорошо, пусть свои, ведь и чахотка, поселившаяся в твоём теле, твоя и только твоя. Мы его уже не радуем, мы-то знаем, что он альфа и не быть ему омегой, ему нам уже нечего доказывать, мы им уже восхищенные. А ему подтверждение требуется... как кислород. Он так живет. И будет жить иначе — это уже не он будет. И нужен ли мне будет этот другой?..

Всюду засада: и так нельзя, и этак. Она его, наверное, все еще любила. И когда были рядом, сливались, ей не хватало воздуха, просила остановиться, пыталась отстраниться, глотать безвоздушное пространство ртом.

Ее усилиями обживали добротный и неинтересный дом. Рабочие-украинцы под ее присмотром ломали стены, перестраивали, воздух наполнялся электричеством. Маша тащила мужа, бьющегося током, в торговые центры, где крыши и стены узких, низеньких паркингов и винтовых пандусов, соединяющих этажи, были исчерканы и исцарапаны нескромными, габаритными джипами русских; покупала с ходу, не медля, чтобы Миха не дергался, какие-то коврики, безделушки... Чтобы было жаль бросать все это; отважно, насильно, против логики, но приручала Мihu с домом друг к другу. Так ей казалось.

Он всегда прежде любил, чтобы все было подчеркнуто красиво — на его взгляд. Его не интересовало, бывает ли красота *отчеркнутой*, выделенной; придавал значение каким-то мелочам, она увидела это еще в том безумном возвращении за цветком. Его суета — чтобы все было красиво — порой была в жилу и всем на пользу, но нередко и раздражала, когда он начинал бесконечно пересаживаться в ресторане — за лучшим видом, переставлять или менять вещи вокруг себя, гоняться за одним каким-нибудь брендом... Он словно укреплялся тем, что отвергал чужое, изничтожал усилия тех, кто предлагал ему что-то другое, как-то иначе расставлял и распределял все. Жрал окружающих, в последние годы в особенности, телохранителей своих, водителей, подчиненных; и тем был сыт. Не колбасой же.

А тут сел на диету, остыл, сломался.

Однажды в соседнем городишке за обедом в большой компании взвился, попытался построить официантов: пожилой, весь из морщин — наверное, хозяин — объяснял, что перемена блюд не производится, пока все не закончат, Миха требовал, чтобы у него тарелку забрали. Красивое волчье лицо его вытянулось, скулы обтянул металл, взор разил. Мария понимала: это из-за молодого официанта, что пожирал ее — чужую добычу — веселыми выразительными глазами. Он этими глазами ее уже медленно раздел и пару раз уделал. Ему, судя по всему, понравилось. В белой рубашке, заложив руку за спину, с гордой прямой спиной, он стоял теперь весь на улыбочке, не сказать — усмешке, поглядывая снисходительно на Мihu. И настоял на своем, резкими и точными движениями собрав тарелки лишь минут через пять. После того, как закончил с Машей в третий раз, сзади.

Тореадор хренов, мачо... Мария ожидала продолжения. Не виртуального соития — реакции Мihu. А ее не было.

Дня через три, когда они сидели на веранде другого приморского ресторана, Миха сказал:

— Смотри, какие они статные. Вышагивают. Распрявленные. Подбородки вверх. Вот ведь... конкистадоры.

В России Маша, защищаясь от его глаз и слов, если не могла уйти в другую комнату, складывала в воображении из кирпичей разделительную стену — чтобы спрятаться за ней, сохранить в себе хоть капельку крови и жизни. Здесь этого не требовалось, и она уже скучала. Возьми все, что желаешь, думала Мария, пей мою кровь, всю выпивай, жри меня, только не сдавайся, найди себе занятие, будь варваром, пожаром, будь прежним, тем, вокруг которого вертится со свистом мир. Гони на красный, думала она, пускай пал. И в следующую минуту уже боялась, что Миха бросит все и умчится куда-то насовсем.

Перед телевизором, рассказывающем об очередном сломавшем себе шею на снегоходе в Альпах русском чиновничьем рыле — где у него, любопытно, обнаружилась шея? — Мария подумала о божьем суде и справедливости на том свете. Так вот же он, другой свет, они именно в нем. Выезжая из России, каждый здесь получает, что заслужил. Она, например, детей, любовь и достаток.

«Насосала», — говорят про таких, как она. Слышала. Ну... насосала не она — Миха. Из той, прошлой земли. Эта — не дастся. Из той земли, из ее людей и строений. Он умел. Как-то раз достал ее, сил не было, только что не взмолилась, и Миха серьезно так сказал:

— Если кого любишь, имеешь право пить ее кровь.

Он таким был сделан — и он это заслужил. На докторской с кетчупом волчаре не прожить. Здесь — успокоился. Здесь докторской с серыми пельменями и нет. Здесь можно жить. И пожинать плоды — здесь. Здесь новые переселенцы из России устраивали на дни рождения жен, детей, домашних собачек такие двадцатиминутные фейерверки, каких эта провинция еще не видела. И каких не видели и уже не увидят покинутые русские города.



3.

В ясные ночи, а других там не бывало, до них долетал свет африканского маяка. Перемигиваться с ним Миха забирался на крышу — босиком по нагретой шершавой черепице. Подолгу сидел на коньке.

Спешил всю жизнь, ровно было куда. Но, выходит, так и не успел. Куда? Знать бы. Не сюда же он гнал...

В конце концов, жизнь, по Михе, всего лишь математика, бесконечное вычисление. Он летел куда-то и прибавлял тем самым, а то и умножал. Он наездил миллионы, заработал миллионы, он вернулся за подсолнухом, потому что не любил терять — вычитать и делить; все есть алгебра — и нарастающий дождь, и листопад, и солнечный свет, протяженная жизнь и быстрое умирание. И даже те ощущения неведомой прежде отчетливости, что испытывал с Машей, его чувства к ней — арифметика. Просто это был предел, то, к чему уже нельзя что-то прибавить, максимум, график, упершийся в потолок. Дочь металлурга, внятно вся упругая, как схватывающийся расплав; они не сливались, когда были вместе, нет такого сплава, его плоть плавилась и изливалась, ее — сжималась; ток отрубался, магнитные завихрения успокаивались, тела разъединялись. Но было еще что-то помимо процесса вычисления; сейчас, остановившись, Миха чувствовал это: какое-то дрожание в воздухе, какие-то иные силы, неведомо откуда берущийся свет. Бывает и так, без сложения и вычитания. Бывает, но что это и чем потом обернется?..

Миха подолгу смотрел на мигающий луч над морем, не отводя глаз. Подозревал свои теперешние занятия и всего себя в ничтожности и бессмысленности. И вместе с тем сейчас, в почти кладбищенской пустоте, сгущавшейся вокруг него, понимал, что будет жить еще долго и счастливо. Можно ведь и так — дрожанием в воздухе, вакууме ли, бесцельным колебанием. Железوماгнитное гудение мира куда-то отлетало.

А медленными днями он смотрел на Гибралтарскую скалу. Ее основательный, внушающий силуэт виден был почти всегда, но именно силуэт: Миха гадал, почему всюду совершенно синее небо, абсолютно синее, без облачка, а Гибралтар затянут дымкой, над ним точно примагнитные кружат облака. Однажды, в самом начале, когда они с Марией только выбрали дом, подъезжали к пограничному шлагбауму этого британского владения. По шоссе всего-то верст пятьдесят, по морю, наверное, тридцать. Выпили там кофе, безучастно смотрели, как взлетают и поднимаются самолеты. Отъехали, остановились в дюнах. И вдруг со стороны Гибралтара и Африки пахло жаром, опалило, вырвало из песка забытый пляжный зонт, он, кувыряясь, издали неся прямо на них, летел — вот-вот воспламенится. Дышать стало невыносимо, воздух плавился; это стремительное дыхание пекла что-то напомнило. Что?.. Миха так и не понял, хотя честно пытался. Ясно почувствовал одно: есть что-то большее, и оно сильнее. Оно вообще к нему не имеет никакого отношения. К тому, счастлив он или нет. Оно просто есть — и всегда рядом.

На следующий день из своего дома разглядел скалу и ее подошву в подробностях: домики, взлетная полоса, антенны...

Ездили в Тарифу, где уже океан и ветры, смотрели на испанскую Африку, Сеуту, на Атласские горы, дрожащие в мареве, только смотрели, переправиться туда на пароме не хотелось. Возвращались в новый дом. Обочины шоссе на всей его протяженности густо поросли высокими кустами олеандра с крупными цветками. Справа — белые, слева — красные. Но природа брала свое, периодически высыпая, вкрапывая красное на белом и белое на красном. И вдруг на них неслись уже розовые цветы, они разбавляли категоричный пейзаж; от него, от ядовитых цветков и жары — от чего же еще? — туманилась голова.

Ребятишки плохо переносили машину — укачивало. Одному Михе гонять здесь не хотелось. И точно клавиша пробела залипла, время текло и утекало. Жили друг при друге на пропеченной солнцем земле, залитые светом, под пологом высокого неба, густых крон деревьев, криками больших птиц, ели запеченных сардинок, слушали волны, дышали йодистой прелью, дышали, говорили — и о страшном, о том, чего не миновать, старались не думать. Солнце садилось в горы, и к его закату иногда подгадывали, брались неизвестно откуда, вставали на его пути оранжевые и алые облака, подсвеченные будто не снаружи — изнутри. Они образовывали еще одну фундаментальную плоскость, твердь — параллельно обжитой людьми земле.

Однажды Миха очнулся не в этом испанском дне сурка, а в доме бабушки на Ангаре. Открыл глаза — и накрыло: на него в упор смотрят глаза с янтарными зрачками. Это солнце, пробиваясь сквозь два сучка в закрытых ставнях, окрашивает их, листовенничная текстура дорисовывает контуры глаз, морщины под ними. Они теплые, они строгие, эти глаза дерева, и он видит уже весь образ того, кто смотрит на него... Здесь, в камнях и водах Андалузии, то была игра света: пучки лучей преломлялись в глади бассейна, в стеклышках брошенных у бортика очков, в лобовом стекле мчащегося недалеко седана, в витражном окне соседа-англичанина — и, странно сфокусировавшись, летели сквозь кольшующиеся листья пальм к Михе на белый потолок.

Оглушительно тикали часы.

Лёха, приятель, написал как-то ему, тоже уже не из России: «А я вышел и посмотрел спутниковые снимки, где вы там и как устроились». На следующий день Миха проснулся в пять, тихо прикрыв за собой дверь и принялся собирать пальмовые кожистые листья. На обочине дороги, ведущей к морю, нашел у мусорных контейнеров свалку срезанной с растений коры и пожухлых уже листьев: издалека они выглядели как шкуры — каурые, гнедые. Миха горбатился часа полтора, выкладывая на песке листьями огромные буквы: «Лёхан — дурак». И сел рядом ждать, когда спутник снимет плоды его трудов. «Ну что, прочитал?» — написал он Лёхе. Тот с ответом медлил.

Маша, проснувшись, объяснила, что фотки в Гугле обновляются дай бог раз в несколько лет. Миха все равно был счастлив. Что при деле, что утро, что он всех насмешил. Что этот день не прошел впустую.

Это невероятно, но совсем скоро Гугл обновил спутниковые карты этой местности. На них и сейчас запечатлено это послание Михи другу.



4.

Он прилетел в родной город, мама болела. Накормила, напоила его чаем и уложила спать на огромный и неудобный белый кожаный диван. Миха подарил его родителям с первых больших денег, еще кооперативных. Диван сразу вытеснил югославскую стенку, затем кошку, которая его царапала. На нем никто не спал, кроме Михи, а он у матери бывал нечасто.

Цепь здешних несчастий началась с другого подарка. Уезжая с Марией, Миха переселил мать из этой квартирki в огромный загородный дом в чиновничье-банкирском поселке. Три этажа, земли вдосталь, «природа рядом». Чтобы мать согласилась переехать, велел рабочим разбить грядки, поставить теплицу, привезти чернозем. Заборы здесь были приняты чисто символические, и соседи со своих лужаек косились.

Потом поставил перед фактом: дом сторожить и грядки полоть некому. Ну надо так надо... Они с неделю прожили здесь втроем. Мать ходила за сыном и гасила свет: она уже осведомилась о ежемесячных коммунальных платежах за дом с электроподогретыми мраморными полами.

Переселяться сюда совсем не стала, решила держать это великолепие за летнюю дачу. Прожила первое лето. В сентябре — уже собирала вещи ехать домой — упала с каменных ступеней лестницы, покатилаь и сломала ногу. Открытый перелом. «Скорую» вызвала, телефон был в кармане, он выпал, разлетелся на части, но она сумела вставить на место батарею, собрать его. Дверь бригаде открыть было некому. Если через заборчик они смогли бы перешагнуть, то кто их впустит в дом? До сих пор неясно, доползла ли она до двери или что-то случилось еще. Она не помнит. «Скорая» приехала из райцентра, обезболивающего у них не было, вызвали городскую неотложку. Но и у нее, по новым порядкам, анестезия была фиговая, столь же напоминавшая реальную, как штaketничек у дома — забор. После этой ноги все и пошло как-то... Так оно и бывает, Миха знал: стоит раз дать слабину, и все.

Прилетев и отоспавшись, на следующий день пошел с матерью на похороны ее подруги. Их было четверо: еще пришла племянница с маленькой девочкой. Та все хотела потрогать бабушку, вставала на цыпочки — как понял Миха, девочка ее совсем не знала, впервые видела. Уже мертвой. В детском гробике. Желтый, морщинистый лоб, какой-то голый, стыдный, прикрытый узкой белой бумажной полоской с буквами молитвы.

Они были одноклассницами с матерью Михи, затем одгруппницами в пединституте, начинали работать в школе на Севере. Далее подруга уехала в Казахстан и полвека там учила детей. Помирать вернулась на родину. Они гуляли вечерами по улице, когда позволяло здоровье. Единственный сын, чекист был, большой человек, остался там, в Казахстане, и умер за четыре года до матери.

У беспокойной девочки, точно роса, выступили бусинки пота на носу, русые кудряшки прилипли ко лбу. Вежливые молодые люди в черных ко-

стюмах погрузили гробик в «газель» — и все. «И это — все», — проговорил внутри себя Миха. На кладбище тоже обошлось без слов; Миха подумал, что так лучше, все равно люди в конечном счете говорят в основном о себе, а не о том, кого хоронят. Только хмурый и ловкий парень в костюме негромко остановил девочку, сказав: здесь нельзя ходить, вот проход. Девочка стояла на чужой могиле: ее заинтересовали пластмассовые цветы.

Когда кончилось, Миха усадил всех в машину и медленно ехал по кладбищенским улицам и переулкам, притормаживая у гранитных надгробий друзей. Из всплывших в голове не всех нашел. Дружья проросли рябиной, сиренью. Из машины не выходил.

Вспомнил вдруг: в начале 90-х проезжал вот так же медленно и внимательно по ответвлению местного Брода, ведущему на Театральную площадь. Здесь вечерами собирались все: бритые спортсмены со сломанными ушами, бандюганы со своими фифами. Свет. Они подъезжали-отъезжали, самым писком у них были даже не «девятосы» тогда, а «восьмерки» цвета мокрого асфальта. А Миха на «хонде-прелюд» третьего поколения, машине для поцелуев, медленно, с шиком, опустив стекла и отчетливо слыша скрежетание зубов, раздвигал толпу, фыркая движком. Понтырящик. Кто рядом сидел — всех уж не упомнить, он, как Саддам, старался дважды в одном месте не ночевать. И под любовный гон подвел теорию. *Мульку*, если пользоваться его терминами. Какая любовь, ржал он, что вообще за тупизм: две половинки, я нашел тебя... «Кого ты нашел? Чтобы выбрать лучшую, надо проверить весь тот миллиард женщин, подходящих тебе по возрасту. Иначе никого ты не нашел, а просто подобрал ту, что под боком...» Но миллиард, он догадывался, и ему не перепробовать. Ввел не только возрастной ценз, и формами все его подруги были похожи: плечи шире попы; он не изменял себе. Так и будущая его «феррари» появилась из этой «хонды» с низким приплюснутым носом, предсказанная ее линиями, ее фантастическим силуэтом.

И за ним по Театральной площади ехали его друзья. Они были живые. Днем они выносили кресла из его офиса, ставили на тротуар, как в кинотеатре. Сидели на солнце, пили чай; мимо бегали студентки, тут пролегала тропа меда и педа.

Это замедление, торможение, фыркание было кайфом. Миха подумал об этом с какой-то неизвестной новой горечью. Он намагничивал вокруг себя машины, фемин, золото; оно оборачивалось столпотворениями, пробками, гульбой, новыми нулями на счетах, тонны обращались в килотонны... Жил как жилось, гнал куда-то, скользил, лепил на себя все, что лепилось, запутывал и рубил узлы... Куда это все пропало? Или вся эта жизнь с ним тогдашним, полным жизни, нервов, электричества, ухающего сердца, испарин, осталась здесь, лежит вот с ними, под рябиной? Зря поддался тогда, сам себя обманул. Шел на Одессу, а вышел к Херсону. Дураком вырос.

Когда все было в последний момент, в обрез, и жил в аврале, цейтноте, нужен был всем. Сейчас на него смотрели лишь мать и эта женщина с

девочкой. А смотреть не на что. За движухой, под ней, кроме нее, ничего не нашлось, ничего не оказалось. Пустота.

Мать знает его всякого, чего перед ней гнать картину. Миха понял, что чересчур замедлился. Раньше он мог газануть и улететь. В том числе — от смерти. Сейчас некуда.

Дома молчали. Мать сказала только:

— Хорошо похоронили.

Пошла прилечь.

Миха на балконе курил, дышал. Темнело. На почерневших деревьях уже не различались черные птицы. Но Миха знал: они там, они сюда всегда прилетали на ночь с окраинных помоек, где кормились. И с кладбища — там их Миха видел пару часов назад. Вчера при дневном свете он разглядел, что гнезда были свиты из проволочек и строительного мусора.

Утром, снова выйдя на балкон, он услышал, потом увидел аккуратный экскаватор. Точно такой, что копал на кладбище могилы. А может, и тот самый. Здесь он рыл у новостройки ямы для посадки деревьев — как раз подъехал грузовик со скелетированными, уродливыми листовницами. Рабочие в оранжевых жилетах сутились у распахнутой земли, заполняли ее. Слежалая, закисшая хвоя отлетала клочками. Шишки, точно артритные, намертво прилепились к серым костяным ветвям. Укорененные здесь много лет назад, старые и, возможно, уже мертвые тополя, голые и побелевшие, стояли с пустыми, настезь, гнездами.

Миха снова почувствовал запах вскрытой сырой земли, глины. Стоял, вдыхал его, сломав и скомкав в кулаке неподкуренную сигарету. С матерью он долго не мог, все было уже не так, не то. Надо бы срывать-ся отсюда, бежать.

Чего он еще ждет? Счастье у него уже было, впереди — смерть. Стеклышки калейдоскопа наконец выстроились в полную картину. То, куда он летел, осталось позади, и зачем лететь дальше, это бессмыслица, ведь тоже так все проскочит, предстоящее тут же становится прошлым, все останется там, откуда ничего не достать, ничего.

Миха прожил на родине еще четыре дня. Ехать с ним мать не хотела. Договорился обо всем с врачами, нашел матери помощницу. Один раз напился. Звонить было некому. Все же сделал три звонка знакомым.

— Три звонка. Три, вашу мать, звонка... И все, вся жизнь... — говорил он сам с собой. — И больше ничего...

На следующий день привез мать в больницу. Заодно разрешил и себя посмотреть на томографе. Ему показали его череп.

— О, Йорик. Таким я буду?

— Нет, такой вы есть.

Вернувшись, позвонил Марии. Предложил секс по телефону.

Стоя на балконе, испытал необъяснимый иррациональный ужас при взгляде на долгострой, который теперь пытались закончить, на эти стены, лоджии, решетки железобетона. В части дома, в двух подъездах, уже жили. Сушилось белье, зажигался свет. Эта картина пожирала его, вбирала в себя. Пора винтить отсюда.

5.

Через пару лет он один летел в Швейцарию. Мария осталась на курорте в Северной Америке; свет полз по стене; она смотрела на Мишу чуть реже, чем там, в сибирских горах.

Миша летел кататься на лыжах. Летел к одному человеку и одной трассе. В прошлые свои приезды сюда, еще с Марией и детьми, он сдружился с инструктором-французом: тот ненавязчиво дал пару советов, радикально изменивших горнолыжную технику Миши. Так бывает, сказал он Маше, тысяча людей тысячу раз скажет все правильные слова, но ты не услышишь их, а этот мне на ухо шепнул три слова, и все поменялось.

И еще ему понравилась трасса среди громадных, величиной с его испанский дом, камней — ущелье с одиноким мистическим деревом на крутом косяге; в какой-то точке выяснялось, что оно притягивает тебя: вот сейчас плечо развернет, и пойдешь со всей своей скоростью, под сто тридцать, на него, запутаешься в руках-ногах, полетишь пропеллером. Дерево из прошлой жизни, из России, оно магнитило. Миша любил его и помирал от страха, проносясь совсем рядом с ним.

Это были новые любовь и страх, совершенно другие — безусловные, освобожденные, искренние до гормонального доньшка. Русское дерево на склоне было сильнее того тягучего, замкнутого в своей обреченности советского недостроя с бельем на балконах, сильнее безличного дыхания африканского пекла и несущегося на них с Машей пляжного зонтика, что обугливался на глазах. Магнетическое дерево было сильнее самого Миши, и все его вопросы к самому себе и к миру переставали что-то значить.

Оно обособленно выросло тут для него, эксклюзив.

Среди игрушечной альпийской Европы внезапное это чувство было настоящим. Кайфовым. Как раньше. Острым, прямым, резким. Как пуля, как ее попадание в цель. Как вывернувшая с боковой «пятера». Как тот момент, более чем двадцатилетней давности: Юрка, его компаньон, встает с квадратными глазами, открывает рот, но почему-то его не слышно, он не может говорить, не может вымолвить ни звука, белеет и потом еще как-то нелепо, невпопад, уже не в себе, перекосившись, жестикулирует... Они тогда выкупали самое дорогое в России, не считая Москвы, здание. Аукцион. Юрку задавила сумма. А Мише деньги были пофиг. Он поднялся и встал враспор на своей земле, которую чуял под полом и бетонными перекрытиями, и сказал. Сразу назвал столько, чтоб никто уже больше не рыпался.

Через пару дней без стука распахнулась дверь, зашли без приглашения те, кому он раз за разом ломал все договоренности по распилу города, вальяжные, один в норковой шубе. Миша зло рассмеялся, он еще не видел таких смешных бандосов. У него в углу, под правой рукой, стоял «мос-сберг», в столе лежала граната.

Ему рассказывали спустя годы, как Юрка наедине с ними только что не умолял:



— Не суйтесь к нему, живете своей жизнью — и живите, не трогайте его, упаси вас господь. Он себя взорвет, но и вас ведь с собой заберет. Мы с садика вместе. Со средней группы. Дрались, как все. Когда на него трое пошли, он молоток взял. Где-то нашел. И гонялся за ними, пока мать его не прибежала.

Тот его офис сожгли через четыре года. А Юрку зарезали в подъезде спустя еще год. За неделю до того они были в Берлине, поселились, как богачи, в «Адлоне» у Бранденбургских ворот, только что заново открытом (он сгорел дотла в конце войны — это Юрка расспросил чернобелого швейцара в цилиндре и смокинге). Пили в холле вискарь, наблюдая, как официант Дракула, встав на стул перед высоким постаментом, артистически готовил в клубах влажного белого дыма какое-то питье. Это была церемония, под его руками распускался цветок, халдей священнодействовал, играл, обнажая клыки, бледный, красные зрачки, черные прилизанные волосы с синеватым оливком.

— Помнишь, Юрка, нас в «Интурист» не пускали? А сейчас сидим вот здесь, я босиком... Как же я ненавижу нашу с тобой страну... — Миха уже был пьян. — А помнишь, мне родители привезли жвачку из Югославии в виде сигарет? До этого гудрон жевали.

— Еще в пробках от одеклона эти пипки вынимали. Если долго жевать, она белеет, тянется.

— Тянется... Не то слово. Я даже пузыри выдувал... А как в гаражах искали старые аккумуляторы? Плавил свинец на костре, выливали солдатиков. Сначала. Потом — кастеты.

В приближающемся к Цюриху самолете, листая журнал, Миха остановился, увидев колечко Wellendorff. С ангелочком. Как ей нравится. Она их собирает, ангелов. Стекланных, фарфоровых, глиняных — всяких.

Из прочитанного и объяснений стюардессы уяснил, что такие кольца продают только в четырех магазинах. В Нью-Йорке, Вене, Берлине и Пекине. В порту Цюриха Миха дождался своего багажа — лыж, взял прокатную «ауди» и поехал в Вену. На стойке, получая ключи, услышал: это семьсот верст. Семь верст не крюк, ответил с кивком, но без улыбки: к тому моменту он уже устал.

Потом по его российской прописке два года штрафы присылали: гнал Миха сто семьдесят. Но Швейцария с Австрией его если и огорчили, то слегка. Во-первых, о штрафах он не думал, платить не ему — тетке, за него управляющей всем хозяйством, во-вторых, пролетел Альпы он днем, когда вспышек фотокамер не видно. Вечером — да, они раздражали.

Мчался мимо нарисованных пейзажей, мимо кукольных домиков, преувеличенно красивых городков и замков, мимо того вида, что три часа назад видел на журнальной странице, мимо лощенных, ухоженных, блестящих воронов — клювы ярко-желтые, лапы красные, сидят строго по вершинам елок под гладкой, начищенной, ровной, как лампочка, луной. Иллюстрация за иллюстрацией, это как гипноз. Гул в ушах стихал, погружался в раннее детство, в такое раннее, что в обычной жизни не помнишь.

А колючка в Вене не оказалось. Дама строгой внешности начала его убеждать, что привезут. Почему-то из Парижа.

Миша разозлился, что его английский был не слишком хорош, а продавцы и вовсе не хотели его понимать. Хлопнул бы дверями, но они закрывались автоматически.

Зимой у них не по-русски лил дождь, но голуби летали такие же. Зашел в магазин по соседству.

В витрине лежало колючко с подсолнухом, выложенным желтой бриллиантовой крошкой. Миша уставился, замер. Расплатился. Вышел.

Здесь ему было мало холода, австрийский январь казался слишком жарким, он не в силах был Мишу охладить. Ехал обратно, покоя не было, внутри ныло: это рыжье с брюлами не то, что она любит. Небо вышло, было пустым и давило. Представлял, как она будет смотреть мимо, а он снова будет куда-то срываться, лететь. Ехал и думал ни о чем, без мыслей, без слов, да, в общем, и без трепета. Понимал, что долго это не продлится, близится финал.

Потом Миша заорал так, точно вдруг все осознал. Он не Юрка, он не потеряет голос, его не задавить, ему пофиг. Он гнал, выгнувшись, напрягшись, как конская шея, и вопил до полного опустошения в глотке. Замолчал. В глазах плескался яркий белый свет. Или вода, прозрачная и беспокойная. Запертое время вдруг снова хлынуло в пустоту, потоком. Бушевало, ему снова надо было куда-то мчаться.

В родном городе Миши стояла полночь, но было светло от снега. Он завалил все, и деревья обросли мохнатой сверкающей кухтой, и дома, столбы, провода, чугунные изгороди, качели во дворе, все предметы и все поверхности, все плоскости замерли под густой изморозью. Лишь машины с автопрогревом тенькали вместо замерзших птиц, перемигивались фонарями, из выхлопных труб вертикально поднимались в искрящееся небо дымки, не растворяясь в оцепеневшем воздухе — он каменел до треска, до звона. Не рассеивались в нем и малейшие звуки, громкие, насыщенные, гулкие, слышные теперь и за тысячи верст — так казалось.

Упорно мигал желтым, но уже еле видимым, ближний заиндевевший светофор. Точно отвечая ему, в квартире матери Миши затеплилось желтым обледеневшее окно, накрахмаленные кристаллики дрожали в околоземном пространстве, дробя и искажая слабый электрический свет, он показался бы неуместным сказочным цветком, если б кто увидел. Затем по очереди зажглись все ее окна.

В светлой дали, в уличном просвете между многоэтажками появился минут через десять раздвоенный огонек «скорой». Переливался оранжевым. Он был виден издалека.

На курорте Марии стоял полдень. Яркий, как в ее родном Запорожье. Она смотрела на солнечно-желтоголовых сыновей, бежавших к ней со всех ног от улыбающегося и машущего ей рукой тренера. На полпути они почти синхронно запнулись и полетели в песок. Маша бросилась к

ним, две головы заревели, два славянских подсолнуха, цветом почти неотличимые от майамского песка.

Миха вылез из машины на землю. Невдалеке на белом снегу красиво лежала черная собака. Поднял голову. Над ним в подсвеченном неизвестным источником пространстве кружили снежинки, независимые от него, не притягиваемые ни землей, ни друг другом, сами по себе, отдельные. Писали нечто — не разобрать, зачеркивали. Что-то свербящее было в этом порхании. И недостижимое, как ни бейся.

Миха лег на снег и понял, что уже отрубился, спит. Вспомнил Штирлица — «ровно через двадцать минут он проснется и поедет в Берлин». Во сне Миха хотел достать из ящика своего стола гранату и кинуть ее вдоль шоссе. Ни для чего. Разве что для звука, фейерверка. Пейзаж оживить.

Собака поднялась и неторопливо пошла за дом. Там, на заднем дворе, запрыгнула на детские качели, они бесшумно пришли в движение.

Стояла тишина, только в правом ухе, в правом полушарии Михино мозга звучало тихое, без напора, без чувств пение. Похожее на церковное. Слов не разобрать. Снег пах так же, как в отрочестве первая японская нейлоновая куртка — свежестью, предстоящей жизнью. Кружение снежинок за неплотно закрытыми и сухими, вопреки всему, веками, прикосновения к ним, таяние и увлажнение их — снаружи, только снаружи — вытянули откуда-то из подкорки первую ночь в Саянах с Машей. Огромный подсолнух у кровати. Живой. Как дрожало что-то в воздухе. Как жалел, что не осьминог, и сказал ей потом об этом. Как спустя годы к нему подошел его старшенький с книжкой: «Папа, вот прочитай, осьминог не настоящий, у него всего две ноги».

Миха спал, всеми своими пятью литрами чересчур горячей и живой крови чувствуя магнитное поле Земли. И покачивание на скорости земного шара, несущегося дугой управляемого заноса в черный космос. Миха был наконец спокоен и весел. Оттого, что наездил миллионы километров, всюду отметился, что он наполнен этим всем и всюду остался, наполнив собой те места... Нет, не это главное. Он чувствовал что-то хорошее, рожденное внутри него, давнее, но что это, в связи с чем, о чем — не помнил. Он снова летел так, точно было куда. Летел как ветер, как солнце. И при этом теперь знал то, о чем не имел понятия прежде — что и солнце, и ветер, и он сам свободны лишь с виду, они подчиняются другим силам, невидимым. Но это было в кайф, совсем не зазорно. И вот эта радость, это легкое головокружение во сне, какие-то странные ощущения... Почти счастье. Он когда-то заблудился, но теперь чуйка вновь с ним, в нем, и он знает, куда ему. Дерево на косогоре ждет. Это то, что надо. И ему это нетрудно.

Еще посмотрим, кто кого.

Валерий МАЛЫШЕВ

«ВСЕ ПОДЫТОЖЕНО И СОЧТЕНО...»

29 марта 2015 года новосибирскому поэту Валерию Викторовичу Малышеву могло бы исполниться 75 лет...

Сейчас невольно вспоминается, что первые стихи Валерия Малышева, выдохнутые горячим ртом линотипа, напоминали долгожданные, но грустные письма «на родину», пришедшие с опозданием в 20 лет. Именно столько продержали поэта в издательском анабиозе. Но их чистота, мощь и свежесть, а главное — бескомпромиссный некрасовский дух его лирики наделали немалый переполох. Это были как бы «избранные места из переписки с врагами», особенно с теми, кто усиленно разрабатывал торговое направление в отечественной литературе. Его горькие, пронзительные вещи, такие как знаменитая «Считалка» и ставшая всесоюзно известной «Рассечка» (что бы о них ни говорили), есть серьезная попытка разобраться в трагедии русского народа, понять, «рассечь» ее причины, ибо, по слову Твардовского, «кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу...»

Практически во всех стихах Малышева чувствуется деятельная, энергичная, порою страстная, особенно в вопросах чести и достоинства русской литературы, позиция автора, всегда считавшего, что словотворчество — это непрерывная работа по устранению зла...

А вот — строки из официального документа пресс-службы Сибирского военного округа Министерства обороны Российской Федерации от 26.07.2000 года:

В соответствии с решением командующего СибВО и на основании заявки Новосибирской писательской организации Малышеву В. В. (паспортные данные) разрешено в июле-августе с. г. сроком на две недели посещение войсковой части 21005 для сбора творческого материала и моральной поддержки личного состава. Доставку на место дислокации и обратно (г. Моздок) гр. Малышева В. В., согласно указаниям командующего войсками округа, осуществить попутным рейсом РТА из г. Новосибирска (из Моздока).

(О вопросах безопасности личности в Чеченской республике гр. Малышеву В. В. разъяснено персонально.)

Прошу командира в/ч 21005 по возможности оказать Малышеву содействие и помощь в размещении и организации питания, в обратной отправке.

Помощник командующего,
начальник пресс-службы СибВО полковник В. Щебланин

На одной из пленок, привезенных в августе 2000 года из Чечни, есть слова комбата в аккомпанементе пулеметных очередей с гор: «Браток, ты единственный из российских поэтов, кто был у нас здесь, под Шатоем, в Аргунском ущелье и читал нам свои стихи о родине, любви и солдатской чести. Поклон тебе, Валерий!»

В этом благородном поступке — весь Валерий Малышев: поэт, гражданин, патриот России.

В 2006 году Валерия Малышева не стало. Он не все успел сделать, у него были большие замыслы, планы, в его дневниках, записных книжках, черновиках осталось много незавершенных набросков, глубоких и сильных строк...

Александр Денисенко

* * *

Снится сон, что бессонница мучит...

Автор

Бессонница с прозрачными глазами,
Умытая прозрачными слезами,
Ты юность бесшабашную позволь
Увидеть в перевернутый бинокль.

Там истины резвятся прописные,
Разгульны, точно девки расписные.
А страсть поэта так ли глубока —
Эстрадного поэта-чудака?

Спасибо, хоть не именем России
Звучали расписные-прописные
И в зрелость, синим пламенем горя,
Не добрались — спились фельдъегеря!

Прощайте, сны, прощайте, золотые,
По горло сыт от ваших от щедрот!
Страсть не сточила зубы молодые,
Не вытек сок, хоть вымысел не тот.

А спалось как! Въедались в тело метки,
Лежал пластом, измотан и раздет:
Сползал матрац, я спал почти на сетке,
Холодным боком чувствуя рассвет.

* * *

Надо:
Кроме насущного хлеба —
Церковь Бориса и Глеба,
Вместо грызущихся свор —
Лад и Российский Собор.
Ну зачем же, зачем же тогда
Ельцин за руки берет,
Ельцин песенки поет?..

«А князи сами на себя крамолу коваху...
а погании съ всех стран прихождаху
съ победами
на землю Рускую».

Но:
«Ни хытру, ни горазду,
ни птицю горазду
суда божіа не минути!»

СЛУЧАЙ В АКАДЕМГОРОДКЕ

Н. Шипилову

Жалко коня, ах как жалко коня!..
Радостный, мчался по талому снегу.
В такт его, в такт его, в такт его бегу
Гикал седок, корпус свой наклона.

Враз оживился пейзаж городской,
Сделавшись значимым в каждом предмете,
И замирали счастливые дети:
— Скачет! Смотри! Настоящий! Живой!

Жалко коня —
Всадник неосторожен ли,
Или же случай причиной тому —
Тросом, проклятым, в дорогу замороженным,
Срезало напрочь копыто ему.

Кровь на снегу — наподобье огня...
Жалко коня,
Ах как жалко коня!..



* * *

Вопреки невзгодам буду,
Жизнь приемля без прикрас,
Каждым нервом, жив покуда,
Чувствовать движенье масс.

Потому, не обессудьте,
Тем, быть может, и дышу,
Чтоб меня читали люди,
О которых я пишу.

* * *

*Наблюдаю, как падает сердце
Куда-то при виде тебя...*

Автор

Люби меня, мне одиноко,
Волнуйся, чаще беспокой,
С какого дня, с какого срока
Я стал непрестальный такой.

Но если вдруг остынет чувство,
Как солнце на исходе дня,
Превозмоги себя, будь чуткой
И притворись, люби меня.

Иль, может быть, утратив веру
В меня, уйдут друзья, браня,
Но ты не следуй их примеру,
Не покидай, люби меня.

Бог с ними всеми, пусть — случится,
Приду, надломлен, зол и тих,
Лицом усталым скрыться, скрыться
В ладонях бережных твоих.

И в них, родных, забыться сразу,
Перед забытьем оброня
Одну-единственную фразу:
«Я одинок. Люби меня».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТАРКОВСКОГО

Кто нас морочил: «Судьба — не судьба?» —
Мысли свои не таи.
«С гуся вода, а с тебя — худоба!»
Что заклинанья твои?

Мы не кичились своей худобой
Или — когда вознесут.
А натерпелись — и бой, и разбой,
Вряд ли другие снесут!

И ничего не осталось теперь,
Все, что имею, — в горсти...
Смазали б, что ли, прощальную дверь,
Чтоб незаметно уйти.

Воет, проклятая, душу щемит
И сквозняками — равно!
Был со щитом, и поднимут на щит...
Ах, да не все ли равно!

Все подытожено и сочтено,
И различимы края...
Что же ты, Господи, смотришь в окно?
Или не видишь, что — я?

СЧИТАЛКА

Как ты зарезал маленького царевича...
А. С. Пушкин. «Борис Годунов»

На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник... Постой!
А сапожник какой?



Уж это ль не он —
С Кавказа Виссарион, от которого
Тот сын Иосиф
Того сапожника, так сказать?²
А ну-ка, попробуем снова начать.

На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
Свердлов, Усиевич,
Троцкий, Стеклов, Рудзутак,
Каменев (так-перетак!),
Зиновьев с Бухариным, Белобородов,
Им масса сопутствующих уродов:
То есть заправский
О-боротень Ярославский
(Ох и речист был обер-антихрист!),
А также — Юровский и
Голощёкин (Шая иль Шея?),
По шеям которых плакал топор
До некоторых пор.
(Какого цвета этот террор
И цвета какого эта идея
Тех наркоматов, тех казематов,
Тех каганатов?)
И, наконец, крестный отец и он же —
Владыка и друг закадычный того топора,
Того сапожника, тот сын прописной!

Кто ты будешь такой?²
Говори поскорей,
Не задерживай добрых и честных людей.

— Царевич!

На золотом крыльце сидели
Царь, царевич...

Все, выходи. Остальное знакомо:
И тебя зарежут
В подвале Ипатьевского дома.

РАССЕЧКА

*Прежде Закон, потом Благодать;
прежде тень, потом истина...
и озеро Закона высохло... и Иудея молчит...*

*«Слово о Законе и Благодати»
митрополита Илариона*

*...исповем на мя беззаконие мое...
Пс. 31, 5*

«И всё бегут-бегут, бегут-бегут,
Бегут-бегут, бегут-бегут...»
Бегут ли с грехом пополам
Иль с чем пополам — неизвестно,
Но повсеместно:
За рубеж и, прикинув, обратно.
И видимо их и невидимо:
Над полями, лесами, морями,
По траве-мураве, по Московскому новому (старому) тракту,
По булыжной ли той мостовой,
По авеню ли...
«Чтоб духу не было!»
Частично не стало.

И сквозят во все стороны света
Дамы света и дамы рассвета:
От Алушты и до Магадана,
Амстердама (с разливом «Агдама»),
Наведя трафарет марафета.
Дай ответ? Не дают ответа.
И некому их пожалеть.
— Где ты, когда ты с самим собой? —

А в то же самое время:
Вооруженные всепобеждающей убежденностью марксизма,
В дебрях красивой (до тошноты!) вторичной природы,
Некрасивые экономисты,
Якобы во благо социализма,
Следуют лишь до преломления хлеба, аукаясь:
— «Где ты? Что ты?»
— Оставь все и обрящешь все.



Что же касается относительно теории Эйнштейна,
То как соотнести непоследовательность
Его убежденных последователей
Относительно относительности:
Пространства во времени — раз,
Времени (чтоб ему дышло!) в пространстве — два,
Негодование пробудившейся Лапландии
От нашествия варваров из Лилипутии — три,
И нас (безупречных ли?), по принципу:
Богу богово, ей-богу ей-богово — четыре!..
Всех нас грамоте этой учили,
Или безумье вступило в права?

Но кто, кто осквернил храм упования сей,
Покрывая великой идеей великую кровь
И требовав лоно себе?!

И где он, тот
Первый выродок земли, ее на пятаки разменявший,
Которыми закроет глазницы потомку,
Как в Лету канувшему-сшедшему,
Не замечая, что звезды блещут
Так бесчеловечно-щемяще,
Перемигиваясь: все, спешим, мол, по одному кишечнику?

И когда он все-таки
Подчеркнуто ровен в непререкаемом свете решений,
То нам, безлошадными ставшим,
До нектара-лазури, до лика ли?
Но все-таки в области
(Вологодской, Московской, Новосибирской, Иркутской — любой!)
Национальных отношений
Перст божий уперся во взгляд (экологически чистый)
Инквизитора Великого!
— Довлеет дневи злоба его.
Тот перст...
Глас тот вопиющий смутных времен
Сквозь (его!) погибельный рог:
«Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?»
Или что — все образуется,
Когда босой разуется?..

Косноязычье проклятое, напирает,
Когда пытаешься соотнести
Не-то-есть-соотносимое!
Извините меня,
Извините, извините меня, но:
— Отнята истина от уст их!

Верная рифма, ты хоть
Защити мя, неразумного, от нашествия безумного
Грустного (отщепенца ли?) родной Ойкумены,
Поскольку:
Слева — столпы сатанистов,
Справа — столпы сталинистов,
А вокруг — и над — и в центре —
Под пузырем,
Струящимся перламутровым презервативом, —
Кто?!

Эх, тройка, птица-тройка!
— Перестройка! — кричат, — перестройка! —
Иудей, не гони лошадей!
Эй, вы, залетные, эй!
По ухабам — не дать бы дуба!..
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
И что мережится там,
Впередсмотрящие дозорные?
(«Эх, волки вы, волки позорные!»)

Даже с понтом никто не желает в Пилаты!
Все — в апостолы, то есть в Пол Поты:
И тайга — закон!
«Закон! Закон!»
А рискнет ли кто душу на кон?

Как знать...
Как знать...

Но коснется ли нас благодать?..

Раиса ЕРНАЗАРОВА

ДВА РАССКАЗА

Посвящается Г. Булгаковой

ЖИЛ-БЫЛ МЕЛЬНИК

Галина была учительницей младших классов и жила в небольшом доме, на окраине поселка. А у реки, за оврагами, за большим полем, жил мельник, здоровый молодой мужик. Был он диковат. Хотя поговоришь с ним — все знает. Но значения нашей суете не придавал, жил сам по себе. Говорят, приехал его родитель когда-то из Белоруссии, купил эту мельницу, и не закрывали ее во все времена. После перестройки мельница стала поселку просто необходима. Мельника зауважали.

Галина бегала к тому мельнику и уже без него не могла. Он ей ничего не обещал, да и что она могла требовать, будучи взрослой женщиной, имевшей детей в городе, которые стали жить самостоятельно.

— Мы с тобой, наверное, ровесники? Нет, ты помоложе меня... На десять? — шутила Галина.

— На десять, — смеялся мельник. — Ноги у тебя быстрые, мои так не бегают, они у меня постарше твоих, наверное, на эти же десять лет. Ты как косуля летишь. Видела их возле леса?

— Видела, — говорит Галина, — нынче они часто к полю прибегают. И с выводками есть.

Галина, когда к мельнику бежала через поле, всегда, бывало, какой-то цветочек прихватывала и цветочек этот у него оставляла.

Смеялись они с ним всегда, и Галине это нравилось. Весело время проводили. На природу с верхнего строения любовались, там отовсюду леса видны.

Потом Галина мучную пыль с себя стряхивала и уходила. Но где-нибудь пыль мучная всегда на ней оставалась, и она этому весело радовалась. Бежит домой через поле, на рукав, припорошенный мукой, смотрит — и улыбается.

Люди иногда в магазине ее спрашивают:

— Ты чего?..

— А чего?

— Улыбаешься. И припудрилась вроде. Куда собралась, Галина? — Ее Галиной всегда звали, а не по отчеству, как других учительок. — На бал?

— На бал, — говорит.

Потом стала Галина замечать, что цветочек ее на окне белоруса как вроде бы не один. И каждый раз до ее цветочка другой появлялся. Но — молчит. Куда ж возгудать, в ее-то годы... Рада тому, что есть.

А тут в магазине подходит к ней девушка. Галина сразу ее признала — «сменщицей» называла в душе. Сразу определила, хотя не такую думала увидеть. Сильная, крупноватая, высокая, глаза лучистые, светлые. Сама спокойная. Большая такая.

«А я ее почему-то Алёнушкой представляла, девочкой шестнадцатилетней, а это — пава. Положительная такая... Правда, если ты такая положительная, — подумала Галина про себя, — чего к мужику сама бегаешь?»

Но после короткого разговора с той девушкой перестала Галина мельника посещать.

Очень страдала. Скучала. Особенно в летние тихие вечера.

Мельник женился, дочка у него родилась.

Пришла Галина в церковь. Тогда народ еще мало в церковь ходил. Никого там почти не было. Батюшка исповедь принимал. И пошла Галина на исповедь. Поплакала. Покаялась в своем грехе. И, наконец, совсем успокоилась. Но на речку ходила, там заросли облепиховые, на зиму ж надо облепиху заготовить.

От места этого облепихового не видно ни дома мельникова, ни даже мельницы высокой, потому что его дом там, за полем.

Многие у нас в поселке, когда заленятся, берут грех на душу, наломают колючих облепиховых веток и тюком большим, в мешковине, тартуют к дому побыстрее, чтоб люди не видели. А дома там уж ягоды соберут неторопливо. Ну и Галина так же. Благо дом ее на окраине почти.

А в этот раз Галина облепиху в ведро собирала.

— Медленно, но верно, — говорила она сама себе.

В эту осень хлеба долго не убирали. Сначала были дожди, потом сразу засуха. Хлеба лежали и не вставали.

Галина почти уж ведро облепихи набрала, чувствует — дымом несет. Вышла от реки, смотрит: по полю дымки. А кое-где и огоньки пламени. Пошла она побыстрее к тропке своей. Идет, а по бокам огоньки ее сопровождают. Слабые такие, но путь метят. Как ветерок рванул, те огоньки вспрыгнули вверх — и жаром по ее ногам. Галина бежать. Смотрит, на встречу ей девочка лет семи-восьми бежит. Напуганная, скачет как коза. Огонь ее подгоняет, понятно. Но вот ветер ушел. И опять мирное поле, и слабые огоньки лежат, текут. Галина к девочке. Та головой мотнула — поздоровалась и дальше бежит. Галина уж поняла, куда она бежит. Дочка мельника, конечно.

А ветер снова рванул. Девочка заметалась. Иногда пропадала в порывах дыма. Галина в тревоге — за ней. Остановилась. Смотрит — vro-



де девчушка на дорогу выскочила, потом на заветную Галинину тропку. И вдруг опять кинулась в пшеничное поле. Галина за ней еще быстрее побежала. А ее и нету. Бегала Галина, орала. И наткнулась: лежит на кочке, глаза закрыты. Дымом, наверное, сработано. Галина девочку на плечо взвалила и бежать. На тропку свою не вышла, дорогу проезжую нашла и по ней поспешила.

Огонь же теперь шел стеной, реветь начало вокруг. Галина смотрит, тропка ее не в огне: она ж по дну ручья протоптана. Галина туда — и по ней, по ней бежит. Спасибо дождям, что воду здесь собрали. Вода, правда, почти горячая, огонь подол платья поджигает, а она все равно бежит.

Чувствует, девочка на плече ожила. Дергается. И как отскочит от Галины — и по тропке сама как поскачет... Бежит как ветерок! И вот уже выскочила на простор.

«А там ведь ров с водой. Настоящее болото. Враз засосет, и не вылезешь», — пронеслось в голове Галины, и она рванула к девочке снова, не тратя время на то, чтобы сбить огонь с платья. И добежала, и схватила девочку, и прыгнула в ров, и ноги ее сразу стало засасывать вглубь, но она смогла выбросить девочку на берег, на зеленую безмятежную травку, и увидела, как девочка побежала по той травке к дому, от которого уже спешили к ней навстречу люди...

В магазине, куда Галина старалась ходить, когда народу было поменьше, имя ее постепенно забывали. Говорили про нее: «А-а... это та, обожженная...» И всем было понятно, что это про нее, про Галину.

СОЛОВЬИ

— Как же я тебя ненавижу, — сказал мужчина.

— А я тебя люблю, потому что тебя любит моя мама. А я же ее сын. Положено мне быть с тобой добрым. Я маму огорчать не собираюсь.

— Я тебя ненавижу!

— А я тебя люблю! Тебе только нужно научиться мыть руки и стирать носки. Вон ветерок их быстро обсушит и уничтожит запахи! Ветерок в это лето дюже ласковый! У нас все окна открыты!

— Кто тебе это сказал?

— Как кто? Учительница, — сказал Ярик и вышел, толкнув ветхую дверь. Там, на улице, стоял его друг Алёша.

— Конечно, — сказал Алёша. — Мы все состоим из бактерий. Смываем одни, получаем другие. Должны, вообще-то, остаться те, что полезны нам.

— Бактерии полезны? — спросил Ярик.

— Конечно. Они перерабатывают многие вещи, помогают природе. Без них не вырабатывался бы даже кислород.

— Бактерии? Ну... придумал. — Голова соседки появилась из-за забора.

— Конечно, вот вы полностью состоите из молекул и бактерий.

— Я — из бактерий?

— Да. И я, и он. И — все.

— И твои соловьи? Или это все же не соловьи? — спросила соседка.

— Главное сейчас — не шуметь. Главное — подождать, — сказал Ярик. — Вот когда бабушка выйдет из больницы, и получит пенсию, и отдаст вам долги, она подсчитает деньги и закажет мне книгу о птицах. И мы точно определим — соловьи у меня поселились или не соловьи. И узнаем, сколько они в гнезде сидят, когда птенцы вылупятся. Сколько дней нужно на подкормку, сколько на учебу и полеты пробные, на тренировки птенцов.

— Вот внук мой городской к тебе просится. Можно я доску отодвину? — спросила соседка.

— Можно, — сказал Ярик и помог малышу протиснуться в дыру забора.

— Вы пока разговариваете, я суп посолю, — сказала соседка и убежала.

— А потом ты пойдешь курочек доить? — спросил Ярика малыш.

— Их не доят. У них другое занятие. Они яйца несут.

— А петух?

— Он яйца не несет. Только кукарекает.

— Только кукарекает... — повторил малыш. — Это плохо? Он неправильно себя ведет?

— Нет. Это его занятие, — сказал Ярик. — Вы — городские. Трудно вам нас понять. Много вам нужно еще изучить. Ты иди. Сейчас я к деду пойду, и мама меня ждет.

Малыш ушел в дыру забора. Ярик поправил доску и вздохнул.

Мужчина вышел на крыльцо. Ярик подошел к нему:

— У меня три причины, почему я не могу ехать с тобой.

— С вами.

— С вами. Первая причина: дед совсем потерял зрение. Вон — лежит, ждет, может, зрение вернется. А я ему сплету веревки и протяну их до самых его любимых грядок. Соседка сейчас свитер распускает. Она мне веревки принесет. Она у нас запасливая. А еще она петуха принесет. Наш-то совсем разленился. Не беспокоит курочек. А как они нового петуха встретят? Драка будет. Тут я пригожусь. Я буду рядом. Помощник в таком деле нужен. Деда нужно яйцами кормить и бабушке в больницу отправлять яйца всмятку. А третью причину пока сказать вам не могу. Боюсь сглазить. Одно скажу — натерпелся я страха.

— Бандиты в деревне объявились?

— Да. Бандиты. Коршуны и сорока.

— Вечно шутишь.

— Если б я шутил... Дед давно говорил мне про сороку. Давно он ее заметил, говорил: «Что-то сорока на воротах все сидит. Новость никак принести хочет». А я понял теперь, почему она сидела. Теперь я от нее стерегу тут кой-кого.



— Вечно ставишь из себя. Умник. Как же я от тебя устал. У всех лето как лето. А я с тобой завязан, за тобой мотаюсь по двести кэмэ в один конец. Да еще глупости от тебя слушать.

— Не волнуйся. Я же сказал, что люблю тебя. Погоди, вот к деду сбегая — и поедем. На недельку, думаю, смогу к маме съездить, ладно уж.

Ярик вошел в комнату к деду. Дед сидел у открытого окна.

— Если ты из-за меня отношения портишь с отчимом, то зря.

— Да нет. Беспокоит меня поведение этой... этой сороки! А за тебя я спокоен. Когда соседка принесет пряжи, ты у меня на прополку будешь ходить. Я проведу тебе плети веревок до самой твоей любимой грядки. Я знаю, как ты гордишься своим чесноком. Он уродился на славу. Все завидуют.

— Оно действительно так. Что мне лежать? У меня ноги целые и руки не отказали. Я ведь по зудению комара могу определить заросли сорняка. Мне б только до своих чесночных грядок добраться. Там сейчас работы много у меня. А я сижу и только слушаю. Вот слушаю: поет горлинка.

— Точно угадал. Это голубь дикий.

— Он горлинкой у нас звался на Украине. И на БАМе, бывало, лежим в палатках и слушаем, как они воркуют, дикие голуби.

— Не может дикий голубь в тайге. Он к жилью тянется.

— Вечно споришь. Я с детства горлинок слушал. Скажешь, и жаворонков не было на БАМе?

— Жаворонков? Нужно посмотреть по карте. Могли они залететь на эту долготу? Это мы посмотрим вместе, когда зрение к тебе вернется. Есть хорошая карта расселения птиц. Ты не сердись. Я могу ошибаться. БАМ ведь протянулся километров на пятьсот?

— Сказанул! Помножь на четыре.

— И ты везде там был? Счастливчик! Вот бы мне так! Так ты, деда, герой! Настоящий герой! Страна гордится тобой!

— С чего это ты взял?

— По телику показывали. «Герои БАМа! Мы гордимся вами!» А на забоке, у Оби, соловьев ты слышал?

— Да уж! Слышал. Я недавно и рядом их слушал. Неделю они не поют.

— Они делом сейчас заняты. Они птенцов высидывают. Беспокоит меня поведение той сороки, что на заборе ты видывал. Понял я, почему она там сидит и глазами шастает. Она высматривает, где соловьи гнездо строят. Там, под кустом, среди веток ели, что мама посадила, там соловья на яйцах сидит, а муж ее подкармливает.

— Да ты что?!

— Знаешь, как я гнездо обнаружил? Возле маминой розы заметил большой сорняк. Дай, думаю, уберу. Наклоняюсь — и вдруг чей-то взгляд, как от змеи взгляд, только шипения нету. И я разглядел в глубине, среди веток, серое гнездышко, а в нем — серая птичка. Смотрит на меня так злобно, буравит взглядом. Сильная такая. Не шипит, а как будто зашипит. Ведь малая совсем пташка... «Да уйду, уйду», — успокоил я ее и

отступил назад, глаза опустил и тихо ушел. И вот уж как неделю не хожу по той тропке. Обхожу. Слава богу, никто к нам не приходил. Ты в доме сидишь. Вот только сейчас за мной приехали. Никто не беспокоил эту птицу. Наверное, скоро ее детки вылупятся.

— Откуда уверен, что соловьяха?

— Ты сам сказывал, что лежишь и слушаешь.

— Да слушал и слушал бы! Как же они поют. То по одному, то вдвоем, то как коленца выдавать начнут! Раньше только от забоки, от берега такие трели шли. А тут — рядом... Поют! Да не один! Не иначе — соперник был! А может, две пары! А в прошлом году... я тебе не рассказывал... Видел я чудо! Да, чудо. Так и не определил — кто это ко мне прилетал. Сажу на крыльце я в прошлом году, в эту же пору, и смотрю на больших стрекоз синих; садятся они на провод электрический, который к бане тянется, и тихо так раскачиваются. Опустил я взгляд, а почти у ног моих на стебле одуванчика раскачивается птица необычного оперения. В тот год дождя было много, и одуванчики длинные стебли выпустили, шары огромные белые на концах. Я, помню, подумал — сколько же весит эта пичуга, если ее тонкий стебель выдерживает? Не прогнулся даже. Гляжу, а рядом точно на таком же стебле другая пичуга — и тоже нарядная. Голова красная, на макушке черная, вокруг глаза белым обведено, а потом снова черным обведено, животик ярко-желтый. Сейчас думаю — малиновка?

В окне дедовой комнаты появилась голова лесника, который подошел с улицы:

— Нет, это не малиновка, желтое тут не могло быть.

— Не мог я определить, что это за птица.

— На щегла не подумал? Он ведь поменьше воробья. Весу в нем совсем мало. А уж расцветкой фронт фронтом... и веселый, и раскачиваться любит. Может, щегол?

— Да, наверное, щегол это был...

— Со щеглихой? — спросил Ярик. — Разве самки имеют яркую окраску? Нет, это были два брата. Вылупились недавно и давай баловать, на стеблях раскачиваться.

— Точно, — засмеялся дед. — Но как же я был счастлив, что они мне доверились... Ярослав, давай договоримся, за соловьев ты не волнуйся. Езжай к матери. Она ведь ждет тебя. Конец года. Тебе в пятый класс переходить.

— А не в четвертый? — спросил лесник. — Он с моим вроде одногодок.

— Его мать в шесть лет в школу отдала. За мной лесник присмотрит, да и соседка забежит, пока еще пару внуков ей не подкинули. Я леснику про соловьиное гнездо расскажу. Он сороке этой покажет!

— Вот этого я и боялся. Шуму нам не хватало! Так я и знал. Вот об этом и беспокоился! — засуетился Ярик. — Устройте тут зоопарк! Птицы почему к нам прилетели? Потому что у нас тихо, как в лесу, и трав полезных много, еловых и хвойных — много, и яблоньки цвели, а по ветвям березы мураши бегают — главная еда соловьев! Травы много... и



не шумит никто. Не бродит по саду никто. Им, соловьям, воля. Грубости нету. Только сорока на заборе сидит, их стережет. Не говори никому про соловья. Прошу тебя.

— Только леснику. Он уже узнал.

— Только мне, — сказал лесник.

— Ему — можно, — согласился Ярик и пошел со двора на улицу, где мужчина уже заводил мотор своей вымытой машины.

— Поехали, что ли? — сказал Ярик.

— Поехали, — сказал мужчина и прикрыл дверь дедовых ворот.

* * *

Наконец они родились!

Наконец они родились! Я недаром остался, я чувствовал.

Сначала я испугался. Тихо подхожу к гнезду, а там матери нет, а только что-то оранжевое, волнистое. Какой-то почти круг из оранжевых полосок. А это их открытые рты! Большие рты... Их четверо! И мама и папа целый день их кормят. А они не пищат. Только рты не закрывают. Наши соловьи — прожоры!

— Мы тут с лесником поговорили, есть вариант. Петь соловьи прилетали к нам, а деток выводить улетали — к реке. У нас во дворе деток решили вывести крапивники и славка, — сказал дед.

— Дед, я сам видел, как папаша отработает, потом залетит на дуб — и поет.

— Отработает, говоришь?

— Да. Он кормил сначала жену, которая сидела на яйцах, а вечером — пел. Когда появились дети, он кормил их. А к вечеру все равно пел. Я его разглядел даже. Похудее воробья. Серый. Шейка длинная. Худой. Сядет на дубок — и сам как веточка, параллельно дубку. Прямо так сидит и наяривает. Я уверенно тебе клянусь — это соловей!

* * *

Разговор Ярика с бабушкой по телефону.

— Мама сказала, что тебе лучше. Вот звоню. Но ты не беспокойся. Книгу, что ты мне обещала, мы с тобой потом купим. Мы с учительницей вечерами в Интернете много нашли сведений о птицах. Разобрался я, кто крапивник, кто славка и кто такая малиновка — тебе она знакома, я знаю. Много разного. Очень и очень интересного про наших сибирских соловьев. Приедешь, я все тебе расскажу, а как появится Интернет, так и покажу. Вот тебя шмель заждался... Шучу. Я его сначала в бане за перегородкой увидел. Ну, думаю, сиди до бабушкиного приезда. А он теперь и веранду твою с кухней облюбовал. Шуршит, вылетает и пугает. Дюже сердитый. Я бы сказал, что он меня из веранды выживает. Сначала баню отобрал, теперь веранду. Так что приезжай. Пора тебе домой. Вот, пожалуйста, и все рассказал.

— Отвратительные, жирные, с пивными животами! И это называется соловьи... А говорят, они красавцы! — орала жена лесника. — И ты из-за них каждые три дня сюда ходишь! От сороки их сторожишь!

— Это не родители-соловьи, а их детки, — сказал лесник.

— Какая у них неопрятная шерстка!

— Какая шерстка?.. Это оперение. Они ведь из яйца вылупились мокрые.

— Давно, наверное, вылупились, вон какие дяденьки сидят.

— Я их, как увидел, тоже за родителей принял. Так вымахали, за три дня такими жирными стали! Ты потише, — попросил лесник, — не кричи.

— Ой, а родители-то совсем худенькие да маленькие! Гляди-ка, гляди, все таскают и таскают им пищу, деткам своим ненасытным, прямо как мы! Какие же они, эти дети, ненасытные и некрасивые! Вот этого я не ожидала. У бедных худеньких родителей такие жирные обалдуи с пивными животами!

— Вымахали за несколько дней. Шкурка их еще не отмылась. Они ж недавно из яйца.

— У стройных родителей дети с пивными животами! Ну, конечно, родители пашут целый день, им еду подают. — Жена лесника рассказывала это уже соседке, голова которой торчала из-за забора.

Дед слушал всю эту беседу, сидя у своего окна. Лесник подошел к нему:

— Жена говорит, что, может, и не соловьи это в гнезде, а вообще кукушата. Может, кукушка успела подбросить. Видел я в своем огороде кукушонка. Лежал прямо на дороге. Вышел он сам или выбросили из гнезда...

— Да, говорят, кукушонок сам всех детишек из гнезда выбрасывает. Самого нахально туда кукушка подложила, а он тех, для кого это дом родной, он их из гнезда выбрасывает.

— Всем в этой жизни достается, — сказал лесник, — и кукушонку тоже. Пока я от забора дальнего к березе вернулся, а его уж и нету на земле. Канул куда-то.

— Взлетел, наверное.

— Взлетел! Куда ему... Взлетел! Помогли. Нашелся тот, кто помог!

— А жалко его! Его тоже жалко.

— Я и говорю... Ты уж не обижайся на жену мою. Я ее не звал. Она сама пришла. Шумная она у меня.

— Ярик очень просил, чтоб поменьше народу здесь было. Птицы могут улететь или бросить своих деток. Чего она к ним пристала?

— Возмущается, что родители много работают, а детки только жрут, — сказал лесник и увел жену.

* * *

Ярик опять убежал в деревню, и опять за ним приехал мужчина.

— Я не просил вас меня в город переводить. Учебный год почти закончился. Отметки у меня хорошие. Я хочу здесь жить, — сказал Ярик.

— Чего еще тебе? В город — переехали. В музыкальную школу — устроили. Чего еще? Как же мне надоело мотаться...

— Вы бы могли в траву сейчас не плевать?

— А что ей, траве, больно?

— Там кузнечики.

— Их я ранить могу?

— Нет, вымажешь, им же это неприятно.

— Ну вот и поговорили. Значит... остаешься? Я матери звоню.

— Звоните, — сказал Ярик.

— Ярик, — сказала мама, — когда захочешь приехать в город, пойдешь к шоферу автобуса, я ему деньги здесь отдам.

— Я ему деньги оставлю, — сказал мужчина маме.

— Хорошо, — сказала мама.

— Я в последний раз спрашиваю — едем? Какие у тебя причины не ехать в город?

— Есть у меня причина... да не одна, — сказал Ярик. — Моя причина на заборе сидит.

— Да знаю я твои причины. Тоже мне... исследователь! Через неделю экзамен в музшколе, чтобы был там как штык, понял? Мы что, зря деньги платили? Смотри ты у меня! — сказал мужчина и уехал.

* * *

Лесник кричал в трубку:

— Один с крыши скатился, подлец! Рассупонился весь. Балует! А вообще, в траве вижу — двое кувыркаются. Как раз у кирпичка, под которым муравьи гнезда себе строили.

— Так они в своем гнезде живут? — радовался Ярик на другом конце провода.

— Да нет! Они уже в березу улетают, а в траве еду рыщут, резвятся. Там много у них работы, солдатиков — уйма. Крапивники это. У них пение вроде бы соловьиное, но другое. Да и росточком они поменьше. Пузатее.

— Но в энциклопедии написано, мне соседка читала, крапивник — он с рыжинкой должен быть. А наши мама с папой — серые. Что ты мне хочешь внушить? Родители — соловьи, а ребенок — крапивник? Да нет, это только кукушка деток своих подбрасывает. Может, кукушата?.. Кукушка подбросила?

— Так я побегу. Посмотрю, — встрепенулся лесник.

Он закрыл телефон и начал подкрадываться к гнездовью.

— Нет... это, однако, крапивник. Дед в прошлом году всю крапиву срубил и в позапрошлом рубил ее. Негде им было прятаться. А в этом году — ослеп. Они и обрадовались, враз прилетели... И гнездиться стали...

Он опять набрал Ярика.

— Действительно, сколько крапивы на вашем участке в этом году! Вот они и облюбовали эти места! Сказано же — крапивники любят такие места!

— У них есть привычка селиться в таких местах, — отозвался Ярик. — Но обрати внимание, где они построили гнездо: среди еловых ветвей, на расстоянии полутора метров от земли, над розами! Там вокруг никакой крапивы, потому что мама за розами ухаживает. Везде в поэзии соловей и роза — рядом. А вовсе не в крапиве! В книге написано: «Соловей селится по берегам рек и речушек, живет в парковых зонах и садах». Вот это — про нашего соловья.

— Да я разве против?! Я рад, что они живы! Что сорока не успела унести их... Ведь у нее самой — детки, а они тоже кушать любят, им букашек мало, они мышку ждут или что-то серьезное.

— погоди, не спеши, может, это вправду — соловьи. И пели как соловьи, и поселились среди роз... — Дед взял трубку у лесника.

— Я слышу, слышу, как дед говорит, — обрадованный Ярик снова закричал в трубку.

Но лесник не сдавал своих позиций:

— Нет, это крапивник... или славка... Потому что соловей деток у реки выводит.

— До реки от нас им тридцать секунд лету, — вновь вступился за Ярика дед.

Потом Ярик набрал номер бабушки и кричал ей в трубку:

— Когда ты дедушку ругаешь, он всегда выздоравливает быстро. Не могла бы ты поторопиться и вернуться из больницы поскорее? Получишь пенсию за себя и за деда, сходишь на почту, закажешь книгу мне про соловьев. Я уж заждался. А то лесник утверждает, что это не соловей, а крапивник. Но нет, это самый настоящий соловей. Мы с дежурным преподавателем смотрели ночью в Интернете. Соловьев здесь раньше богачи держали даже в клетках. И они им пели!

* * *

В доме соседки сдох соловей.

— Ты чего плачешь? — спросил лесник соседку. — Чего плакать? Деньги теперь уж не вернешь. Знаю я о твоем горе. Обворовали тебя. Знают, где воровать. Дочка тебе вон и евроокна поставила. Ищи вора поблизости. Поблизости ищи.

— Да не потому я плачу. Не потому. Соловей у меня в доме сдох.

— Не понял. При чем ты? При чем соловей? Не твоя это забота, Ярослава и дедова это забота.



— А сдох-то соловьиный папаша — и у меня в доме. И как он влетел?.. Не пойму. На окнах у меня решетки. Через подпол? Но как?!

— Соловей? Что ему делать у тебя? Именно к тебе!

— Вот этот, что пел, худенький такой папаша... Я все видела из-за забора. Все ваши разговоры слушала. Все про них знаю. Как детишки быстро вес набирали, как папаша с мамашей кормили их целыми днями!

— У нас муравьев и комаров много...

— А у меня он помер! В моем доме!

— Как он мог к тебе попасть? Где ты его нашла?

— На кухне вчера делала генеральную уборку и веником из-под стола его вытащила... Худенький, высохший!

— Это воробей. Он нагло прошел в твою дверь!

— Нет, говорю, это ваш соловей. Папаша.

— Как это ты себе представляешь? Летит умная птица — и влетает в твой дом? Зачем? За пауком? Или у тебя двуххвостки есть?.. Что ты там бормочешь?.. Отвлекал?.. От кого отвлекал? От гнезда отвлекал коршуна? Ну и фантазия! А потом как он сдох?

— Думаю, влетел он, когда отвлекал коршуна от гнезда. Да, влетел в открытую дверь. А я ведь ту неделю всю по больницам. Дня четыре меня не было, если не больше. Ну... поголодал он, а потом нашел снадобье от крыс и мышей, склюнул — и конец. Я виновата! Как же несправедливо все! Как же я виновата! Ярику не скажу... Он очень расстроится! И ты не говори!

А Ярик и дед все слышали. Они сидели на улице у окна.

Соседка подошла и села рядом с Яриком. Ярик плакал:

— Но почему он погиб? Именно он погиб! Такой хороший отец! Он целыми днями кормил своих детей! Целыми днями летал туда-сюда без отдыха, без усталости! А они все ели и ели... Сорока охотилась за его детьми, а погиб он!

— За ним коршун охотился, — сказала соседка, — я сама видела, как он от гнезда коршуна отвлекал!

— Так делают птицы, когда хотят сохранить свое потомство, — сказал дед.

— Сколько их, коршунов, вверху! Все летают и летают!

— Да, раньше коршунов было меньше, — сказал лесник. — Сейчас перестали тайгу дустом травить. Живности и в селах, и в лесах поболее стало, и коршун развелся.

— Эти коршуны много цыпущек у соседки перетаскали, — сказал дед, — пока решетки железные не сделали в курятнике. А ты не плачь, мой дорогой. Не плачь. Это жизнь. Соловей не может жить более двух лет. Это его срок. Пришел срок, он ради детей и погиб. Летел, отвлекал от гнезда врага своего. Отвлекал. И погиб, считай, случайно.

— Это я виноват, — сказал Ярик. — Зачем я в город поехал? Ну, сдал экзамен. Ну, еще одну пятерку получил. Все. Не хочу я больше в город. У меня здесь дел много. Деда, прошу тебя, да пожалей ты меня,

не отдавай в город! А то вот один уже погиб без меня тут! Как же это устроено в природе...

— А ты не горюй! Переживем! — сказал дед. — Вот учительница без тебя приходила. Нашла книгу 1824 года. Автор Черкасов. «Записки сузунского охотника». Толстый том. Там про горихвостку написано. Горит она крылом. Жаркая птица. Здесь ранее она часто летала. Вот третье гнездо, что на земле лесник нашел, это, наверное, ее гнездо.

— Да вон она сама и летает, — сказал лесник. — Вон... у забора. Во как разлеталась! Как взлетит, так жаром и обдаст, такая яркая.

— Но мы же про соловьев говорим, — сказал Ярик. — Они не такие пузатые, как горихвостка. Скромные они, незаметные. Не балуют, как эта горихвостка.

— Вот заболел я, и птицы заселили огород, — сказал дед. — Крапива выросла, прилетел крапивник, прилетела славка, стала под соловья придельваться.

— Нет, дед, ты это брось. Пели у нас соловьи. Даже дальние соседи приходили слушать. А сам ты разве не слушал их?

— Не буду врать. Слушал и заслушивался.

— Я и говорю — живем в раю, слушаем соловьев, — сказала соседка. — Ты Фома неверующий, — она повернулась к леснику.

— В раю кошки и сороки не стерегут маленьких птичек. Я что, я тоже слушал здесь соловьев... но привык считать, что соловей повыше уровнем живет, пониже славка, а крапивники — те почти на земле.

— И ведь сколько пользы от них, от птиц этих, — сказала соседка, — муравьев меньше стало. А то ведь не знала, как и спастись от них.

— Эти птицы и комарами не брезгают. И комара меньше ныне. Вот сороке или вороне мясо подавай, вот она ничем не брезгает, — сказал лесник.

* * *

— Дедушка, соседка распустила старый свитер, мы сплели нити, получились веревки! Прямо как морские канаты! Я протянул эти веревки до твоего чеснока! Ты можешь смело двигаться туда сам!

— Погоди, я, кажется, начал что-то видеть. Вот твое лицо, окно, дверь и тропинка с твоими веревками.

Они вышли на крыльцо.

— И мы заживем, — сказал Ярик. — Вернется бабушка из больницы, отдадим долги, снова возьмем кредит и оплатим «Книгу — почтой». Бабушка купит мне книгу, большую книгу о соловьях и крапивниках. Ура!

Они тихо шли по просторному огороду.

— Ты и вправду начал видеть, деда? — спросил Ярик. — Тогда ты не огорчайся, но кто-то собрал все наши ягоды. Всю клубнику.

— Помогли, значит?

— Оставили только тапки на меже.

— Тапки? Чьи тапки?

— Чьи? Того, кто ягоды наши собрал. Видимо, я напугал кого-то своим приходом. Пришлось им бежать и прыгать через забор. Думали, что я уехал навсегда, а ты лежишь и в огород не выходишь. Кто это мог быть? Такие тапки носят и девочки, и пацаны, и женщины. Резиновые тапки.

— Оставь, — сказал дед. — Забудь это все. Тапки отнеси на дорогу, положи их возле колонки — и все. Ты ведь соловьев сторожишь. Вот про них мне и рассказывай.

Из-за забора показалась макушка головы соседки, по голосу которой можно было определить, что она рада тому, что дед ходит по огороду.

— Какие соловьи могут быть в Сибири?! Иль взаправду это соловьи? А мы что, в раю? Слушаем соловьев и не знаем, что живем в раю?

* * *

Мама Ярика вернулась как ни в чем не бывало, вернулась, когда ее не ждали.

— Не успела я отлучиться всего на два месяца, как произошла уже вторая кладка яиц? Эй, селяне! Не хотите познакомиться с новым директором совхоза? Где твои соловьи, сын? А где сорока?

— Это оказалась славка, — сказал Ярик, — не соловей. Улетели соловьи, улетело семейство славок, улетела и сорока.

— Я решила вернуться. Вы что? Не верите, что разговариваете с новым директором? Я здесь остаюсь! Дала согласие вернуться на родную землю. Ведь я ее знаю! А она знает меня!

— Я счастлив! Я буду учиться здесь, в родной школе! А ты будешь здесь работать! Я счастлив!..

— Соловей устал ждать окончания дождя и запел, — сказала мама.

— Какой соловей? — встрепенулся Ярик.

— А ты не слышишь? Хоть дождь и накрапывает, а он поет!

— Да, да, да, слышу теперь... — прошептал Ярик.

— Я же говорю — пойдет вторая кладка яиц, — сказала мама, — вон лето какое щедрое: дожди, тепло. И ты много интересного мне будешь рассказывать про свои наблюдения за природой.

— Ты вот не знала, что было у нас целых три гнезда. Лесник их обнаружил, когда решил наш двор прибрать. Деду сюрприз готовил. Одно гнездо было над твоей розой, в густоте ветвей. Второе гнездо было в черной смородине. Оно висело, как у принцессы трон, на длинных ветвях. Третье было почти на земле. Там, где в крапиве все цвела и цвела куриная слепота. Или как ее правильно называют, забыл...

— А как я счастлива! — сказала мама. — Как я счастлива!.. Так зачем ты поешь, соловей?.. — запела мама. — Улетела твоя любимая на забoku и с другим... Улетела к реке с другим...

Дед молчал и только улыбался, опираясь на свою тяжеленную палку. Они обошли стога сена, отсюда их просторное поле скатывалось к реке.

Ярик обомлел. Поле, еще вчера бывшее золотистым от множества одуванчиков, сейчас было голым. Вдали орудовал граблями лесник, который подошел к ним, поздоровался с мамой и похвастал:

— Здорово? Вот решил помочь. А то дед заболел, и поле, которое под парами, освоили одуванчики. Но я начеку. Теперь чисто. А то как? Как не помочь соседу, тем более — семье твоего будущего директора. Знаю, я уже все знаю. Ты будешь нашим директором. Все село радо, что ты вернулась домой. А дед выздоровеет. Пройдет его слепота. Поверьте мне.

— Ты что, онемел? — теребила Ярика мама. — Я тебя спрашиваю, в лес поедешь? Я машину в гараж не заводила. Такая погодка! Грибков пошукаем. Если едешь, догоняй!

Ярик устало опустилсЯ и присел на старое крыльцо, которое дед притащил когда-то и оставил на поле, для того чтобы ему было удобно сидеть и глядеть на реку.

Мать, лесник и дед вернулись в дедову столярку, а Ярик продолжал сидеть в поле, на старых досках от крыльца. Вместо золотого поля перед ним лежала серая аккуратная земля. Золотое поле было еще одной его тайной. В городе он часто думал о том, что соловьиные детки, которые вывелись там, у реки, могут смело бегать здесь, по полю, баловать и радоваться обилию мурашей. Ведь вон какая огромная муравьиная куча мощно разлеглась у края дедова участка...

Ярик сидел и не двигался. И вдруг увидел, что рядом с крыльцом золотится одуванчик, а на его длинном-длинном стебле сидит диковинная маленькая птица с ярко-красной головкой и желтым брюшком.

— Как же ты сидишь на таком тонком стебле, сколь же в тебе весу? — спросил Ярик, не задумываясь о том, что повторил слова деда, сказанные в прошлом году.





ИОСИФ ЛИВЕРТОВСКИЙ

(1918—1943)

«НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ...»*

Иосиф Моисеевич Ливертовский родился 20 мая 1918 года в Херсонской губернии. В 1921 году вместе с родителями переехал в Омск. В 1935-м И. Ливертовский поступил в Ленинградский институт водного транспорта, но через год перешел на факультет русского языка и литературы Омского педагогического института. Учебу И. Ливертовский совмещал с работой в редакции омской газеты «Ленинские внучата».

Стихи И. Ливертовский начал писать в 16 лет. В студенческие годы публиковал их в омской газете «Молодой Сибиряк», в «Омском альманахе». Занимался переводами. Обращался к творчеству Г. Гейне, Н. Ленау, И. Бехера, А. Мицкевича, П. Грабовского.

В 1940 году, сразу после завершения учебы, И. Ливертовского призывают в армию. Служит он в Новосибирске. Оканчивает полковую артиллерийскую школу. В мае 1943 года И. Ливертовского направляют на фронт. Он командует артиллерийским расчетом, потом стрелковым отделением. Не перестает писать стихи, которые печатает в дивизионной газете «Патриот Родины».

10 августа 1943 года младший сержант 137-го Гвардейского артиллерийского полка 70-й Гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта Иосиф Ливертовский погиб под Орлом.

АЛТАЙ

Горит боярка бурая у впадин,
Изломанную линию небес
Нарисовали горы. Ароматен
Сосновый поднимающийся лес,
И под ногой похрустывает гравий
И сыплется с огромной вышины
Туда, где речка горная играет
И перекачивает валуны.

* Материалы предоставлены Городским Центром истории Новосибирской книги. Публикацию подготовил Алексей Горшенин.



Она, горами стиснутая, злится,
Но все равно ее приятно нам,
Рискуя, перейти по валунам
И даже лечь на камни и напиться.
Вот лошади по горному хребту
Проходят друг за другом
цепью длинной,
Еще нигде, бродя тропой
долинной,
Такую я не видел красоту.
Какими удивленными глазами
Я наблюдаю вольный их размах.
Они копытом травы бьют, а сами
Рисуются на синих небесах.
И, кажется, глаза сощурить стоит,
Рукою обвести их силуэт,
И это очертание простое
На небесах оставит четкий след.
Проходят кони. Ветер неумный
Волнует гривы. Карий глаз косит.
Гора, как будто колокол огромный,
Под толстыми копытами гудит.
И высоко взбирается на камни
Тропа моя, змеиста, далека.
А впереди синеют великаны,
Похожие во всем на облака.

МОЛОКО

От меня уходит далеко
Вместе с детством и зарей багровой
Дымное парное молоко,
Пахнущее степью и коровой.

Подымалось солнце — знамя дня;
Шло к подушке, рдело надо мною,
Заставляя жмуриться меня,
Закрывать от него рукою.

А в сарае млела полутьма
Под простой соломенной кровлей —
Прелое дыхание назьма,
Слабое дыхание коровье.

На заре приятно и легко
(Сон еще плывет над головою)
Пить из белой кружки молоко,
Ароматное и молодое.

Выйти степью свежею дышать,
Чтобы сила жизни не ослабла,
На коне чубаром выезжать
В синеву полей на конных граблях.

Много было нас, и часто зной
Заставлял бродить тропой лесною.
Этот лес казался мне сплошной
Блещущей горячею листвою.

В нем была рябая полумгла
От просветов солнечных и пятен,
Там костянка крупная могла
Прятаться за каждым стеблем смятым.

Там она цвела и, может быть,
Зреет под далеким небосклоном...
Снова бы с мальчишками бродил
По лесам и зарослям зеленым.

От меня уходит далеко
Вместе с детством и зарей багровой
Дымное парное молоко,
Пахнущее степью и коровой.

* * *

Я люблю, сменив костюм рабочий,
Одеваться чисто и легко.
Золотой закат июльской ночи
От меня совсем недалеко.
Широко распахивая ворот,
Я смотрю, как тихо над водой,
Камышами длинными распорот,
Выплывает месяц огневой.
Я смотрю, как розовой стрелою
Упадают звезды иногда.
Папироса, брошенная мною,
Тоже — как падучая звезда.
И пока садится месяц в рощу,
Расправляя листовенниц верхи,
Темно-синей бархатною ночью
Я пою друзьям свои стихи.

* * *

Почему мне сегодня не спится
У раздутого ветром костра?
Я увидел проклятую птицу
На высокой сосне вчера.

Круглоглазая странница эта
Куковала в сосновом бору.
Есть в народе такая примета,
Что увидеть ее — не к добру.

Только можно ль во мгле затеряться,
Если берег встает крутизной,
Если сосны на нем толются
И шумят за моею спиной?

Я лежу на песке хрустящем,
Чуть кольшется бархат реки.
Там, за островом, темною чашей,
Прорезаются чаще и чаще
Пароходов ночные свистки.

...Я теперь не закрою ресницы,
Пролежу на песке до утра.
Пусть сегодня мне ночью не спится
У раздутого ветром костра.

ПАПИРОСЫ

Я сижу с извечной папиросой,
Над бумагой голову склоня,
А отец вздохнет, посмотрит косо —
Мой отец боится за меня.

Седенький и невысокий ростом,
Он ко мне любовью был таков,
Что убрал бы, спрятал папиросы
Магазинов всех и всех ларьков.

Тут же, рядом, прямо во дворе,
Он бы сжег их на большом костре.
Но, меня обидеть не желая,
Он не прятал их, не убирал...



Ворвалась война, война большая.
Я на фронт, на запад уезжал.

Мне отец пожал впервые руку.
Он не плакал в длинный миг разлуки.
Может быть, отцовскую тревогу
Заглушил свистками паровоз.

Этого не знаю. Он в дорогу
Подарил мне пачку папирос.

В ПОЕЗДЕ

Окно и зелено и мутно.
В нем горизонта полоса;
Ее скрывают поминутно
Мимо летящие леса.

Стреляет темень фонарями,
А звезды с ними заодно
Стремятся низко над полями
И режут наискось окно.

И хочется бежать полями,
Бежать подобно беглецу,
За звездами и фонарями
Обратно к старому крыльцу.

Но знаю я, что по откосам
Другой состав стремится вдаль,
Что у тебя в глазах печаль,
А думы мчатся вслед колесам.

ПОЭЗИЯ

В шалаше из ветвистых, и кудрявых, и легких
Темно-синих осинок, завязавших верхи,
На траве растянувшись, опираясь на локти,
В желтой маленькой книжке я читаю стихи.
И за каждую строчкой пробегает мой палец,
И за каждой строчкой пробегают глаза —

Ядовитые шорохи горячо зашептали:
«Ты сегодня для жизни не вернешься назад».
Ах, я знаю, но все же я не буду печалиться,
Что стихи — мое сердце, что стихи — моя кровь.
Наплывают страницы на угластые пальцы,
Как на острые скалы пенных волн серебро.
И цветы голубые небо чашек раскрыли,
Терпкий запах в раздувшихся ноздрях дрожит.
У березы раскидистой словно выросли крылья,
И пчела золотистая надо мною кружит.
Что-то сладкое в мускулах и горячее что-то
Протекает по телу, наливает глаза.
И я слышу, я слышу трепещущий шепот:
«Ты сегодня для жизни не вернешься назад».

ГВАРДЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

Алый шелк широко развернули,
Стали строже удары сердец.
На почетном стоит карауле
У заветного стяга боец.
Боевое гвардейское знамя,
Я тобой, как победой, горжусь,
Я к тебе припадаю губами,
Я целую тебя и клянусь:
Если, споря с бедой грозивою,
Ты костром зашумишь надо мною,
Только в сердце раненье сквозное
Не позволит идти за тобою.
Лучше пусть упаду без сознания
По-гвардейски — лицом к врагу,
Только б реяло красное знамя
На удержанном берегу.
Знаю я — кто, сражаясь, умер —
Навсегда остался в живых
В этом сдержанном шелковом шуме,
В переливах твоих огневых.

«ЭТО ОЖИДАНИЕ СНЕГА, А ПОТОМ...»

*Письма В. Г. Распутина
в редакцию «Сибирских огней»**

Предлагаемые вниманию читателя несколько писем Валентина Григорьевича Распутина к редакторам журнала «Сибирские огни» связаны главным образом с предпечатной работой над повестью «Деньги для Марии» (она была опубликована в сентябрьской книжке журнала за 1967 год). Однако думается, что они представляют не только чисто литературоведческий интерес. Та вежливая настойчивость, с которой начинающий тогда еще автор защищает свою позицию, попутно раскрывая и свое отношение к некоторым вопросам уже общего, философского толка, обнаруживая мучащие его «болевы́е точки» («кто мы, хорошие люди?»), добавляет важные штрихи к портрету Распутина-писателя и Распутина-человека.

Письма публикуются в авторской редакции.

За помощь в подготовке материалов выражаем благодарность Городскому Центру истории Новосибирской книги и лично Левченко Наталье Ивановне.

Письмо В. Г. Распутина редактору журнала «Сибирские огни» Н. В. Соболевой о повести «Деньги для Марии»

25/V-67.

Добрый день, Нина Васильевна!

Простите меня за столь долгое молчание, но, честное слово, я в нем виноват мало: меня не было в Иркутске, и рукопись лежала нераспечатанной. А потом правка, перепечатка и т. д.

Прежде всего, спасибо за замечания по повести. Я начал печататься совсем недавно, и для меня это чуть ли не первый урок по-настоящему заинтересованного отношения редактора к рукописи. Не сочтите это за подхалимаж, но до сих пор меня, в основном, заставляли вычеркивать всякие сомнительные места — и только. Очень многое я по Вашим замечаниям исправил, но, видимо, много еще оставил своего.

Самое главное — я не согласен, что в повести есть какая-то роковая предопределенность, судьба, нависшая над героями, от которой не уйти.

* Материалы предоставлены Городским Центром истории Новосибирской книги.

Я не хотел этого делать и, по-моему, не делал. Ей-богу, не могу взять на душу такой грех (хотя и взываю опять к богу). Мне кажется, одну и ту же штуку мы называем разными словами: Вы — роком, я — тревогой, которая должна была пройти через весь текст, тем нервом, который должен был болеть до конца, а может быть, и после конца. Вот это я делал намеренно и без этого, как мне кажется, повесть будет просто пересказом случая, к тому же совсем не интересного. Ведь деньги Кузьма все-таки не собрал, и я сам не знаю, соберет ли, удастся ли ему взять их у брата, хотя он мог бы найти их в деревне и никуда не ездить, если бы вся деревня захотела ему помочь. Ведь дело в том, что и те, кто отдал ему последнее, и те, кто утаил большее, — все они считают себя хорошими людьми, и это уже разговор о том, кто мы, хорошие люди?

Возможно, тревогу, о которой я говорю, можно было выразить другими средствами — тогда я их не нашел. Но действительно ли эти — самые худшие? Ведь тут, по-моему, еще надо учитывать и то, как ее могут чувствовать сами герои, к какому кругу они принадлежат. И если Кузьма в конце повести, перед тем как ступить на порог к брату, мысленно восклицает «молись, Мария», то это не обращение к богу, не смирение перед судьбой, не заклинание, а вполне естественное, с несколько насмешливым даже отношением к первоначальной сути этих слов, подбадривание самого себя. Как-никак он боится делать этот последний шаг, потому что — если он окажется неудачным — тогда все потеряно. И эти слова, мне кажется, здесь на месте — они выражают и состояние Кузьмы, и они взяты из словаря деревенских людей, где, если говорить упрощенно, получили из-за частой повторяемости другой смысл, что-нибудь вроде «пожелай мне удачи». Ведь мужики, которые, по утрам опохмеляясь в городском саду, чокаясь пивными кружками, говорят «ну, с богом!» — меньше всего тоже думают о боге. Пример, может быть, и неудачный, но Вы, очевидно, понимаете, что я хочу сказать.

Вы правы: я перегрузил текст подобными выражениями — поэтому, видимо, и возник разговор о предопределенности. Будь их с самого начала столько, сколько сейчас, я думаю, Вы бы не обратили внимание на «молись, Мария» или «взял их, будто принял с того света» и т. д. Мне кажется, это не такая уж и надуманность, когда я говорю об ощущении, что «каждый день приходит для кого-то одного, кому он приносит удачу» и т. д. Оно очень субъективное, может быть, нелепое, но оно существует — например, у меня, хотя я человек сугубо не верующий. То же самое о снеге. Это ожидание снега, а потом радость по поводу того, что он наконец пошел — это, во-первых, хозяйское отношение мужика к промерзающей земле, а во-вторых, действительно необъяснимое опять, нутряное, что ли, ожидание перемен личного порядка, которое есть и в стихах — «завалит мои печали и тревоги...» И люди, когда идет первый, нужный снег, становятся спокойнее, добрее. Вы это, конечно, знаете лучше меня.

Теперь о сне Кузьмы. Да, сон логичен, с моралью, но все это было бы слишком явно и назойливо лишь в том случае, если бы я закончил его тем, что Кузьме вручают деньги и он, счастливый, под руку идет с Марией домой — тогда это можно было бы понимать как выход из положения, как некую инструкцию. Но ведь здесь одно перечеркивается другим, логика, с

точки зрения добропорядочности, становится злой, а от морали от такой на душе тоже спокойно не будет.

Вот такие у меня возражения.

С Вашими замечаниями по тексту я в большинстве случаев соглашался — спасибо за них. Но кое-где тоже хочется возразить. Например, в сцене с теткой Натальей есть слово «вредная» — она говорит: «Я не вредная была». Вам это слово, видимо, показалось неточным, не сюда. Но ведь деревенские вкладывают в него другой смысл, для них «не вредная» синонимично «доброй», «спокойной», особенно у стариков. Поэтому я решил его оставить. В нескольких других случаях — тоже.

Я вставил в повесть две новые главки. Не знаю, как Вы к ним отнесетесь, но, по-моему, с ними лучше. Зато несколько необязательных и рассудочных мест — убрал. Так что по размеру рукопись стала не намного больше.

Конечно, лучше всего мне было бы приехать в Новосибирск, и тогда все эти спорные места можно было бы утрясти сразу, без излишней переписки и траты времени. Журнал, видимо, не может вызвать автора, но я согласился бы приехать сам, если бы был уверен, что смогу получить аванс и уехать обратно. Я не знаю, есть ли такая необходимость, если нет — тем лучше — я говорю о поездке. Если есть — дайте, пожалуйста, знать.

Желаю Вам, Нина Васильевна, всего доброго. Я понимаю: трудно, конечно, с такими вредными (уже в нынешнем смысле слова) авторами, как я, но в конце концов, видимо, все бывает хорошо.

Передавайте привет Николаю Николаевичу*.

С уважением
В. Распутин

**Письмо В. Г. Распутина писателю и редактору журнала
«Сибирские огни» Б. К. Рясенцеву о правках в повести
«Деньги для Марии»**

27/VI-67.

Добрый день, Борис Константинович!

На следующий день после разговора с Вами я передал свои исправления по телефону, но на всякий случай решил их еще прислать почтой. Они в общем-то мелкие, но Нина Васильевна мне их подчеркнула, и она, конечно, права. Вот они:

стр. 15. Вместо «Что там — корову, что ли, продают?» теперь идет «Что там — торгуются, что ли?» — кричит кто-то сзади».

стр. 22. — Сейчас она тебе наворотит! — усмехнулся Кузьма (было — «со злости Кузьма плюнул»)

здесь же. «Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала...» (было — «сморщившись, как от боли, сказала...»)

стр. 27. 3-ий абзац начинается так: «Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом...» и т. д. по тексту.

* Яновский Николай Николаевич (1914—1990) — литературовед, критик, историк литературы. С 1964 по 1972 год занимал пост заместителя главного редактора «Сибирских огней».

стр. 29. предпоследний абзац заканчивается словами «... вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись». («а кровь от этого от глаз отлила» и т. д. выбрасывается)

стр. 30. «— А она всегда живет, — с нажимом, как бы вдалбливая слова, вдруг говорит Г. И.» (было «замечает Г. И., делая ударение на первой фразе»)

стр. 31. (— Что ж он — сам себе враг, что ли? — угрюмо говорит человек в белой майке.

— Ещё и не такие дурики есть, — откликается полковник) — это выбрасывается и второй абзац теперь начинается след <ующей> фразой:

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

здесь же. «— Хлеб мы все едим, — раздражённо (было — «вяло») говорит человек в белой майке», а окончание фразы — «видно, что ему этот разговор совсем не интересен» — выбросить.

стр. 32. первый абзац:

«— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, — отвечает (слово «удивленно» выбрасывается) ему Г. И., и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно (этого слова не было) кивает» и т. д.

стр. 32. — Что это вы сегодня на нее ополчились? — спокойно спрашивает полковник (было — «с веселым недоум <ением> спрашивает полковник»), но в его спокойном голосе слышно, нет, не приказание, а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? — не сразу сдается Г. И. — Нисколько» и т. д.

стр. 36. Третий абзац заканчивается так: «Сейчас уже никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними случилось, больше в деревне не слыхали».

стр. 38. нач <инает>ся словами:

«последний парнишка рос слабым, болезненным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбебды, но Марии и самой по-доброму надо бы оберегаться, потому что она лечилась и врачи наказали ей тяжелую работу не делать, да ведь это только сказать легко» и т. д. по тексту.

там же. — Тут и не такие головы полетели, — отговорила она и ушла. (было — «а моя и без того кое-как сидит, — сказала она и ушла»)

стр. 39. второй абзац сверху теперь заканчивается так: «Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей. Мария после ревизии успокоилась и стала работать».

стр. 40. первый абзац начинается: «Но в долг водку («жалючи баб» выбросить) Мария не отпускала» и т. д.

стр. 42. в последнем абзаце после слов: «Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало страшно» — поставить точку и далее: «Когда ревизор наконец приехал»... и т. д.

стр. 46. третий абзац теперь звучит так:

— Дед, а ты, когда был помоложе, любил свою старуху или нет?

стр. 54. — Давай, дед, кончай (было — «остывай»), а то это разговор надолго.

стр. 73. «Галька взглянула на него, не пряча лица, заплакала» (было — «не убирая лица и не закрывая его, заплакала»).

стр. 100. третий абзац начинается со слов:

— Правда, правда. (Все остальное в этом абзаце выбросить)

стр. 104. первый абзац теперь звучит так:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

здесь же. 11 строка в большом абзаце теперь такова:

«все эти горести (вместо «они») могли выбрать ее, деревенскую, незаметную...» и т. д.

стр. 107. в предпоследнем абзаце убрать слово «скорбной» в «скорбной задумчивости».

стр. 110. первый абзац:

«Опять тихо, спокойно. И не видать, не слышать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд»... и т. д.

стр. 119. в последнем абзаце после слов: «Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше» — идут слова: «Надо все же намекнуть Марии, нет, лучше не надо»... и т. д.

стр. 121. четвертая строка сверху:

«Откуда-то сзади с ноющей болью (было «ноя и болея») выдвинулись мысли о Марии» и т. д.

Вот такие поправки, Борис Константинович. Повторяю, они не суть важные, но все-таки, наверное, с ними лучше.

Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам спасибо, Борис Константинович, за повесть. Конечно, я рад, что попадаю в «Сиб. огни».

Всего Вам доброго!

С уважением
В. Распутин

Письмо В. Г. Распутина редактору журнала «Сибирские огни» Н. В. Соболевой

9/II-68.

Добрый день, Нина Васильевна!

Спасибо за письмо и добрые слова.

К сожалению, ничего прислать я пока Вам не могу. Писал повесть, собирался, прежде всего, показать Вам, но она, проклятая, никак не выходит, и я решил пока оставить ее в покое. Если что-то будет, конечно, я в первую очередь покажу «Сиб. огням». Я считаю себя вашим автором.

Адрес мой остался прежний: Иркутск-11, ул. Халтурина, 5, кв. 3.

С искренним уважением
В. Распутин

Пётр ДЕДОВ

СПОЛОХИ*

Из записных книжек и дневников

* * *

Стерев грани между городом и деревней, стерли и деревни с лица земли... Строили коммунизм, но не поднялись в этом деле выше коммунальных квартир... Брали от каждого по способности, — а распределяли между собой — каждому по потребности...

* * *

Приезд к нам эвакуированных ленинградцев, которые, в отличие от немцев, ничего не умели делать, чтобы выжить. Однако устроились лучше немцев, благодаря приспособленности, уму, знанию психологии деревенских жителей... Рассуждения баб:

— Да как же вы жить-то будете?

Здесь столкнулась первобытная основа с наслоением, надстройкой, появившейся в результате веков городской жизни, и оказалось — одни рождены для жизни и могут прожить без других, а другие без крестьян прожить не могут...

— Вот теперя-ка видно, что вы без нас — нуль без палочки, а хватаете своей ученостью...

Сейчас одному какому-нибудь крестьянскому ремеслу надо учиться годы, да и то разве обретишь такую естественность? А раньше это было постепенно и как бы передавалось по наследству (как инстинкт пчелы)...

Постепенно люди разделились на производящих и мыслящих (искусство — сюда же) и стали уходить друг от друга все дальше (искусство для искусства). И поскольку те были умнее, а главное — свободнее, то они взяли верх над физически работающими...

Май 1989 г., Ерестная

* * *

Я ни к чему не призываю, только констатирую: погибнет русская деревня и русский язык — погибнет и нация...

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 3.



* * *

Сейчас идет утрата завоеванных человеком вершин в нравственности, поэзии, искусстве. Вспомним древних. Или ближе — «Война и мир». Что, современная Наташа Ростова так бы мучилась нравственно от любви к Курагину? Вряд ли...

* * *

Какое это великое счастье, что Бог наградил меня именно русским языком! Всю жизнь я не переставал радоваться чудесным свойствам моего языка, его яркой образности, глубине, неповторимой звучности, перво-зданной гармоничности, красоте. Тут уж если название птицы, например «во-ро-на» — и представляется что-то картаво кричащее, тряпично махающее крыльями, словно пустыми рукавами, — то ты ее видишь и слышишь в этом названии. Или «те-те-рев». И слышишь весеннее бормотание, это его «тетекание» и это «чуфыкание», а «сви-ри-стель» — птица как бы сама свое имя свиритит-выговаривает...

Да что там! Много чудного и прекрасного в нашем языке! И как жалко, что многие слова умирают. Я всю жизнь влюбленно собираю по словечку. Моя бабушка Федора висок называла «косицей» — куда точнее. Или говорила: «Что-то под крыльцами стреляет». Это значит — «покальывает спину под лопатками». Но «крыльца» — от слова «крылья», куда точнее и даже поэтичнее! Или: «Принесли на Рождество гостинцы, ребятишки меня с порога ограчили». Можно сказать — окружили, даже облепили, но — «ограчили»! В этом слове ребятишки не только налетели на бабушку с гостинцами, как грачи на пашню, но и слышится громкий грачиный грай.

* * *

Как точен и тонок народный язык! Спросили у старухи, проезжая деревню, дорогу на Колотовку.

— До того вон леска доедете, а там дорога по-за лесом пойдет, — сказала она.

По-за лесом! Одно слово, а сказано все: дорога, значит, и ни влево, ни вправо не свернет, а пойдет только вдоль леса.

* * *

Многие слова, сочетания, интонации доступны лишь тем, кто русский язык всосал с молоком матери...

* * *

Творцом языка, словотворцем может быть только народ, связанный с разными ремеслами, в которых словотворение естественно необходимо. Искусственное словотворчество, которым занимались и занимаются некоторые, — это онанизм.



Чаще что: народ в нашей литературе показан глазами интеллигента. А если — наоборот? Интеллигента показать глазами народа, да и сам народ показать изнутри, интуитивно. Ну какой я интеллигент, если всю жизнь — в нужде, в очередях, на трамваях, на самой грани, на черте бедности...

* * *

Я плохо разбираюсь в музыке. Мне кажется, и в ней есть какой-то «национальный звук». В литературе он тоже присутствует, глубокими корнями уходит в русский, к примеру, фольклор, в русский уклад, в русскую природу, в русский характер. Что в простых словах и в музыке — «Во поле березонька стояла»? А на глазах — слезы.

* * *

Сейчас все больше голосов о темноте и рабстве русской нации. Это — подлая ложь. Того, что выдержал русский народ, мне кажется, никакой другой народ бы не выдержал, и не из-за первобытного многотерпения, а — огромного душевного потенциала, сердечности, доброты... Всему этому я был свидетель.

* * *

За три года ельцинского правления — как изменился даже внешне городской люд! Большинство сухопарые, бледные, слабые от недоедания и забот люди.

Зато в толпе среди них, как дредноуты, ходят с гигантскими животами люди-окорока, гордо неся голову. Научно это объяснимо: в полуголодное советское время питались все почти одинаково, а сейчас малая часть «новых русских» дорвалась до сытого корыта и теперь, захлебываясь, с чавканьем насыщается, позабыв все нормы и приличия. Вот плывут в толпе дредноуты, расплывчатые, как амёбы, вместившие в себя всю лучшую жратву России, высосавшие соки и обглодавшие простой народ.

* * *

Он любил охотиться в тайге (хотя скучал по Кулунде), любил и различал по голосу деревья, и все другое — оттуда... Ведь те, кто считал себя истинными знатоками природы, не знали ее и удивлялись, когда в рассказе его появлялся штрих, от которого становилось не по себе: «Ведь видели мы вроде все это, а почему не мы так сказали, а он?» Друзья считали, что ему везло, он был удачливым журналистом (какой журналист не мечтает стать писателем?).

А он был рожден писателем, писал о природе. Он не был охотником, который весь день видит мушку; не был рыбаком (когда закроешь глаза ночью — дрожит поплавок); не был грибником (когда, закрыв глаза, видишь заляпанные грибами поляны). Эти все ничего не видят, пробегая

мимо интересных мест, они гонимы одной целью. А он был и охотник, и рыбак не менее их, но из-за чудесного листа клена или паутиной сетки в росе на заре мог проворонить косача.

Стыдно

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

Так сказал Пушкин. А что сейчас?

Деревенское кладбище. Мы, русские, даже близкую память не бережем (об отцах и дедах, самых дорогих нам людях). А где же нам далекое — храмы и прочее — ценить? У нас с малолетства отбивали историческую память, противились тому, чтобы мы обрели свое самосознание... А ведь память — совесть наша и наша сила... Болтаем о священной памяти предков, а рядом на самых дорогих могилах пасется скот... Вот вам и «вечный покой». Да и люди-то здесь схоронены какие, — отстоявшие Отечество на фронте и в тылу — соль земли, ее защитники, главная опора и мощь.

Да это же наш всеобщий стыд! Просто не доходит до нас: а сами-то где будем лежать?! Стыдно! Если самое родное и святое не в почете.

Человек стал человеком, когда стал хоронить своих предков и чтить их память... «И если есть высший суд совести и высшее утешение сердца, то пережить их можно лишь у отеческих могил, ибо ни перед кем так не ответственен человек за свою жизнь, как перед теми, кому он ею обязан».

* * *

В. Гюго: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого гражданина».

Очень верно: чтобы быть свободным, надо чтобы кто-то «осуществлял», «работал» на твою свободу. А как иначе? Разве свободным, к примеру, был первобытный человек, живущий в пещере и охотившийся с каменным топором?

* * *

Обычно писатель интересен своими книгами. Владимир Константинович Сапожников писал не только привлекательную прозу, но и был интересен сам по себе как человек.

Красавец мужчина, крепкого сложения, хорошего роста, с резким орлиным профилем и зелеными, цепкими, но холодноватыми глазами, он нравился не только женщинам, но притягивал неординарными высказываниями, своей кипучей энергией, чрезмерной горячностью.

Меня всегда удивляло, как такой подвижный и громогласный человек мог часами сидеть над своими рукописями, когда нужно стоическое терпение, полное одиночество и тишина...

Великие тоже... ошибаются

Не каждый вправе осуждать и судить великих людей, но иметь свое личное мнение о них может каждый.

Я думаю об Алексее Максимовиче Горьком, которого, несмотря на критику последних лет, считаю писателем, безусловно, гениальным, — считаю, что в отношении к русскому крестьянству он был несправедлив. Во многих своих работах он отзывался о земледельце как о горьком пьянице, человеке инертном, жадном и ленивом, даже недоразвитом, диком и по-звериному жестоком.

Но ведь почти все жители городов, особенно молодых, это недавние деревенские мужики. И что — ставши заводскими или фабричными рабочими, они переродились, стали лучше? А может, наоборот, оторвавшись от кормилицы, от матери земли, человек теряет очень и очень многое, главное — нарушается естественный, природный уклад и ритм жизни и исчезает сознание, что он, человек, делает самое главное дело на земле — выращивает хлеб насущный...

Не думаю, чтобы проницательный писатель не знал, что именно деревня является хранительницей народной культуры — создательницей фольклора, народных обрядов и традиций!

А насчет мужицкого слабоумия, пьянства, лени и других пороков, которые Горький выпячивает на первый план, — бог ему судья! Много может знать ученый, начитанный интеллигент, много уметь квалифицированный рабочий по своей профессии, но знания и умения эти покажутся однобокими, если начать перечисление того, что должен знать и уметь рядовой хлебороб, пусть даже малограмотный. Ведь крестьянское подворье (если применить современное сравнение) — это подводная лодка в автономном плавании. Что-то недодумал, где-то недоделал — и пошел ко дну, вернее не всплыл на поверхность жизни.

У Горького часто проскальзывает недовольство тем, что крестьяне якобы слабо участвовали в революции и Гражданской войне. Ну, во-первых, не так уж и мало (возьмем хотя бы партизанское движение против Колчака у нас в Сибири). Во-вторых, крестьянство разобщено географически и, естественно, не могло выступать так же сплоченно, как, к примеру, заводские или фабричные рабочие в городах. А в-третьих, нельзя считать за честь участие в братоубийственной Гражданской войне.

Но оставим это на совести Алексея Максимовича. Говоря о моральном облике крестьянина, он часто противоречит самому себе. К примеру, характеризуя устную речь Льва Толстого, Горький отмечает, что она «насыщена деревенской простотой», отсюда «особенная, выразительная красота его речи».

Можно было бы привести еще множество подобных противоречий, указывающих на то, что при жизни Горького Россия была страной мужицкой, именно крестьянство составляло подавляющее большинство населения, являлось стержнем страны.



И не потому ли Россия выстояла и в революции, и в Гражданской войне, и позднее в катаклизмах сталинской эпохи, и, слава богу, пока что держится «на плаву» сейчас, несмотря на то что крестьянство всегда (и особенно сегодня) является самым униженным и страдающим сословием русской нации?..

«Будьте собаками!»
(Илья Михайлович Лавров)

Я работал секретарем Купинского райкома комсомола и одновременно активно сотрудничал в районной газетке: писал стихи, репортажи, мелкие рассказы — что придется.

Мои литературные потуги заметили в областном центре, пригласили на семинар молодых писателей. Не помню, где он проходил, но навсегда запомнил, как еще до начала в шумном многолюдии отыскал меня полный, солидный мужчина в очках с толстыми зеленоватыми стеклами, красивый, белоголовый.

— Вы Пётр Дедов?

— Да.

— Работаете в газете?

— Нет, в комсомоле.

— Ну, это почти одно и то же. Я по вашей рукописи сужу: посреди *хорошей* лирики газетные штампы *щетинятся*, как железная стружка...

Когда начался семинар, этот человек, Илья Михайлович Лавров, уделил моей персоне много внимания, больше других. Говорил он спокойно и тихо, иногда повышал голос:

— Ведь вы послушайте, что говорит, — указывал он пальцем на меня. — «Идя навстречу партийному съезду, чабан Муктанбаев обязался...» И это — в художественном рассказе! Неплохом рассказе в целом. В нем правдиво описаны чувства старого казаха-чабана. «И сердце его прищурилось...» Иногда кажется, что автор побывал в его шкуре. Пере-воплощение! Это — главное для писателя. Пишете о трактористе — будьте на это время трактористом. Пишете о китайце — превращайтесь в китайца. Пишете о собаках — будьте собаками! Я много лет проработал артистом и имею право судить: писателю нужно уметь перевоплощаться в своих героев больше, чем артисту. Артист это делает чаще только внешне, писатель должен проникнуть в самую суть, в психологию, в душу и сердце...

Потом, переехав в Новосибирск, я сошелся с Ильёй Михайловичем очень близко, можно сказать подружился, нам не помешала даже разница в возрасте. Разница в возрасте у писателей — не считается. Вон я чуть не в два раза старше Пушкина, а кто я против него? То-то...

Если бы у меня спросили, какая главная черта характера писателя Лаврова, я бы, не задумываясь, ответил: доброта. И тут напрашивается обычно каверзный вопрос: можно ли по внешности определить внутреннюю сущность человека? Не берусь утверждать категорически, но добро-

ту Ильи Михайловича мог отметить даже ребенок. По мягким чертам лица, по доброй, благожелательной улыбке, по теплоте, ореховому цвету ласковых глаз...

За много лет я никогда не видел, чтобы он вспылал, никогда не слышал от него ни одного бранного слова. И книги его — добрые, овечьные поэзией и светлой романтикой. Вот по каким книгам стосковались сегодня люди, те, души которых еще не заскорузли от дикой пошлости, от культа наживы и разврата.

Но сейчас таких книг не издают...

* * *

Надо написать рассказ о собаке. Все уже есть: тема, сюжет, завязка-развязка, но нет главного — не могу почувствовать себя собакой. С ее обонянием, зрением — всеми чувствами. Хожу по деревне, нарочно дразню собак. И вдруг — старый мой знакомый — Малыш! Его бросает хозяин, он злой и вынужден всю зиму ходить по дворам, но весной снова возвращается к хозяину.

Ночью мне снилось: чую-чую, а что-то забивает чутье! Я только что родился, никогда не видел снег... словом, что-то первобытное, звериное. Какой-то инстинкт, а не разум... И я почувствовал себя собакой...

А утром у меня рассказ пошел...

2 марта 1991 года, Ерестная

* * *

Говорят, талант пробьется. Но у талантливых-то как раз меньше пробиваемости, больше совести.

* * *

Какая-то сцена — целомудренная, чистая, святая... Я подумал: готовый рассказ, но удержался: оказывается, понял я впервые, есть вещи, о которых писать нельзя, святотатство, их можно только чувствовать, вспоминать, но нельзя перенести на бумагу, тем более — типизировать, обобщать. И вопреки утверждению, что литературе все доступно, я понял, что не все, она может нанести ущерб, опошлить первозданность впечатления, святость его (скажем, что-то касательно любви, матери). Для меня пусть эта сцена живет так, как было в жизни, ничего не буду типизировать, не отдам это в жертву рассказу — у писателя тоже есть свое, к чему он не вправе применить свой талант, мастерство — есть вещи, неподвластные перу...

* * *

Да, Пушкин — наше всё, Есенин — тоже. Но Бродский? Какой же он великий, если ни одной строкой не ушел в народ?..

2005 г.

* * *

Н. Н. Гончарову уже за одно то надо почитать, что она подарила миру болдинскую осень...

* * *

Читал И. Бродского. Общее впечатление: человеку предназначено природою писать стихи, а писать ему — не о чем. За душой — только прочитанные книги. Отсюда и древнегреческие боги, мистика, прочая чепуха...

11 декабря 2005 г.

* * *

Хорошо Пришвин пишет, да много словесной шелухи, из которой порою с большим трудом мысль вышелушивать приходится...

* * *

Догоревшая свеча в конце, перед тем как погаснуть, обязательно ярко вспыхивает. Вспоминаются Шукшин, Есенин, Солоухин и многие другие. Предчувствие *конца?*..

11 июля 2006 г.

* * *

Трудовой процесс так зримо и ощутимо никем из писателей не описан, как Львом Толстым, Шолоховым. Чехов и Бунин вообще не касались этого сложного дела. Говорят: чтобы описать шницель, необязательно самому жариться на сковородке. Достаточно его съесть. Но чтобы правдиво описать покос или пахоту, изнутри подать, со всеми ощущениями, — надо обязательно самому уметь косить и пахать...

* * *

Все-таки надо написать о «Тихом Доне», этой уникальной книге, ни на что другое не похожей... Историю Гражданской войны будут изучать (если захотят узнать правду) — по «Тихому Дону»...

* * *

(О родстве душ)

Бунин мне ближе иного «соседнего» писателя, так как он видит, и чувствует, и осязает, и обоняет природу, как я.

* * *

Когда шибко возомнишь о себе как о писателе — читай Бунина.

* * *

Да, талантливость — это то, что захватывает читателя... А если при чтении трудно, горько, непонятно, но критики нам толкуют, что это хоро-

шо, даже гениально («Доктор Живаго», «Жизнь и судьба»), — то здесь или критики лгут, или... А талант захватывает воображение, все чувства и мысли ты переживаешь с героем, и если этого нет, то нет и художественного произведения.

* * *

Дочитал «Войну и мир» Льва Толстого. Впечатление такое, что прожил другую жизнь, целую жизнь, с интересными, живыми людьми, которые окружали меня во время чтения, волновали, задевали за живое, радовали до слез, огорчали до боли в сердце. Порою хотелось вмешаться в ход событий, кого-то пожалеть, на кого-то кинуться с кулаками...

Жизненный ли, правдив ли эпилог, в котором звучит всеобщее благополучие? Соня — прекрасна, а вот Наташа — та ли это Наташа в концовке, какой она должна быть по логике развития характера? Надо подумать: не применил ли здесь Толстой один из своих «силовых приемов»?

Да, Наташа такой и должна быть, ведь это самый человечный герой романа. А что может быть на свете человечней матери? И то, что она «опустилась» (может вынести и показать пеленку с желтым или зеленым пятном), она не опустилась, а приблизилась к естеству, то есть своему дитя...

«Войну и мир» надо читать только в зрелом возрасте. А то, что мы читали в юности по школьной программе, это только отвращало потом на долгие годы от чтения романа...

Чем Толстой достигает того, что герои его живые? Тем, что показывает их со всех сторон, абсолютно ничего не утаивая в их характерах, ничего подчеркнуто трагического или героического, а все так, как бывает в жизни: радости и слезы, любовь и горе, — все наполняет одно мгновение... И герои получились не «положительные» или «отрицательные», а абсолютно живые люди... Наташа Ростова, например, ухаживая за умирающим Андреем (кажется, на что уж лирическая сцена), знает о его гниющих, дурно пахнущих ранах...

Прочитать «Войну и мир» — и никаких литинститутов не надо...

* * *

То, что я пишу сейчас в главе «Игра в шарик» («Светозары») — истинная правда. Да, так говорили мы о будущем. Такие пели частушки и такие рассказывали анекдоты. Но раньше об этом надо было молчать, а вот теперь... Без этой главы моя трилогия была бы не совсем правдивой, ведь умолчание — тоже ложь...

5 июля 1989 г., Ерестная

* * *

Сегодня наконец закончил главу «Игра в шарик». Семь дней неустанный труд. Это сколько же я выдавал в день? (Получилось более двух авторских листов.)

Остается почти физическое ощущение, когда случается в тексте не-совершенство. Какое-то «корябающее» ощущение.

В жизни было и такое, что писателю не только выдумать нельзя, но и реально невозможно. Например, в главе «Игра в шарик» я упустил, как устроили воскресник в школе (может быть, самый оригинальный за все время советской власти) по захоронению калмыков. Весной снег растаял, и они поплыли. И вот мы, ребяташки, стаскивали их в общую яму. Накинешь на голову петлю — а голова оторвется. Об этом я не мог написать. Не хватило духу?

8 июля 1989 г.

* * *

Как-то Л. В. Решетников мне сказал, что некоторые писатели у нас недолюбливают меня за то, что я слишком русский и не умею этого скрывать. Очень я тогда этому удивился! Стал спорить: что же здесь, мол, плохого? Ведь я живу на родной земле, среди русского народа, и это даже замечательно, что я такой... Долго доказывал, а Леонид Васильевич только грустно улыбался...

* * *

«Мгновения» Юрия Бондарева, новелла «Быки». Это значит, что человек не знает села. Пишет о том, как складывает копны пшеницы на воз, а потом: «...вместе с копнами я стал... падать куда-то вниз... увидел свою арбу, рассыпанные копны под ней...» Но ведь копна — это куча, а взятое из копны на вилы — это уже не копна, а навильник, взятое руками — охапка, а положенное на воз — просто пшеница, рожь и т. д. Ведь не снопы же он возил, которые и на возу остаются снопами.

* * *

Да, юность чувствует, а зрелость мыслит. У настоящего поэта — счастливое сочетание того и другого.

* * *

Во сне часто видишь такое, чего не было, но что могло быть. Может, в подсознании фиксируются какие-то случаи, факты, лица, предметы, которые не дошли до сознания, но удержались в памяти и попали в сон. Иногда мне снятся очень сложные, «сюжетные» сны — может, это заложенные в моем мозгу от природы не написанные мною книги...

* * *

Любить свою землю, свой народ. Больше не вижу источников, откуда можно было бы черпать вдохновение.

* * *

Слово большого писателя всяко можно назвать, но только не благозвучным, ласкающим слух. Скорее, это слово — будоражащее, а часто и «неотесанное». И чем больше «неотесанного», тем своеобразнее писатель...

* * *

Слово имеет цвет, запах, музыку, оно осязательно и вызывает еще целую гамму чувств, которые вкупе называются настроением.

Запоздалые цветы

Поздно я начал писать и потому написал — мало. Не израсходовал до конца свой литературный ресурс, нет.

Так сложилась жизнь. В самые зрелые, самые золотые для творчества годы, когда писать бы да писать, когда перло вдохновение так, что физически казалось — вырастают за спиною крылья, когда ночами вскакивал с постели и царапал на папиросной коробке или даже на стене, — главная забота была о куске хлеба. Семья, двое детей. Работал в газете, а какая там зарплатишка? Приходилось и на радио ишачить, и в других газетенках прирабатывать. А из командировок и не вылазил вовсе! Какое тут творчество?

Сейчас на пенсии. Вот и давай, скажете вы, наверстывай. Пробую, ан нет: всему свое время...

* * *

Народная песня отмирает, потому что отмирает тот народ, который создал ее. Меняются люди не только внешне, меняются души людей... Но в крови русского человека отзвук песни живет как память о далеком и родном...

* * *

Зачем творить слова, выдумывать их? В народе они готовые, веками сотворенные — только бери и пользуйся на здоровье...

* * *

Деревни... Доброта русских женщин, их всепрощение, сердечная, искренняя тяга к родственности. Начнут расспрашивать о тех, которых и знают-то понаслышке...

* * *

Ему на глаза попала газета: «В Москве, в районе Новых Черемушек, строится пятисотметровая башня, где будет ресторан на двести сорок мест». Он отложил газету и с грустью глядел на жалкие избушки деревень...

* * *

... Я знал такую женщину, некрасивую, хрупкую — а после ее смерти оказалось, что она держала всю огромную семью и родню, как становой хребет...

* * *

Что же ты напишешь, если сочинишь, а не о том пишешь, о чем не спится ночами?..

* * *

Человеческое нутро — за семью замками. Увидеть саму суть, обше-лушить все наносное, чужое... Это тебе не зерно грецкого ореха добыть.

* * *

В искусстве гениальное коллективно не делается. Гений всегда один.

* * *

Среди великих не многие были хорошими ораторами. А если бы-ли — то это импровизаторы. Речь думающего человека — это ходьба по неизвестной тропе, нащупывание, неизбежные ответвления и прочее. Это — не по накатанной дороге шпарить...

* * *

Сегодня снился странный сон. Будто надо во что бы то ни стало мне умереть, погибнуть: броситься с какой-то громадной высоты в море. Буд-то кто-то уже это сделал вперед меня, мне надо... И вот я стою на этой высоте (кажется, мачта корабля, море кругом бесконечно и серо) и ду-маю: какая разница, ведь все равно когда-то помирать, а вот сегодня и мне надо. И все, как наяву, обдумываю каждую мелочь: представляю, как страшно будет захлебываться, и тут же утешаю себя тем, что когда брошусь вниз, то мгновенно разобьюсь о воду и мучиться, захлебываясь, уже не придется. А мысли двойственные: можно и погибнуть, но это уже и не так обязательно, можно и остаться живому. И вот без особого страха прыгаю с вышки в море, лечу вниз и уже где-то на полпути, чуть зависнув в воздухе, все-таки решаю остаться жить. И не от страха решаю, страха нет совсем, а просто хочется еще пожить. Вроде бы нет такой суровой не-обходимости погибнуть именно сейчас... И просыпаюсь. Не в холодном поту, без сердцебиения: страха, говорю, не было...

Октябрь 1990 г.

* * *

Смерть — как собака: хватает тех, кто ее боится.

* * *

И я постепенно начинаю осознавать весь трагизм человеческой жиз-ни. Может, это в наказание Бог дал человеку разум? Все живое на земле о смерти не знает, а человеку дано это знать и всю жизнь чувствовать занесенную над ним косу. Больше того, к старости начинаются болезни, притупляются чувства, появляются одиночество и безысходность. И все это, повторяю, находит трагическое осознание и осмысление...

* * *

Артист народного хора рассказывал на полустанке, когда с охоты возвращались:

— Ты думаешь, наша профессия соловьиная? Поглотай пыль на сцене при пляске, да чтобы подштанники взмокли...

* * *

Ах, скольким хорошим людям исковеркала жизнь эта заманчивая идея — стать писателем! Если припомнить только моих знакомых, некоторые — отличные журналисты...

* * *

Я счастлив, что от природы — аскет. Меня не интересует ни гурманство в еде, ни щегольство в одежде, я даже могу обходиться без элементарных удобств в быту. Все это меня нисколько не удручает, напротив, тогда я чувствую себя ближе к природе, как бы растворяюсь в ней, пре-
вращаюсь в ее «естественного члена»...

Только наедине с природой, где не надо притворяться, кривить душой ради принятых норм поведения, только в природе, как это ни парадоксально, я чувствую себя человеком... Полное равнодушие к славе — может быть, хорошо, хотя лишает стимула творить. А вот безразличное отношение к своему внешнему облику — это, пожалуй, плохо, хотя с какой стороны поглядеть...

* * *

Как он говорит! А писать не может. Попробует пусть диктовать. Но ему нужна аудитория...

* * *

Его две книги о рабочем классе (проходная тема) были наподобие болванок обкатаны на редакционных конвейерах, отшлифованы до современного блеска, но явили миру убогость мыслей и скудость души...

А ведь он рожден быть писателем. Импозантная внешность, солидный рост, хорошо поставленный и красивый голос-баритон, умение судить обо всем и острить в пределах своего ума, умение увлечь разговором любую публику...

А главное — желание нравиться публике, необоримое желание славы, бесконечных праздников, споров о литературе, наслаждений за столом с шампанским и женщинами, — все это у него от писателя, в крови, врожденное. И только недостает пустяка: писать он не умеет. И те две книги удалось ему издать исключительно благодаря своему внешнему писательскому обаянию...

1981 г., Ерестная



* * *

Надо ехать в Новоключи, на свою родину! Богат тот писатель, который имеет свою собственную родину! Писатель выходит из своей родины и из своего детства, других истоков я не вижу.

23 июля 1986 г.

* * *

Разве можно при создании художественных образов не учитывать национальные особенности и черты характера? Читаешь иную книгу — никакого национального колорита не ощущаешь. Замени Иванов на Жанов — и хрен разберешь, где дело происходит, на Алтае или в Провансе каком-нибудь... Без национальных отличий, которые должны быть в крови, нет писателя настоящего. Национальному должен быть подчинен язык и стиль — всё!..

* * *

Шукшин, Евдокимов, Геннадий Заволокин — люди, вышедшие из самых недр народной жизни. Это как катится лава подземная, а потом — рванет наружу. Нет, не так, не разрушительная лава, конечно. Но такими знаковыми людьми нет-нет да и напомнит о себе некогда великая Русь, великий народ Пушкина и Толстого...

11 августа 2005 г.

* * *

Главное — своеобразие, своеобычие, неповторимость. Ведь рождение писателя в «образованной» семье не всегда на пользу: повторяемость. А тут — один, все от народа взято, а не от книг...

12 августа 2005 г.

* * *

Пишущий, а человек нехороший, всю жизнь приспособливается, избегает честного труда. Может ли он создать искреннее произведение? Думаю, нет. От кривой палки прямой тени не бывает.

Синие сумерки

Вчера был на могиле Анны Ахматовой. Это далеко в лесу. Ночью выпал мокрый снег, налип на лапы елей, заламывая их книзу. Маленькое кладбище среди темного бора. Как найти могилу среди роскошных памятников? Меня привела к ней цепочка следов по девственному снегу. Никакой надписи, но я понял: это могила Ахматовой. (Может, надпись под снегом.) Огромный черный железный, грубойковки, крест. Будто сама смерть распласталась над землею, нависла черными крыльями, раскрыла страшные объятия... Беспощадное, грубо кованное железо, перечеркнувшее вдоль и поперек все живое...

Много видел я памятников, но никогда не чувствовал такое... Так откровенно, так материально присутствовала здесь смерть, а кругом — первозданная тишина, только снежные навеси срываются с черных елей.

Синие сумерки...

1981 г., Комарово

* * *

Замечаю за собой: у меня получается писанина до тех пор, пока пишу я образами, то есть чисто художественную прозу. Как только начну «мыслить», философствовать, ударяясь в публицистику, — становлюсь наивен, как дите, неуклюж, противен себе самому. Видно, это потому, что я не умный, а чувственный.

Апрель 1982 г., Пицунда, Дом творчества

* * *

Будто бы Бунин говорил: не надо, мол, становиться с читателем на одну доску, распахивать перед ним свою душу, он быстро раскусит тебя — и ты станешь ему неинтересен! Надо быть над читателем, бить его по голове.

А Лев Толстой разве не таким был? Он же был хозяином всего — и человеческих натур, и всей вселенной. Но и душу мог раскрыть перед читателем. В общем, почему бы не раскрыться, если есть что за душой?

* * *

Писатель, который много пишет. Положим, классик. Как ему остаться самим собой? Ведь это же надо ему всего себя раздать героям своим: все, что видел, слышал, чувствовал сам, наблюдал, ощущал. Больше того: мелькнувшую мысль, скользнувшее чувство — надо не упустить, облечь в слова, чтобы удержать... А то, что оформлено словами, это уже не твое, это отлетело. Это приводит к опустошению? К тому ли, что писатель никогда не сам, а вечно кого-то играет?..

* * *

Буйство южной природы, жирные травы и цветы, клубящиеся зеленью и разноцветьем деревья и кустарники... Если родиться и всю жизнь прожить среди такой роскоши — думаю, вряд ли станешь писателем-природописцем. Таковым скорее станет тот, кто родился в пустой степи, — лишь он способен разглядеть, оценить, принять близко к сердцу и воспеть каждую живую былинку, каждый лепесток... Голодный и сухарю рад, сытый и на жирный кусок не глянет...

7 апреля 1983 г., Ташкент,
Дом творчества

* * *

Прочитал «Плаху» Ч. Айтматова. Талант, конечно, в сочетании со смелостью, хотя во многих местах — языковые шаблоны, трафареты. То есть автор хорошо знает язык газет и хуже — живой язык народа. Чувствуется торопливость, много лишнего (зачем рассказ о грузинской песне?). Но ценю то, что Айтматов сумел увязать «взаимоотношения» животных и человека, хотя кое-где попахивает мелодрамой (кража волчицей ребенка), а линия, отчего озверели звери, прописана хорошо. Христа и Понтия Пилата тоже не надо было касаться: после М. Булгакова, изобразившего почти ту же сцену в «Мастере и Маргарите», у Айтматова это не смотрится; напротив, вызывает нежелательные ассоциации... В таких случаях если уж писать, то делать это надо лучше, сильнее...

Ноябрь 1987 г., Алма-Ата, Дом творчества

* * *

...Я несчастный человек — плохо понимаю классическую музыку («Отец тележного скрипа боялся»), ненавижу современную музыку, но... Но зато полностью, до глубины души распахнут литературе, талантливым книгам. Думаю, что понимаю и живопись (кроме «черных квадратов», конечно, и других извращений больного воображения).

1 июля 2005 г.

* * *

Вот такая дивная штука — писательство. Иногда встретишь красоту несказанную в природе или человека прекрасного встретишь — и забудешь описать эту красоту или записать речь того человека: чувство захлестнет, и ты забудешь, что ты писатель... И счастливо вздохнешь потом и скажешь про себя: да, сохранилось во мне еще это чувство восторга и удивления. Значит, я еще писатель...

* * *

Вот так, не думая, не гадая, стал писателем. Научиться этому ремеслу, я думаю, невозможно. Просто человек самой природой, самой судьбой обречен писать. Уж у меня-то точно для этого не было никаких стимулов или примеров для подражания: родился в сплошь безграмотной среде (достаточно сказать, что я первый в нашем роду получил сперва среднее, а потом и высшее образование). Самый первый выбился из столетних крестьянских пластов! В детстве даже книжек для чтения негде было взять, и помню, когда мне в руки как-то попал «Тарас Бульба» Гоголя, я был так потрясен, что выучил всю повесть наизусть. И только шибко смущало меня, как это Гоголь, на портрете обыкновенный человек, здорово похожий на нашего деревенского пустобреха Прокопку Дюкина, как это он сумел подслушать все разговоры запорожских казаков, больше того — узнать, о чем они думают и что видят-слышат?

После-то я сам научился всякие истории придумывать, по-деревенски «брехать», но вся суть писательства в том и состоит, чтобы суметь «сбредить» правдоподобнее, чем это бывает в жизни. Иначе кто же поверит?

Начинал со стихов, потом и прозой кое-что стал записывать, но, честно говоря, никогда даже не помышлял о писательстве, все получилось незаметно, как бы само собой, без малейшего вмешательства и насилия. Просто появилась неодолимая потребность рассказать о пережитом, исповедаться.

Правда, когда я писал свою автобиографическую трилогию «Светозары», то придумывать приходилось не много: с детства и отрочества я вынес столько глубоких и ярких впечатлений, что только успевай записывать. Да вот записывать-то, отображать эту жизнь не всегда получалось так, как хотелось бы, — слишком великой она была в своей страшной трагичности, и, думаю, не с моим талантом было отобразить ее могучие взлеты и жуткие падения.

Я никогда не перечитываю свои книги, чтобы не расстраиваться, не травить напрасно душу. Эх, вот тут-то мог бы написать лучше, а не сумел — не хватило воображения, не нашел нужные слова... Не в моих силах было все это выразить, недоволен я собой...

Не жалею, что в писательской судьбе был обойден вниманием, нет. Получал и до сих пор получаю читательские письма, не обойден был критикой, издавался в Новосибирске и в Москве, переводился за рубежом, был лауреатом Всесоюзной литературной премии Союза писателей СССР и ВЦСПС. В последние годы стал лауреатом премии имени Гарина-Михайловского, премии имени Михаила Шолохова.

* * *

Вчера по телевидению: женщины приезжают в Сочи «отдыхать» и оставляют своих детей в подъездах, на крыльце больницы и т. д. Плоды наслаждений. Птица, зверь так своего дитя не бросит.

В войну и после матери иногда убивали своих детей — от великой нужды, когда видели, что гибнут от голода мучительной смертью. И чтобы не продлевать муки, топили пожарче на ночь печь и закрывали трубу: смерть без мучений; гибли все вместе, с детьми...

1 сентября 2005 г.

* * *

Две революции: 1917 и 1991...

Первая: отняли богатство у кучки богачей и раздали большинству. Вторая — все наоборот...

16 августа 2005 г.

* * *

Писатель должен знать человека, он должен иметь свою философию, свое учение, свой взгляд... Знать законы жизни на земле, законы не только всего животного и растительного мира, но и неживой природы.

Знать все это одному — невозможно. Но есть интуиция, предчувствие, угадывание — этим должен обладать писатель. Должен знать основные языки, а свой — в совершенстве: знать душу слова, его музыку и цвет. Должен владеть смежными искусствами (музыка, живопись и т. д.). Но знать — мало. Знают многие. Главное — выразить, отобразить, изваять в образах.

* * *

Я был крестьянином. Сейчас вроде бы писатель. Разница небольшая: давать хлеб физический и давать хлеб духовный. Сходство большое: как там, так и здесь — не схалтуришь, труд твой весь на виду, в кусты не уйдешь, как в других профессиях...

* * *

У поэта должна быть его человеческая суть, его единственность и неповторимость, как у Блока или у Есенина... Их можно угадать по звону, запаху, цвету слова, которое у них является частицей их, только их сути... А пишущие стихи, но не имеющие своей сути, те не поэты, а сочинители стихов. Поэты — великая редкость.

* * *

Да, писательство — это разновидность сумасшествия. Сочиняя, писатель бредит наяву, живет чужой жизнью. И чем глубже это «сумасшествие», тем ближе писатель к гениальности, а значит, от гениальности до реального сумасшествия — один шаг.

* * *

Говорят: стиль — это человек. А писатель — это язык. Он должен быть органичным, складываясь из характера, темперамента, происхождения писателя.

* * *

Моя философия? Все вижу трагически. Потому что жизнь человека — это трагедия: детство, юность, любовь, счастье — старость, болезни, предчувствие смерти и смерть — будто в наказание за счастливый миг молодости. Все творчество великих мастеров — трагично...

* * *

Мы так привыкли к давлению, что похожи на глубоководных рыб. Вытащи на поверхность, освободи — и лопнем. Многие не выдерживают...

* * *

Нельзя перепрыгнуть пропасть в два приема.

* * *

В детстве я любил фантазировать в рисунках: на полях газет или книг разворачивались жизненные сцены, целые баталии. После рисунки ушли, пришли стихи, потом — проза...

* * *

Людей объединяет не только любовь, но и ненависть. И ненависть сильнее, ибо может вести на смерть.

* * *

Давным-давно рассказывал мне мой односельчанин Егор Давыденко, что, когда вышла повесть «Березовая елка» (о жизни моих земляков в годы Великой Отечественной войны), женщины (мужчин в селе почти не осталось) собирались вечерами (днем работали в колхозе) и просили учительницу (почти все ведь были малограмотные) читать эту книгу. Часто доходило до споров, даже перебранок, а чтение затягивалось до глубокой ночи. По словам Егора, у них был всего один затрепанный экземпляр, и одна из женщин (фамилию не помню) очень хотела, чтобы книжку прочитала ее сестра, уехавшая из села в город. И она, малограмотная, начала своими каракулями переписывать текст повести...

Не знаю, чем это закончилось, но если хоть одному человеку чтение книги облегчило жизнь, значит, труд мой потрачен не зря. А крестьянский труд, моя малая родина всегда в моем сердце.

* * *

Шел по Красному проспекту мимо типографии, увидел в окно «Светозары» — горы книг в темно-синем переплете. Подошел к окну — молодые парни и пожилая женщина (работники типографии) заметили меня. Я глазами показал, что книга моя. Парень раскрыл книгу, где мой портрет, показал мне в окно, но не узнал меня, а женщина повернулась ко мне и покрутила пальцем у виска: чудик, мол, какой-то. Неужели так не схож я с портретом?..

11 мая 1990 г.

* * *

Художник, артист перестает быть таковым, как только перестает волноваться.

* * *

Гладко говорят люди начитанные, много знающие, но не творческие, не глубокие: они не споткнутся о неожиданно вспыхнувший образ или мысль.

* * *

Поэзия уходит от песенного начала — не в этом ли секрет успеха песен Окуджавы и других?



* * *

Старуха — а зубы белы да ровны, как у юной девушки: пластмассовая улыбка. Зубным врачам надо бы учесть это, а то — ярчайшая юная улыбка на старом, пергаментном лице...

Июнь 2008 г. Что было за это время?

1. Приглашали в Новосибирский российско-немецкий дом, где вручили диплом как писателю-прозаику в номинации «Писатель года».

2. Из Купина администрация присылала «Волгу», нас с Олей увезли в Купино, там в торжественной обстановке вручили «корочки» и грамоту «Почетный гражданин Купинского района», а к вечеру того же дня привезли домой. Так что за день мы сделали 500 да еще 500 км.

3. 28 июня обещают дать литературную премию имени Гарина-Михайловского. Эту премию из всех наших писателей не получил только я один. Получили даже окололитературные «пристибалы», а до меня все не доходила очередь. Известно почему...

4. В Москве, в издательстве «Вече», переиздана моя трилогия «Светозары». Тираж — 4 тыс. экземпляров (сейчас издают по мере продажи), а с продажей будет непросто: цену назначили 320 руб., даже в этой серии «Сибириада», где другие книги — по 290 руб., и то почему-то многовато. Правда, объем больше — 500 с лишним страниц.

5. Праздновали мое 75-летие.

6. Вручена премия имени Гарина-Михайловского, 50 тыс. рублей, в помещении Оперного театра. Все деньги пошли на издание книги «К солнцу незакатному».

7. Мой портрет помещен на стенде около Дома Ленина — «Писатель года».

* * *

К столику в ресторане на теплоходе подседа деревенская пожилая женщина, бочком, застенчиво пряча руки — большие, неотмываемо-темные, растрескавшиеся.

Принесли первое. Соседка напротив стала торопливо есть, а девочка лет пяти, беспонятная, с детским непосредственным любопытством уставилась на ее руки.

Должно быть, женщина работала в колхозе свинаркой или телятницей, и ей приходилось и в зной и в мороз этими руками кормить животных, готовить поило, убирать навоз. А девочка, видать, впервые столкнулась с тем, чтобы у женщины были такие некрасивые руки. Она взглядывала на мать, показывала глазами, рассматривала, будто сравнивая свои и материнские руки, а когда женщина, наскоро поев, ушла, капризно сказала, наверное подражая нянечке из детсадика:

— Тетенька умываться не любит, вот у нее и плохие ручки.

— У этой тетеньки золотые руки, — сказал отец. — У твоей бабушки были такие же.

— Мне тоже можно не мыть?.. — тут же нашлась девочка.

Жена поглядела на мужа с осуждением...

Мой сосед

Был у меня на даче сосед — некто Вася Птичкин. Когда знакомилась, он почему-то сказал:

- Это усадьба твоя, это — моя.
- Так и без того же видно и понятно.
- Видно-то видно, но не совсем...

И только лет через пятнадцать я невзначай заметил, что изгородь его передвигается, как бы ползет на мой участок. Чуть заметно, крохотными шажками. И надо иметь большое искусство, чтобы перекопать столбы, передвинуть жерди с пряслами, да так, что комар носа не подточит...

Я к Васе:

— ?..

— А докажи! Докажешь — вернусь на исходные позиции. Но учти: все будет через суд, а в суде у меня...

И стал я по своей профессиональной привычке наблюдать за Васей. Интересно! У него свой мир, доселе мною невиданный.

В каком-то году резко повысили цены на бензин. Мне интересно:

— Вася, теперь пореже будешь на дачу мотаться. Почти двести километров в один конец!

— А на сколько повысили?

— Аж на 75 рублей за литр.

— Значит, на такую сумму воровать больше буду. Я человек честный — лишнего не возьму, а государство тоже как-то учить надо. Как? К президенту не пойдешь...

Мне даже показалась справедливой железная Васина логика. Сказал ему об этом, он даже обрадовался:

— Таким способом всего достигнуть можно!

— Ну, не всего, конечно... В музыке, например, в живописи...

— Хэх! — расхохотался Вася. — Ты думаешь, я поверил, что ты больше двадцати книжек написал и все из своей головы выдумал? Это надо быть змеем о двадцати головах!

— А как же тогда?

— А так: я как-то захожу в твою дачную комнатушку, а там у тебя все стены книгами заставлены и даже на полу раскрытые книги. Зачем тебе столько? Почитать на сон грядущий — двух-трех хватит, а все остальные: оттуда строчку, оттуда строчку...

Вот ведь до чего уверовался человек в своей «гениальности»...

Вот и вся «нравственность»: бери все, что тебе надо для жизни. И вся хитрость в том, чтобы не попадаться.

* * *

Рассказы интересных стариков... Ведь это то, что нарочно не выдумашь — сама жизнь! Ведь старый человек, даже безграмотный, накопил за долгую жизнь свою мудрую правду, свою думу о жизни, какую ни в каких книгах не вычитаешь, ни у каких философов и мудрецов...



Люблю слушать стариков.

Вчера был у соседей. В этот день Владимир Гаврилович и Мария Фёдоровна Прокопенко покупали у них овцу. Засиделись, заговорились.

Владимир Гаврилович:

— Ягоды мало стало. Давеча поехал за калиной. Нашел, кусты большие, а под ними — красно. Почти вся ягода на полу. Рассмотрел, а то мякоть только, зерен нет. Кто же это так ест, обычно мякоть едят, а крепкие пилюли-зерна — бросают. Потом увидел: бурундук меня заметил, торопится, хватает обеими лапками, аж отходы летят, как у доброй тетки семечковая шелуха. Видно, на зиму семена калины запасает, боле нечего. А сам сердито фукает, чтобы я ушел...

Мария Фёдоровна:

— Промочило у нас крышу в сарае, затопило ласточкино гнездо. Оно раскисло, упало, птенцы погибли, один еле живой, еле клюв разевает. Взяла, а он волосом к остальным привязан (родители так делают, чтоб из гнезда не вываливались). Оторвала волос, отогрела, накормила, старый мяч разрешила, под матицу прибила — вот и гнездо. Да вместо перьев — шерсти клочок положила. Родители рады, пулями несутся, только голову не задевают. А утром пришла — птенец висит из гнезда вниз головой — за шерсть ножкой запутался (или родители привязали сами, чтобы не упал?). Они мечутся вокруг, а поднять опять в гнездо разумения не хватает. Подняла. Вот уж поистине горемычный птенчик уродился! Зато счастливый какой — из пятерых один жив остался.

Владимир Гаврилович:

— Сенкоской отрезали зайчонку переднюю правую ногу. Поймали. Привезли домой. Промыли, перевязали. Ирочка, внучка, кормила его капустой да морковкой, молочком поила. Выходили. Что дальше с ним делать?

Мария Фёдоровна:

— Да уж что, до снега додержали бы да и зарезали, когда жирку нагулял бы...

Владимир Гаврилович:

— Много у зайцев жиру! Да и резать-то...

— Кроликов же режут. Еще жальче, сами выкармливают. Привыкают.

— Сравнила хрен с пальцем!

— Ирочка раз подходит ко мне: «Ба, а у зайки папа с мамой есть?» Я себе и ни к чему. Есть, говорю. Она пошла к зайцу в закуток: «Ты к маме хоцис? — Хоцу. — А к папе хоцис? — Хоцу. — Ну иди». Открыла закуток, заяц убежал. Я слышала все, но и в голову не стукнуло, а он тока хвостом мелькнул, поминай как звали. Расстроилась, неделю стонала. Сын приехал, Иркин отец, на охоте убил зайца. Ирка крутится около, потом как закричит, как заплачет: «Папка, ты моего зайчика убил!» Глянули — точно, передней правой подушечки нет, уже и хрящик нарос...

Владимир Гаврилович:

— Еду раз осенью на своей таратайке на резиновом ходу. На дороге выскочила лосиха, на нее — лось. Меня увидели, самка убежала, лось

стоит, ни с места. Думаю: пойдет на меня — вместе с конем расшибет. Замер, жду. Вдруг выбежал на дорогу лосенок, который, видно, отстал. Лось пропустил его вперед и только тогда пошел следом — не торопясь, с достоинством...

* * *

Слезы радости, слезы печали...

Бабушка Федора:

— Поплачь, оно легче станет... Сердце-то, поди, черное, как чугунок...

* * *

90-летняя старушка:

— Зажилась, чей-то чужой век прихватила...

Даже здесь чисто русская черта — совестливость: не обидеть кого и своим долголетием. Как же ловко пользуются все кому не лень этой нашей совестливостью!

* * *

Один мой приятель, заядлый рыболов, говаривал:

— Лучше уха с дымом, чем дым без уха.

* * *

Что такое счастье? Любовь, удачная семья, карьера, свобода, радость бытия?.. А старики говорят: «Счастье — это когда ничего не болит...»

* * *

Кусты ракитника, как чаши, до краев налитые росой: только притронулся — и тебя оросит с ног до головы холодным душем...

* * *

Взмыл жаворонок и вот исчез, растворился в синеве, будто превратился в песню, потому что от него осталась лишь песня...

* * *

День пасмурный, все матово вокруг, будто смотришь через матовое стекло — небо чуть почернее, снег — чуть посветлее, и никаких проблем, ничто не блеснет. Свет мягкий, пушистый, такой же пушистый и мягкий снег, а сверху, лениво кружась, падают и падают снежинки.

13 декабря 1982 г., Ерестная

(Продолжение следует.)

Виталий СЕРОКЛИНОВ

ДЕТИ АЗИИ

Путевые заметки

1. Пять Франций

Когда мне, не открывая сразу всех карт, предложили побывать там, где я никогда не был и где побывать едва ли когда желал, я не смог с первого раза угадать место будущей экспедиции и опознал его только после наводки о том, что территория эта покрывает то ли пять, то ли поболее Франций и вообще — самый большой российский регион, хоть и живет тут народу меньше, чем в самой захудалой московской управе...

Именно тут, в Якутии, я впервые ощутил себя москвичом — не «четыреста двенадцатым» из детства, нет, именно столичным жителем, прибывшим из престольного града в далекую провинцию — так, как чувствуют себя у нас в Новосибирске настоящие москвичи, посетившие самоназванную столицу Сибири и взирающие на местный уклад с недоумением и умилением.

Аналогии неслучайны: расстояние от Москвы до Новосибирска примерно равно удаленности Якутска от Новосибирска, время в пути одно и то же, а тут еще и довелось лететь бизнес-классом, с его сервисом, предупредительными стюардессами, широкими и удобными креслами, фарфоровыми чашками и мельхиоровыми ложками, — после чего я вступил на землю Якутии уже совершеннейшим денди, по собственным ощущениям. Но внутренний пафос и некоторое, чего греха таить, столичное превосходство оказались быстро разбиты в пух и прах местными реалиями — очень трогательными и, как принято говорить нынче, *мимимишными*, — тут каждая деталь пейзажа выглядела какой-то простецкой и по-доброму наивной...

В аэропорту нас встретила девушка с воздушными шариками, что было неожиданно и трогательно. И хотя чуть позже выяснилось, что так встречают нас, а местных дембелей, обвешанных гроздьями самодельных аксельбантов, шевронов и знаков отличия родов войск, с собственноручно вышитыми буквами ГРУ и ВДВ на рукавах и бескозырках, было все равно любопытно присутствовать на церемонии встречи вояк, когда их сверстники, не отдавшие долг родине, первыми бросились поздравлять и хлопать по спинам, потом к сыновьям пробилась родители, а уже после, когда клубок встречающих окончательно распался, к одному из солдат подошла та самая девочка с воздушными шариками и очень осторожно, стесняясь окружающих, потерлась щекой об аксельбант — а

ее герой, весь такой брутальный, сначала нахмурился, а потом уже облапил и закружил с нею в толпе.

Таковыми же брутально-суровыми и одновременно трогательными выглядели тут полицейские с их англо-франко-немецко-русскими разговорниками и утонченным: «Мсье, к глубочайшему сожалению, этот проезд не работает, приносим вам свои извинения!», на любые вопросы за пределами разговорника на всякий случай отвечавшие вежливо-утвердительно: «Иес, оф кос!»

Полицейских в те дни тут было много — оно и неудивительно, ведь в городе и республике проходили международные детские спортивные игры «Дети Азии» — со спортсменами из почти трех десятков стран, с их тренерами и руководителями, со зрителями — не только местными, но и приехавшими, как наша делегация, из других городов и округов. Якутская полиция при этом была доброжелательна и не препятствовала полуночным гуляниям под окнами гостиницы (здесь стояли белые ночи, настоящие, почти питерские, с незаходящим круглым сутки солнцем), только отечески журила молодых спортсменов, напоминая, что утром им снова выходить на старт на стадионах и в многочисленных спорткомплексах Якутска.

История постройки этих сооружений — сюжет для отдельного и весьма трогательного эпоса. И говорилось бы в этом эпосе не о количестве свай и тоннаже бетона, уложенного в фундамент, а о совсем простых вещах. Например, в самом северном в мире спортивном легкоатлетическом манеже, когда была уже выполнена почти вся работа по его возведению и установке внутренней оснастки, узнали, что единственная (натурально — одна на всю Якутию!) толкательница ядра в республике вдруг стала выдавать на-гора невиданные ранее результаты. В спорткомплексе к тому времени было построено все для легкоатлетов — беговые дорожки разных уровней и размеров, площадки для прыжков в высоту и длину, места для разминки и тренажерные сооружения, — не было только площадки для толкания ядра, о ней даже не задумывались: зачем огород городить, если не для кого.

Теперь место для единственного в северных широтах толкателя ядра есть — персональное. Кто-то из руководства тихонько говорит, что есть еще один мальчик где-то в дальнем улусе, у него неплохие задатки для ядра, но пока об этом рано говорить, хотя новую разметку для этого юноши они уже готовят...

А еще в том же спорткомплексе задумались, чего же пустовать кольцевому внутреннему коридору вокруг манежа, и проложили там беговую дорожку, через все здание. Теперь в условиях почти девятимесячной якутской зимы местным марафонцам и бегунам на средние дистанции есть где тренироваться и не надо делить манеж со спринтерами. И все это — вот так, без пинков и руководящих указаний. Даже не верится...

И руководители, прошлые и нынешние, тут тоже какие-то «неправильные». Придумавший всю эту историю с «Детьми Азии» первый президент Якутии Михаил Николаев — единственный на моей памяти региональный руководитель, на которого не вешают всех собак после отставки и не предадут забвению. Николаева в республике чтут, построенные при его правлении дома может показать любой волонтер спортфорума, а в местной национальной гимназии есть даже небольшой музей, посвященный первому президенту — как и второму, между прочим. Теперь в этом музее, кстати, появится новый экспонат — наша с первым президентом совместная фотография. Выпросили, знаете ли, взять на хранение — пока у меня свой музей не обустроится...



Михаил Николаев — личность своеобразная, не укладывающаяся в положенные рамки официального и облеченного полномочиями чиновника. Столкнулись мы с ним совершенно случайно в той самой национальной гимназии, и бывший президент оказался интересным собеседником; он не вещал трескучими лозунгами, а признавался в промахах и искренне радовался свершению былых задумок. Например, на центральных площадях столицы Якутии ранним утром с давних пор проводится физзарядка, на которую приходят обычные люди — школьники, студенты, пенсионеры, коммерсанты и чиновники. Я не сдержался и похвалил невиданный для столицы Сибири энтузиазм, удивившись, как же люди умудряются вставать так рано — я на это решиться не могу, — на что Николаев потупился и трогательно признался: «Мы немножко заставляли поначалу...»

А потом, когда я спросил его о возрасте и удивился его семидесяти пяти годам (выглядит бывший президент максимум на шестьдесят), он похвастался, что бегаёт каждый день, потому держит форму, и хитро улыбнулся на вопрос, кто же заставляет его делать это...

Между прочим, якуты, как и вообще дети Азии, не любят демонстрировать на публике эмоции, но улыбку никогда не скрывают. Когда, например, на баскетбольном матче команд Монголии и Непала монгольские девушки, половина из которых оказалась выше меня (кто бы мог подумать такое про дочерей степей!), разгромила в пух и прах крошечных непалок, заработав более сотни очков против двенадцати непальских, монголки радовались так, что слышно было в самом дальнем коридоре спорткомплекса; им аплодировали зрители, а несчастные непалки молча стояли вокруг тренера и слушали что-то воодушевляющее про то, наверное, что, если бы Будда не помогал им, они бы и тех двенадцати очков не набрали, потому они самые лучшие, и завтра будет лучше, чем сегодня, а теперь нужно снова поверить в себя и уходить из зала с высоко поднятыми головами...

И они ушли с непроницаемыми лицами, не проронив ни слезинки, только самая маленькая из них, отстав, вдруг тихо-тихо заплакала, спрятав смуглое личико в ладонях, но, увидев новосибирского гостя, тут же выпрямилась, смахнула слезы и гордо прошагала мимо, показывая свою уверенность в будущих победах. И назавтра, я верю, эти девчонки кого-нибудь все-таки победили — не могли не победить!..

Победителей тут награждали на центральной площади города каждый вечер, в присутствии многочисленных зрителей, спонсоров и соперников. Площадь (разумеется, имени Ленина) к вечеру оказалась раскалена, не спасало даже мороженое — с ним был всего один киоск, к которому выстроилась огромная неукорачивающаяся очередь, так как то и дело пристраивались всё новые: «на нас занимали вон те борцы».

Иранские борцы, и правда, с разрешения тренера набрали полную охапку вафельных рожков, на всех, а когда проходили мимо уставшей ждать свою очередь киргизской гимнастки, такой тоненькой, что ее едва можно было разглядеть за стоящим перед ней волейболистом, один из парней протянул ей ванильное мороженое, неловко оглядываясь на друзей: не сочтут ли за слабость. Те сначала замерли и не знали, что сказать, а потом протянули всю тающую охапку опешившей от такой щедрости девочке, — и уже через минуту мороженое уплетала вся девичья половина киргизской команды, а иранский тренер одобрительно похлопывал по плечу того первого, кто решился поделиться купленной сладостью...

Вечером, уже после награждения, по площади бродил немного гротескный персонаж — веселый старичок в шаманском костюме с пучками конских волос (похожими, кстати, на те, какими обмахивают в якутском свадебном обряде молодоженов) и ключьями разномастного меха — и громко интересовался у оторопевших зрителей: «Чилдрен оф Азия?!» Все опрошенные пугались и на всякий случай отстранялись, но никто не крутил пальцем у виска: «шаман» был безобидным и даже добродушным, да и подозрений в нетрезвости совершенно не вызывал, тут ведь на время форума царил сухой закон; наконец кто-то из тех же иранских борцов на этот наболевший для старика вопрос, вздохнув, признался: «Йес, оф кос!»

2. Всё ради этого

В той поездке в далекую Якутию меня зацепила одна тема из тамошних новостей — то, как в Саха относятся к людям с ограниченными возможностями, к инвалидам. Сначала на глаза мне попался отчет местного спортивного чиновника, и в отчете отдельным пунктом были выделены паралимпийцы и сурдоспортсмены, поименно, вместе с призерами «обычных» чемпионатов, были перечислены все победители-инвалиды, с завоеванными на спортивных баталиях местами и собранными коллекциями призов. Еще тогда я задумался: а зачем это надо местной власти — возиться с теми, кто не в силах помочь себе в одиночку? Ради будущих выборов? Они вроде бы не скоро... Но тогда — зачем?..

Дальнейшие поиски убедили, что внимание к инвалидам в Якутии не разовое и не случайное: тут тебе и удобные пандусы во всех новых спортивных сооружениях и в жилых домах (а дома в Якутске необычные — стоят они на сваях, потому крыльцо подъезда расположено высоко), и широкое освещение спортивных мероприятий людей с ограниченными возможностями — так, поправляя меня, называли себя сами ребята: они не инвалиды, они обычные люди, просто возможности у них ограничены.

А еще — вроде бы мелочь, но показательно — на главной странице местного информационного сайта висела история о колясочнике, побывавшем на зарубежном турнире по бильярду. Он проиграл, конечно, но лиха беда начало — к следующему турниру он подготовится лучше... В пресс-центре молодежного спортивного форума «Дети Азии», между прочим, тоже работает колясочник — очень хороший журналист, один из лучших в городе и республике.

Но зачем все это нужно, ради чего местные волонтеры ежедневно помогают инвалидам, спортсменам и неспортсменам, навещать близких, забираться на верхние этажи домов старой постройки, не оборудованных пандусами, зачем нужна «программа пятидесяти часов», по которой каждый студент становится на эти самые пятьдесят часов помощником тому, кто сам не всегда в состоянии себе помочь? Неужели это все по велению сердца и нет тут никакого пиара и заботы о собственном руководящем кресле?.. Михаил Николаев в ответ на мое удивление пожал плечами и ответил, что никакого принуждения нет, более того, сейчас на каждое место волонтера выстроилась огромная очередь: быть волонтером среди старшеклассников и студентов почетно и престижно.

В последний день в Якутске у центрального входа в один из многочисленных спорткомплексов я увидел, как на фоне скульптуры с якутскими героями мюнхенской Олимпиады фотографируются герои нынешних игр, уставшие, взмок-

шие, но счастливые, — сил на то, чтобы самим перекатить кресло поудобнее, у них нет, и волонтеры помогают им держать строй.

А потом, на награждении, мне рассказали историю про глухонемого мальчика Женю, который вернулся восторженный с церемонии открытия прошлого спортивного форума — и заговорил!

И вот тогда я понял — всё ради этого.

3. Властитель холода

Белые якутские ночи, недолгая июльская жара и летнее солнце — все это было здорово, но мне хотелось увидеть настоящую Якутию — с морозами, буранами, лайками и строганиной. И мечты не замедлили сбыться — в декабре я оказался приглашен на местный праздник встречи зимы: тут ее любят встречать, а не провожать с блинами на столах и петухами на столбах, как у нас.

И снова Якутия начала удивлять с первого же дня...

В холода в местной университетской столовой тут прямо в зале стоит микроволновая печь — чтобы студенты могли подогреть остывшие за время ожидания в очереди первое, второе и компот; такого я не видел нигде и никогда.

Тут до сих пор очень любят истории о том, что якутяне в очередной раз попали в книгу рекордов Гиннеса — случилось это незадолго до моего приезда, с сеансом одновременной игры на местном народном инструменте; участников набралось аж больше тысячи, хвастает наш экскурсовод, честно признаваясь, что этого инструмента просто больше нигде в мире нет, потому и состоялся рекорд.

Тот же самый экскурсовод, Мирослав, на вопрос о том, есть ли в республике известные поэты и прозаики, простодушно отвечает: «Я», — а потом читает на якутском свою поэму о родине. «На якутском — потому что на нем мало кто пишет, так легче пробиться в великие», — все так же простодушно добавляет он.

Тут работник музея вечной мерзлоты показывает новое рекордное достижение местных животноводов (разумеется, тоже занесенное в книгу Гиннеса) — огромный замороженный куб молока, в котором аж сто десять литров. «Теперь — сто восемь», — меланхолично поясняет наш сопровождающий, увидев, что новосибирская делегация кинулась отколупывать ледяные куски, решив проверить, молоко ли это.

Тут страшно переживают в спорткомитете после нашего вопроса, уж не родственник ли высокому начальству некий футболист местной команды, и с облегчением — после спешной проверки — выдыхают: нет, они всего лишь однофамильцы. Тут у многих простые русские фамилии: Яковлев, Иванов, Петров... А я вздыхаю: наше начальство не так щепетильно: прежний городской спортивный руководитель не считал зазорным курировать местный футбольный клуб, куда пристроил собственного отпрыска — прямо как когда-то ливийский диктатор, пристроивший в известную итальянскую команду своего сына. Но Каддафи хотя бы был совладельцем того клуба, а местные начальники устраивали свои дела за бюджетные деньги...

А еще тут есть «Территория трезвости» — никаких шуток, совершенно серьезно: именно такую вывеску мы обнаружили на одном из домов Якутска. Даже стало как-то неловко: мы как раз возвращались с посиделки, на которой боролись с трезвостью в меру своих сил.

Тут призершу мирового чемпионата, еще даже не чемпионку, встречает почетный эскорт из республиканского начальства, министры и секретари — и в ответ она признается, что хотя тренироваться удобнее где-то там, в Венгрии или Хорватии, но домой она прилетает, несмотря на расстояния, чтобы «надышаться родиной и набраться сил» — и эти слова в ее устах не выглядят высокопарными, скорее трогательными...

Такие похвалы малой родине тут любят цитировать с высоких трибун, понимая, что наступили времена, когда регион может попытаться стать туристической меккой и полем чудес, на котором зарыты будущие неисчерпаемые доходы от приезжих, мечтающих оказаться не на истоптанных маршрутах Золотого кольца, а на нехоженных тропах загадочной Сибири и грозного Крайнего Севера.

Надо сказать, за брендинг собственных эпосов и легенд сибирские регионы взялись с огоньком. И вот уже одна область гоняется за неуловимым йети, мечтая отхватить за поимку чудовища губернаторский миллион — и погоня эта занимает умы всех тамошних журналистов, будто нет у них других новостей и проблем; другая область уже не первый год вещает об инвестиционной привлекательности и деловом, соответственно, туризме, который, нам обещают, будет основываться на инновациях, спасибо одноименному форуму и бесконечным инвестициям в него.

В Якутии поступили иначе. Там не стали устраивать облаву на мифологических существ и не пошли по накатанному пути форумов и конгрессов на высшем уровне. Якуты сделали проще — объявили свою территорию, почти наполовину располагающуюся за Полярным кругом, местом, где берет начало российская зима. Возразить тут нечего — главным сувениром, который забредшие в Якутск путешественники везут домой, является фотография на фоне местного электронного табло с выставленными на нем цифрами «забортной» температуры: «—50», «—55», а то и поболее — как кому повезет.

Нам, гостям, попавшим сюда на праздник «Зима начинается с Якутии», повезло чуть меньше. Или больше — так сразу и не скажешь. Приехали мы в самый разгар серьезного, по якутским меркам, потепления: ниже минус тридцати шести при нас столбик термометра не опускался. На улицах было много народа, особенно в тех местах, где предполагались массовые гулянья и празднества, дети катались с ледяных горок и не собирались разбежаться по домам: здесь принято считать похолоданием температуру под пятьдесят, а при сорока градусах ниже нуля даже школьники начальных классов спокойно ходят в школу и не жалуется на мороз.

А уж местной фауне и вовсе стало после потепления жарко: якутские лайки, родичи знаменитых хаски, круглогодично живут на улице. С лайками, которым комфортно в холода, даже случился небольшой международный конфуз. Некая латиноамериканка разместила после посещения этнографического комплекса «Чочур Муран» гневное видеообращение, в котором с болью в сердце сообщалось, что бедные собачки страдают, «работая 365 дней в году и засыпая при минус пятидесяти пяти градусах». Особой пыткой для собак, с надрывом вещал автор, было то, что они жили «снаружи»; снаружи чего именно — не указывалось. Лайки, по мнению дамы, были сплошь «одинокими и болезненными». Защитница животных грозно объявила, что «ситуация в “Чочур Муран” имеет преступление! Я отправлю это для всех стран, пока не заставит русских правительства, чтобы закрыть это место». В заключение сообщалось, что половина собак умирает в январе — «бездомными, без защиты и пищи»...



Мы побывали в «Чочур Муране» в начале декабря. «Одинокие и болезненные», с лоснящейся густой шерстью, здоровенные собаки катали туристов на санях и ластились ко всем подряд. Даже я, с опаской относящийся к собакам, не выдержал и погладил лайку, заодно узнав, что это исключительно ездовая порода — как и хаски, они совершенно непригодны для охраны жилища, поскольку не могут относиться агрессивно к человеку, разве что залижут грабителя до обморока шершавым языком. И жить в теплом помещении они тоже не могут, такая уж у них планида. А уж чего им помирать в самый разгар зимы, в январе — совершенно непонятно, пусть это останется на совести тепло- и собаколюбивой бразильянки, которую в комментариях к размещенному видео именуют «папуаской».

«Чочур Мураном», с его собачьими упряжками и меню с экзотической для нас жеребятиной во всех видах и частях, от желудка до печени, и строганиной, о которой рассказ еще впереди, наши этнографические познания не ограничились. Оказалось, что такие центры открываются в Якутии все чаще и чаще, каждый из них не похож на другой, и если в одном в приоритете катания на лайках и экзотический обед, то в другом — изгнание злых духов и обретение удачи в делах и любви. После обрядов, проведенных над нами в этнографическом комплексе семьи Атласовых под названием «Ус кут», я, как и было сказано местным шаманом и по совместительству хозяином, не снимал подаренного оберега несколько часов и по совету того же шамана загадал желание, положив руку на местного «куриного бога» — камень необычной формы. Потом, тайком от других, я спросил хозяйку, а можно ли загадать второе желание, если не для себя — и теперь жду его реализации, так как первое, похоже, начинает сбываться, тьфу-тьфу-тьфу.

А потом был фестиваль строганины — серьезное, городского уровня, соревнование, на котором мороженую рыбу свежего улова команды, состоящие, как правило, из семейных пар (особенно порадовало представление участников, с позабытыми именами и отчествами, с непривычными и прекрасными сочетаниями: Спиридон Иванович, Василий Тимофеевич, Василиса Пахомовна), должны напластать так быстро, чтобы уложить из нарезанного горку определенной высоты раньше всех.

Позже, продолжив праздник в одном из ресторанов Якутска, мы попали на выступление местных популярных певцов — и если имя Юлианы, мастера игры на варгане, необычном национальном язычковом инструменте, я уже знал, потому не удивился восторгам публики, то о том, что паренек на сцене является чуть ли не самым лучшим певцом Якутии и собирает многотысячные толпы зрителей даже в отдаленных улусах — это было открытием. А столичные участники пресс-тура даже предрекли местному певцу международную карьеру, если попадет в руки грамотным продюсерам, умеющим раскрутить колоритного исполнителя...

Между прочим, после дегустации строганины и культурной программы мы успели побывать на алмазном производстве, и мировой рынок бриллиантов теперь ждет сенсация: алмазный шедевр, отшлифованный лично мной, — жди обвала своих акций, De Beers!..

А после мы наконец-то увидели праздник начала зимы, когда Чысхаан, властитель холода из якутских преданий (единственный известный мне представитель мужского племени, рога которого растут от мороза, а не от известных семейных неурядиц), передал Деду Морозу, приехавшему специально из Ве-

ликого Устюга, символ этого самого холода, — а вокруг были дети, множество детей, но никто не мерз даже в лютый мороз, а порядка было больше, чем на некоторых отрепетированных парадах, — и когда где-то в сторонке потерял своих родителей мальчуган, их немедленно отыскали, не поднимая паники, просто потому что тут все друг друга знают, а если не знают, то помогут даже незнакомцу, как не раз помогали мне...

Мы возвращались в гостиницу уже затемно; а за окном автобуса катались с ледяной горки дети (одна такая горка готова принять детей и взрослых даже летом — в музее вечной мерзлоты, устроенном в большой шахте, где температура держится летом и зимой около десяти градусов ниже нуля), не обращая внимания на крепчающий мороз. И я подумал: а что держит тут всех этих людей, что заставляет не ехать за лучшей долей и не бросать эту землю, терпеть ее климат и прочие обстоятельства вроде географической удаленности от всего и вся — коренных, от простого табунщика, катавшего нас на лошадях, до замминистра, рассказывавшего, как каждый февраль приходится выезжать на собаках и вертолетах, на снегоходах-«буранах» и черт еще знает на чем в дальние улусы с отчетами; приезжих — от питерца Миши, совершеннейшего русака, цитирующего якутских классиков, до «заглянувшего на недельку» саратовца-водителя, да так и осевшего, влюбившегося в Якутск и одну из красавиц-горожанок?..

И ответ на этот вопрос я неожиданно получил, когда задал его нашей провозжатой, Оле, *сахалярке* — так здесь называют детей от смешанных браков, где папа якут, а мама — другой крови. Оля, родившаяся и выросшая в Якутии, призналась, что посмотреть мир ей интересно, кто ж от такого откажется, но возвращаться она хотела бы только сюда — потому что здесь ее дом.

И я тогда почти все понял про эту землю. Но обязательно приеду сюда еще раз. И еще. И еще... Потому что, кажется, мы с этим городом и этими людьми теперь тоже не чужие.



Владимир ШАМОВ

ХРОНИКА ВОЕННОГО ГОРОДА*

Фрагменты из будущей книги

Год 1944-й

Откуда берется мужество? Откуда берется стойкость? Откуда берутся силы? Третий год идет война. Похорошки, похорошки, похорошки. Недоедание. Труд с утра до ночи. Но город живет, кует победу, находит силы для улыбки и творчества.

В Новосибирске 7 126 доноров. Александра Прокопьевна Зимина за годы войны сдала 23 литра крови! Они — люди, отдающие свою кровь, — собрали 72 тысячи рублей для постройки самолета «Донор Сибири». Низкий поклон вам от потомков, земляки!

Жены фронтовиков, личный состав Ипподромского военкомата, собрали 12 487 рублей наличными и 8 805 рублей облигациями на строительство самолетов и 25 тысяч рублей в фонд помощи детям и многодетным. 180 тысяч рублей для этих же целей собрали повара, официантки, раздатчицы новосибирских столовых; учащиеся 26-й школы — 20 тысяч рублей.

Радостно принимались вести с фронта. Двадцатилетний сибиряк Женя Евсеев пленил самого Бисмарка! «Советская Сибирь» 12 января поведала, что на одном из участков фронта безнаказанно летал немецкий ас, окрещенный бойцами «Черным бароном». Наш летчик посадил немца и взял в плен. Им оказался правнук «железного канцлера» Бисмарка.

8 февраля 1944 г. Президиум Академии наук СССР одобрил основные предложения комиссии А. А. Скочинского и принял постановление «Об организации Западно-Сибирского филиала АН СССР». Председателем Президиума ЗСФАН был утвержден А. А. Скочинский, его первым заместителем — профессор К. Н. Шмаргунов, вторым — доцент А. Г. Логвиненко, ученым секретарем — Г. И. Малкин. Директорами институтов назначены: Горно-геологического — доктор технических наук Н. А. Чинакал, Транспортно-энергетического — доктор технических наук И. Н. Бутаков, Химико-металлургического — доктор технических наук Ю. В. Грдина, Медико-биологического — доктор биологических наук В. В. Реведратто.

Руководителем филиала неслучайно стал Александр Александрович Скочинский. Сам в прошлом сибиряк, крупнейший специалист в области горного дела, он прекрасно осознавал громадные возможности и перспективы Сибири. В течение первых пяти лет он руководил филиалом, отдавая ему все свои знания и организаторский опыт.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 3.

Новый филиал представлял собой комплексное учреждение с региональной ориентацией исследований. В сферу влияния филиала включались Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области и Тува. Городские власти выделили филиалу здания фельдшерской школы по ул. Фрунзе и по ул. Мичурина, освобожденные из-под госпиталей. В здании на ул. Фрунзе (теперь на этом месте имеется мемориальная доска) были размещены институты, а здание по ул. Мичурина было определено под квартиры сотрудников.

Коллектив ЗСФАН формировался главным образом за счет кадров сибирских (в основном томских) научно-исследовательских учреждений и вузов. Исключение составил Химико-металлургический институт, которому была передана Новосибирская комплексная химическая лаборатория.

Хотя молодой филиал в Новосибирске постоянно ощущал заботу Академии наук, тем не менее решение кадровой проблемы полностью зависело от самого филиала. Совет филиалов и баз АН СССР предложил руководителям ЗСФАН развернуть работу по воспитанию собственных кадров. Уже в январе 1945 г. филиал инициировал проведение первой в Новосибирске конференции молодых ученых. Оргкомитет конференции возглавил Николай Андреевич Чинакал. В работе конференции приняло участие более 300 человек из вузов, отраслевых и академических НИИ. Было среди участников конференции немало студентов, которые впоследствии связали свою жизнь с наукой.

5 мая объявили о выпуске облигаций третьего Государственного военного займа, уже к 10 мая новосибирцы подписались на 180 миллионов рублей.

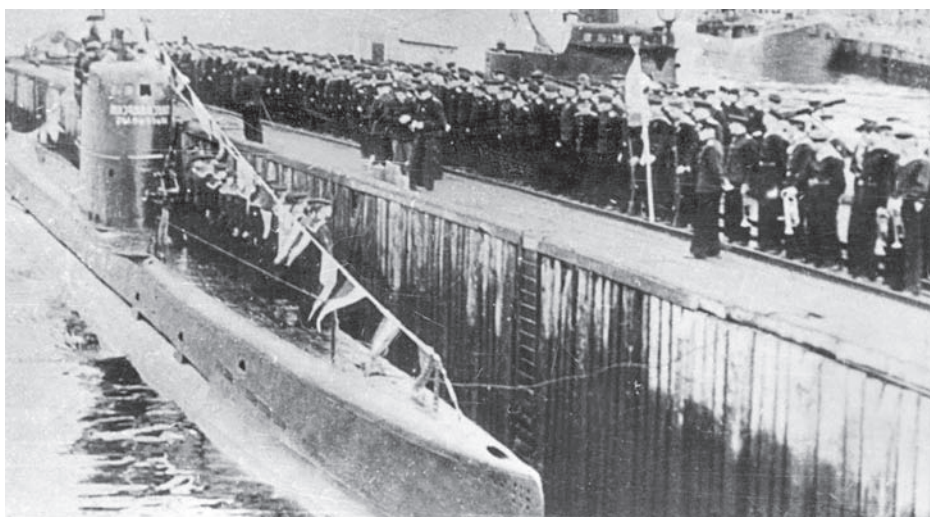
17—18 июня в городе проходил второй областной съезд молодых рабочих. Эх, как именовали 13-, 14-, 15-летних мальчишек и девочек! Они были объединены в 3 612 бригад, 23 тысячи из них выполняли нормы на 150 %, 13 тысяч — на 300 %. Это наши дедушки и бабушки, теперь, наверное, уже с приставкой «пра».

13 августа наша область приобрела современные границы. Президиум Верховного Совета СССР своим указом выделил из Новосибирской области группу районов и образовал Томскую область, а нам передал четыре района из Алтайского края.

Радость в городе. Новосибирцы узнали, что **19 августа** первым трижды Героем Советского Союза стал воздушный ас, наш земляк, гвардии полковник Александр Покрышкин. 21 августа состоялся общегородской митинг. Выпускник фабрично-заводского училища при заводе «Сибсельмаш», став летчиком-истребителем, совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично 59 и в группе — 6 самолетов противника.

Горе и радость всегда идут вместе, а в годы войны они тесно прижимаются друг к другу. **8 октября** погибла на латвийской земле героическая женщина — Ольга Васильевна Жилина. Восемь раз была ранена, награждена боевыми орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени (посмертно) эта тридцатилетняя медицинская сестра. Ее именем названа улица в нашем городе.

19 ноября состоялся салют. Город торжественно отмечал День артиллерии. Новосибирск осознавал приближение победы. Сессия горсовета в июле заслушала вопрос о санитарном состоянии города, а в сентябре объявила конкурс на лучшую застройку центра, хотя в то же время приходилось объявлять конкурс на лучшую выпечку хлеба из картофеля без примеси муки.



Делегация трудящихся НСО передает Северному флоту подводную лодку «Новосибирский комсомолец». 1943 г.

Трамвайный трест начал работы по соединению 6-й и 7-й трамвайных линий, из центра города теперь можно было попасть на улицу Дуся Ковальчук, и дальше трамвай шел за речку Ельцовку.

От года к году оживала культурная жизнь города. Деятели культуры и искусства тоже работали на победу: за 32 дня пребывания на Северном флоте агитбригада клуба имени Клары Цеткин дала 86 концертов. Североморцы наградили ее худрука А. Емельянова значком «Почетный подводник». **16 января** открылась городская художественная выставка «Сибирь — фронту». На ней было представлено 150 работ художников Ликмана, Смолина, Якубовского, Самохвалова, Фокина, Титкова, Левина и других; **16 марта** в Доме науки и техники открылась архитектурная выставка проектов застройки города; вернулся после двухлетнего отсутствия из Анжеро-Судженска к себе домой ТЮЗ. **22 июня** он дал спектакль по пьесе Шекспира «Комедия ошибок» в постановке П. В. Цетнеровича. На гастроли к нам прибыл Ленинградский фронтальной цирк. Прощальный концерт Ленинградской филармонии под руководством Е. Мравинского состоялся **3 августа** в клубе имени Клары Цеткин. 5 220 концертов дали артисты филармонии за время пребывания в Новосибирске, в том числе симфонический оркестр — 538. Уехал на родину и Ленинградский ТЮЗ, 952 спектакля сыграли артисты в Сибири, 549 тысяч зрителей побывало на них. Попрощался с городом и филиал Третьяковки. Ее сотрудники организовали 20 выставок, на которых побывало около 500 тысяч человек, прочитали 1 500 лекций для 80 000 слушателей.

Несмотря на военное время, в городе осуществлялась школьная реформа. Дети начинали теперь учиться с семи лет, введено было обязательное воинское обучение, установлены экзамены на аттестат зрелости, утверждены золотые и серебряные медали, увеличена заработная плата учителям. Для тех, кто ушел в начале войны на производство, были созданы первые четыре школы, в которых обучение велось без отрыва от производства. При заводе «Тяжстанкогидропресс» открыли первый в городе вечерний техникум. Он набрал 100 учащихся, которые могли стать либо техниками-технологами, либо техниками-механиками. **13 марта** открылся электротехникум в школе № 52 по улице Добролюбова

на 300 учащихся. 250 стипендий по 100 рублей учредил обком комсомола для детей фронтовиков.

31 августа в Новосибирске создали Институт мер и измерительных приборов, теперь это Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии.

В середине года в городе побывал необычный гость — вице-президент США Генри Уоллес. Он встречался с интеллигенцией, говорил на русском языке и восторгался трудовым героизмом новосибирцев.

Сибиряки действительно приближали победу.

Год 1945-й

Победа витала в воздухе, наполняя силами изможденных людей. Но для того, чтобы она состоялась, еще требовались жертвы, героизм, воля, и не только на полях сражений. Это понимали сибиряки.

10 тысяч пар армейских ботинок и сапог сверх плана выпустила в подарок фронтовикам к 27-й годовщине Красной армии обувная фабрика имени Кирова.

5 731 книгу отправили новосибирцы в освобожденные районы страны.

В январе состоялась первая конференция молодых ученых; повестка дня: «Задачи ученых в развитии производительных сил Сибири».

В клубе им. Сталина, при переполненном зале, состоялся концерт оркестра Театра оперы и балета под управлением дирижера Л. Гинзбурга.

Первый междугородний хоккейный матч на катке стадиона «Динамо» прошел между командами Новосибирска и Омска, боролись за кубок СССР. Наши победили уверенно — 3:0.

Новосибирцам стало известно, что **11 апреля** в лагере смерти Бухенвальде узники подняли восстание и освободили лагерь. Восстанием руководил международный антифашистский комитет, членом которого, а также руководителем русского подполья был новосибирец — сержант-пограничник Н. С. Симаков. (После войны он вернулся в родной город, где жил и работал.)

9 мая — День Победы! Всеобщее ликование. Столько народа никогда не было на Красном проспекте. Митинг на площади у здания облисполкома. На балкон выходит первый секретарь обкома партии Михаил Васильевич Кулагин. Он обращается к землякам с короткой речью, в которой каждое слово западает в душу:

«Дорогие товарищи, друзья, деды, отцы, матери, сестры, жены, дети, героические труженики, славные сибиряки!..

Нельзя словами выразить переживаемые чувства. Этот день войдет в историю многих веков, многих поколений.

Сибиряки с честью вынесли на своих плечах тяжесть Отечественной войны. Никогда наша мать-Родина, наш народ не забудут своих славных сынов, героев, отдавших жизнь за Отчизну. Слава воинам-сибирякам!

Сегодня на нашей улице праздник. Торжествуй и славь Победу, народ-победитель!..»

И торжествовали и славили. Радовались, плакали и снова радовались. Перед собравшимися на улице впервые выступил Сибирский русский народный хор под руководством собирателя фольклора Сибири Н. П. Королькова.

**Митинг
 на площади
 им. Свердлова
 9 мая 1945 г.**



10 мая эстафету Дня Победы приняла первая сессия Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, в которой участвовало более 300 ученых. Символично. За наукой будущее.

12 мая. Надо только себе представить: на третий день после победы в жесточайшей, изнуряющей войне торжественно открывается Новосибирский государственный театр оперы и балета. Первым спектаклем была опера М. И. Глинки «Иван Сусанин». До конца победного года новосибирцы увидят еще четыре премьеры: «Евгений Онегин» Чайковского, «Кармен» Бизе, «Травиата» Верди и «Запорожец за Дунаем» Гулака-Артемовского.

За творческое служение Отчизне в годы войны звания заслуженных артистов РСФСР были присвоены главному дирижеру Театра оперы и балета И. А. Заку, артистам В. П. Арканову, А. Ф. Кривчене, В. И. Макарову, главному режиссеру театра «Красный факел» В. П. Редлих, артистам Е. Г. Агароновой, К. Г. Гончаровой, М. Ф. Кирикову, Н. Ф. Михайлову, М. М. Халатовой.

Торжественным пленумом горкома комсомола закончился победный май. Бархатное Красное знамя в награду от ЦК ВЛКСМ получило молодое поколение новосибирцев. Они **10—11 июня** собрались на третий съезд молодых рабочих и рапортовали о своих трудовых достижениях.

70 вагонов отправляют новосибирцы в подшефный разрушенный войной Воронеж. В них — строительные материалы, оборудование. Председатель Воронежского горсовета В. Нестеров специально приехал в Новосибирск, чтобы передать братский привет новосибирцам, благодарность от воронежцев.

Июль 1945 года. Наконец-то эшелоны с армиями не уходят из Новосибирска, а приходят в него. Снова праздник и ликование. Духовые оркестры, нарядные женщины, крепкие объятия, радость, смех, песни, пляски, звуки гармони и... слезы. Такова уж суть Победы: «радость со слезами на глазах».

Победа во всем. В том светлом июле в Новосибирск прибыла комплексная экспедиция Ленинградского отделения всесоюзного треста «Гидроэнергопроект» и в районе села Нижние Чёмы начала изыскания для строительства Новосибирской ГЭС. Обь будет работать на город.

15 августа Совнарком СССР принял решение о сооружении в Новосибирске картинной галереи и на проектные работы выделил 200 тысяч рублей. Молочный завод восстановил производство эскимо, сэндвичей и брикетов —

3,5 тонны мороженого в сутки. Появились на прилавках магазинов сладкие и соленые сырки с цукатами.

Снова тревога в душах людей: идут эшелоны на восток, проходят митинги на заводах — война с Японией. Но уже **5 сентября** город празднует победу над врагом. Как людям хотелось, чтобы это была последняя война!

В Кировском районе создается детский дом для 240 детей, эвакуированных из Ленинграда, детей инвалидов войны и погибших фронтовиков. Открывается педагогический класс в 50-й женской школе.

Город учится жить мирными заботами.

В качестве послесловия

Под городом Белым, у села Клемятино Тверской области, есть братская могила, в ней лежат тринадцать с половиной тысяч наших земляков. Когда в 1982 году мы вместе с художником-монументалистом Александром Сергеевичем Чернобровцевым и зампредом горисполкома Али Халиловичем Алиджановым первый раз побывали в этих местах, нашим поводырем был местный руководитель, мальчишкой партизанивший в этих краях. Вышли на поле, через которое шел в первую свою атаку Сибирский добровольческий корпус, шел против отборных немецких дивизий, чтобы создать видимость генерального наступления наших войск и не дать немцам увести свои силы под Сталинград. Секретарь райкома обратился к нам: «Возьмите каждый в обе ладони землю с поля». Мы наклонились к свежей пашне и зачерпнули по горсточке русской земли, которую отстаивали от врага отцы и деды. И у каждого в ладонях, когда осыпалась земля, остался ржавый металл. «Можете сделать это в любом месте — результат будет одинаковый, — сказал он, и его слова отозвались горьким эхом в нашем ошеломленном сознании. — Вот через такой плотности огонь шли ваши земляки».

Война выковала невиданной силы и крепости патриотизм. Души подростков, стоявших у станков, часто на ящиках из-под снарядов, были неприступными крепостями, которые так и не удалось взять врагу. Снарядов в нашем городе было изготовлено в два раза больше, чем выпустила вся промышленность дореволюционной России в Первую мировую войну — с 1914 по 1917 год.



Раненые
 22-й палаты
 госпиталя
 № 1237.
 Новосибирск,
 1942 г.

15 797 самолетов взлетело с аэродрома Чкаловского завода. Четыре миллиона комплектов обмундирования сшили новосибирские женщины. Шорно-седельная фабрика обеспечила амуницией один миллион бойцов и 30 кавалерийских полков. Шесть бронепоездов отправили на фронт наши железнодорожники, 80 военно-санитарных поездов, укомплектованных нашими медиками, курсировали между фронтом и тылом. 26 военных госпиталей разместились в зданиях школ, институтов и предприятий, в них вылечили 218 611 раненых солдат и офицеров, 55 000 хирургических операций сделали наши врачи, 17 500 переливаний крови.

Я был знаком, и горжусь этим, со многими земляками, совершившими подвиг во имя Родины. Полковник Андрей Сергеевич Ширяев, комиссар 22-й гвардейской. Это и его усилиями формировались все сибирские добровольческие дивизии, это по его инициативе строились в городе и на местах боев многие мемориалы, на последнем из них, воинском кладбище, он выбрал место и для себя, между двух высоких берез.

При открытии мемориального кладбища, во время торжественного митинга, когда в тишине военный оркестр заиграл гимн Родины, все услышали, как упали костыли. Это вышел из своей инвалидной машины «сибирский Маресьев» — писатель, публицист Николай Мейсак. Он не мог сидеть в машине, когда звучит гимн, а вот с костылями не справился, так и стоял, ухватившись за дверцу автомобиля. Когда же сам подошел к микрофону, то произнес такие слова (кажется, помню дословно): «Слеза катилась по остывающей щеке молодого солдата, это душа прощалась с телом воина-богатыря». И снова непредвиденное сценарием торжества происшествие: не выдержал напряжения высокой минуты и упал в обморок курсант военного училища, стоявший в почетном карауле.

Нина Ивановна Никулькова, в прошлом директор двух наших театров — «Красного факела» и ТЮЗа, — невысокая, умная, с добрыми глазами женщина. Это она и тысячи ее сверстниц вытаскивали снаряды, еле дотягиваясь до станков с подставленных ящиков...

Война оставила Новосибирску десятки заводов и высокую культуру лучших творческих коллективов страны — и унесла жизни тысяч людей.

Символом Победы в нашем городе стал Театр оперы и балета. Его грандиозное здание говорит о величии народного подвига. Трудно поверить, что всего через три дня после капитуляции фашистской Германии здесь у нас, в далекой Сибири, открылся свой Большой театр. Он стал и символом новой жизни для народа-победителя. Символичными кажутся в звуках победного гимна и первая сессия Западно-Сибирского филиала АН СССР, и решения о строительстве таких объектов, как картинная галерея, ГЭС, ботанический сад, и многое, многое другое: новое, первое, устремленное в будущее.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ

Игорь МАРАНИН
Константин ОСЕЕВ

ГОРОД КРАСНОГО СОЛНЦА

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сибирских огней»!

Авторы книг постоянно забывают здороваться, спеша поведать свою историю. Особо невежливые даже аннотаций не пишут: разбирайся, мол, сам, что спрятано под обложкой. Мы — люди старой авторской закалки, временем читателя дорожим, а потому согласны потратить немного своего и рассказать, о чем наша книга.

«Город красного Солнца» — вторая из книг цикла под общим названием «Пять исчезнувших городов». Почему мы считаем, что Новосибирск исчезал пять раз, как он становился каждый раз новым городом, когда это происходило и каковы причины всех этих превращений — об этом вы прочитаете в книгах этого цикла.

«Город красного Солнца» охватывает период с 1921 по 1941 год и включает в себя четыре больших раздела: первый — о проектах «идеального города» социалистов-утопистов и архитекторов-новаторов; второй — о том, почему и как именно Новониколаевск стал столицей Сибирского края; третий — о попытках разработать план социалистической реконструкции и построить в Новосибирске город будущего; четвертый — о жизни горожан: их мечтах, заботах, увлечениях и быте.

Представляем на суд читателей «Сибирских огней» несколько отрывков из книги.

Человек, который перевез столицу в Новониколаевск



**Владимир
Михайлович Косарев**

«Роста выше среднего, худощавый, шатен, волосы на голове острижены под польку, усы небольшие, подстриженные, бороду бреет; одет — черный пиджак, серые длинные брюки, сорочка черная “фантазия”, светлая касторовая шляпа» — это описание внешности ссыльного Владимира Михайловича Косарева из полицейской ориентировки 1913 года, составленной после побега его из Колпашева. Искали его по всей Западной Сибири — в Томске, Барнауле, Бийске, Новониколаевске:

Владимир Михайлов Косарев произведенными розысками на жительстве в городе Ново-Николаевске не обнаружен, за возможным его появлением в городе наблюдение установлено.

(Из рапорта полицмейстера города)

Мог ли вообразить полицмейстер, что пройдет всего восемь лет и человек в черной сорочке «фантазия» и светлой касторовой шляпе станет новониколаевским губернатором? В 1921—1922 годах, после перевоза всех центральных сибирских учреждений из Омска, Косарева назначили председателем Новониколаевского губисполкома.

Сын маляра и ткачихи из Подмосковья, Владимир рано пошел работать и уже в 16 лет примкнул к социал-демократическому движению. В РСДРП он состоял со дня ее основания. Организовывал стачки, раздавал листовки, выслеживал провокаторов охранки. Свои собрания молодые рабочие часто маскировали под обычную пьянку:

Собирались кружковцы и на квартирах семейных рабочих. Ставился самовар, поблескивала на столе и бутылка водки, стопочки, закуска — все как полагается. Гармошка с гитарой — в полной готовности. Если пожалуют незваные гости — собрался на пирушку; вон Петруха сапоги новые приобрел — обмыть надо. Изучали «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, «Развитие научного социализма» Ф. Энгельса, «Чего хотят социал-демократы» Г. В. Плеханова, ленинские работы...

(В. Флеров. «В. Косарев. Жизнь — подвиг»)

Представляете себе эту картину? На столе — бутылка. На тарелках — закуска. Сидят рабочие и, не обращая на все это внимания, читают «Развитие научного социализма». Жизнь — подвиг, правильно товарищ Флеров книгу назвал.

Не раз и не два арестовывался Владимир Косарев. В 1907 году он был выслан в Нижний Новгород, где смог устроиться на работу только служителем в психиатрическую лечебницу. И тут ему поступило предложение от товарищей по партии поехать в Италию, на о. Капри, где была открыта партийная школа. Уезжал молодой революционер с тремя товарищами: в целях конспирации договорились в поезде не общаться, а встретиться в г. Кременце на конспиративной квартире у акушерки. Передали пароль для связи, им оказалась фраза: «Моя жена родила тройню». Каково было удивление прислуги, когда к акушерке подряд зашли четверо мужчин и каждый сообщил, что жена его родила тройню!

Европа поразила молодых российских революционеров:

Вена блистала тогда своей пышностью, красотой и немецкой аккуратностью. Но, проживши неделю, мы не увидели ни одного рабочего. По улицам всегда движутся тысячи людей, однако по их одежде не заметно, чтобы среди них были рабочие. Все одеты в сюртуки и в котелках. Пришлось задать соответствующий вопрос одному из постоянно живущих здесь эмигрантов. Тот посоветовал нам встать пораньше утром и пойти за одним из проходящих с узелком... Мы последовали его совету. Утром стали следить за одним из таких прохожих. Он на наших глазах зашел в один из магазинов, снял свой сюртук и котелок, надел халат вроде тех, которые у нас носят доктора, вынес ведро с краской и стал красить стену магазина. Тут мы убедились, что европейского рабочего трудно отличить от буржуа по покрою его одежды.

(В. Косарев. «Партийная школа на острове Капри»)

В Вене по музеям их водил Л. Д. Троцкий, на острове Капри читали лекции А. В. Луначарский (будущий нарком просвещения), М. Н. Покровский (будущий патриарх советской исторической науки), А. М. Горький и другие известные деятели социалистического движения.



После возвращения на родину шесть лет (с несколькими перерывами на побег) Косарев провел в сибирской ссылке — в Нарыме, Колпашеве, Томске. Выдержать ссылку мог не каждый, часто она ломала людей. В «Воспоминаниях о Нарымской ссылке» Владимир Михайлович описывал интересный случай: один из ссыльных по фамилии Толпоров ушел в тайгу и перестал с кем-либо поддерживать отношения. Отмерил себе участок, где побольше кедра, и не пускал даже местных, когда они приходили шишковать. «Живет как зверь, к себе близко не подпускает», — рассказывали крестьяне. Весной 1916 года отшельника призвали в армию, на войну. Волей-неволей ему пришлось вернуться в поселок, где проживали ссыльные:

Впервые он появился и зашел к нам. Помню, пригласили его обедать. Все сели за стол, а он не решился, сидел в стороне. Наконец, после настоячивых предложений, он сел и сознался, что он отвык от накрытого стола.

— Я ведь шесть лет не видел ни вилок, ни тарелок. Все это кажется мне диким, я не знаю, как начать есть.

(В. Косарев, «Воспоминания о Нарымской ссылке»)

После войны Толпоров... снова вернулся в тайгу! Ему там было хорошо, он жил в полном одиночестве, но судьба распорядилась по-своему. Во время Гражданской войны, когда пришли белые, Толпоров вышел из леса, собрал отряд и стал с ними воевать. Во время одной из стычек с колчаковцами он и погиб. Жизнь Владимира Михайловича Косарева сложилась более ярко: он был одним из трех «отцов-основателей» Сибревкома, возглавлял Чекатиф и победил страшную эпидемию, охватившую Новониколаевск и другие города Западной Сибири. Позже уехал в Москву, где работал в партийных контрольных органах и в руководящих органах ткацкой промышленности. Все-таки он был не только сыном ткачихи, но и сам в юности работал на знаменитых ткацких фабриках Дюфурмантеля. В 1941 году Косарев ушел в связи с болезнью на пенсию, а умер в год Победы — в 1945-м.

Необычные чекисты и разгрузка города

Перевод нескольких тысяч человек резко обострил в Новониколаевске и без того тяжелую ситуацию с жильем. Чиновникам нужны были квартиры — и 1 июля 1921 года комиссия Сибревкома по переводу сибучреждений принимает решение о принудительном выселении из города «элемента, не занятого общественным трудом». В первую очередь «лиц буржуазного происхождения, прибывших в город с запада в период Колчаковщины». Иными словами, одни «понаехавшие» выгоняли из города других «понаехавших»:

В целях создания квартирного фонда для размещения прибывающих в г. Новониколаевск Сибучреждений и их сотрудников с семьями Чрезвычайной Жилищной Комиссией приступлено к срочной разгрузке города от элемента, не занятого общественным трудом и не связанного близким родством с трудящимися гражданами, работающими и проживающими в пределах города, за исключением семей красноармейцев, а также лиц, имеющих заслуги перед Советской властью и представивших о том документальные доказательства.

Примечание: близкими родственниками считаются отец, мать, муж, жена, сын, дочь, брат и сестра.

Для безапелляционного решения всех вопросов по разгрузке города при Ч.Ж.К. организовать из представителей Ч.Ж.К., Отдела труда Исполкома ВЦСПС, Сиббюро Р.К.П. и Рабкрин Комиссию, в обязанность которой вменить исполнение следующих работ:

1. Выселение из города:

а) семей, в коих нет ни одного члена, состоящего на службе в советских учреждениях и предприятиях;

б) одиночных самостоятельно живущих граждан, не работающих в означенных учреждениях и предприятиях;

в) граждан низкой квалификации, имеющих более 3-х нетрудящихся членов семьи.

Примечание: 1) Из указанных в данном пункте граждан в первую очередь выселяются лица буржуазного происхождения, прибывшие в город с запада в период Колчаковщины и в течение первого месяца Советской власти в городе с востока.

Примечание: 2) Поступление на службу после 20-го июня сего года, т. е. после рассылки Ч.Ж.К. повесток о выезде из города, не останавливает выселения.

2. Выселение инвалидов труда и войны, как семейных, так и одиноких производится в последнюю очередь.

3. Рассмотрение подаваемых гражданами заявлений об оставлении в городе, руководствуясь при этом передаваемым Ч.Ж.К. материалом и обязательно знакомясь с делом путем личных опросов заявителей.

4. Выполнение вынесенных решений о выселении в трехдневный срок, пользуясь при этом аппаратами Ч.Ж.К., Райзнака, Чека и Милиции.

В связи с вышеизложенным под личной ответственностью начальствующих лиц, без разрешения Комиссии по разгрузке, категорически воспретить прием на службу приезжающих в город граждан, указанных в абзаце в) пункта 1.

(«Советская Сибирь», 1921, 5 июля)

Дорого обошелся перевод столицы из Омска многим новониколаевцам — их просто выселили из города, а квартиры предоставили чиновникам различных сибирских ведомств. То-то радовались, например, в Сибпочтеле:

Из беседы с заместителем уполномоченного Наркомпочтеля выяснилось, что работа в Сибпочтеле со времени переезда его в Новониколаевск улучшилась и расширилась. В Омске работа тормозилась отсутствием подходящего помещения, а вследствие этого и небольшим кадром работников. Здесь Сибпочтель в достаточной мере устранил эти недостатки... В частности, в Новониколаевское отделение было переброшено 52 человека.

(«Советская Сибирь», 1921, 3 июля)

52 семьи сибпочтельцев — это как минимум 52 выселенные из Новониколаевска семьи. Учитывая, что почта и телеграф — не первые в списке «сибов», вполне возможно, что это коснулось как раз тех инвалидов, выселение которых производилось в последнюю очередь. Ч.Ж.К. через газету «Советская Сибирь» от 5 июля 1921 года предупреждала горожан, что приступает к немедленному насильственному выселению и разъясняла порядок ононого: всем лицам вручаются повестки, по которым они должны в трехдневный срок покинуть свои дома или обжаловать решение, лично явившись в Комиссию. На третий день после вручения повестки «жилищные чекисты» принудительно перевозили не желающих или не успевших выехать горожан в Переселенческий пункт для дальнейшего их выселения за пределы Новониколаевского уезда. Тем, кто со-



глашался добровольно покинуть город и выехать в другие города, районные жилищные коменданты предоставляли перевозочные средства. Если добровольцы переселялись недалеко — в пригороды, бесплатный транспорт им не полагался.

Новониколаевский жилищный кризис был столь тяжел, что одной разгрузкой города решить его было невозможно. Чиновников худо-бедно вселили, но куда было девать новых? Через год — в августе 1922 года — губисполком принял решение о переходе всех свободных жилых площадей города (включая площади в частных домах) под свой контроль. В столицу Сибири переезжала новая партия совслужащих — работники Правления железных дорог Сибири. Новониколаевцы, согласно решению властей, подлежали уплотнению, и если имели площадь более 16 кв. аршин (примерно 8 кв. м.) на человека, то должны были немедленно о том сообщить. Утаивших эти важные сведения ждал арест до 30 суток или штраф в 5 тысяч рублей.

Сталь-город

*...Нам Сталин дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.*

Из песни

Мало кому известно, что слова про сердце-мотор и стальные руки — не совсем аллегория. Сделать их былью предлагал человек удивительной судьбы — Алексей Капитонович Гастев, революционер, руководитель боевой дружины, поэт и один из зачинателей научной организации труда в нашей стране. Он работал слесарем в Париже, переписывался с Генри Фордом, писал и издавал стихи и несколько лет своей жизни отдал Новониколаевску. После бегства из ссылки в 1914-м он нелегально проживал в нашем городе до февраля 1917 года под фамилией Васильев. Беглец, разыскиваемый по всей стране, не забился в какой-нибудь темный уголок Нахаловки, куда даже полиция не рисковала заходить, а жил у всех на виду — более того, сотрудничал с газетой «Голос Сибири» и часто бывал в Военном городке, где вел агитацию среди солдат. В 1919-м он вернулся в Новониколаевск из Петрограда и некоторое время служил начальником городского уголовного розыска. Но уже в 1920 году уехал в центр и создал Центральный институт труда. Вот тогда-то Алексей Капитонович и написал фантастическую повесть, в которой выдвинул идею постепенного превращения человека живого в человека механического. Вот как о ней рассказывал А. В. Луначарский, близко знавший Гастева:



**Алексей Капитонович
Гастев**

Человек — это, так сказать, несовершенное существо, выросшее нерационально, и он, так сказать, никуда не годится по сравнению с машиной — машина ведь строится на основе математических, механических, физических вычислений. И т. Гастев мечтал о том, что в конце концов наше быстро стареющее и легко болеющее сердце будет заменено стальным сердцем, а может быть, и весь человек будет заменен машиной. Во всяком случае, машины играют в его фантазии такую роль, что в конце концов делают человека со-

вершенно излишним. Они притом гораздо счастливее человека — не испытывают никакой боли, работают по велениям творческих законов, — беда только в том, что машины не могут сами размножаться. Если бы мы еще могли построить такие машины, которые бракосочетались бы и размножались, то, пожалуй, нам пришлось бы выйти в отставку. Ведь мы — vieux jeu, что называется, ненужные и несовершенные создания. Конечно, такого рода поэтические фантазии часто мешают т. Гастеву в его деятельности в ЦИТе. Он все норовит убедить всех в том, что тот человек, в котором нуждается хозяйство, просто вымуштрованный человек-машина. Хозяйство, в сущности говоря, нуждается в машине, но к машине, к сожалению, нужен человеческий придаток. Как это ни досадно, устранить его нельзя, и приходится его к машине пристраивать. Но, во всяком случае, машина должна полностью и всецело определять ритм человеческой жизни.

Комсомольцы, как живые люди, реагировали на это довольно гневно и на последнем, VIII съезде заявили, что по гостевской линии идти не намерены. И конечно, они поступили правильно.

(А. В. Луначарский. «Воспитание нового человека»)

Еще в 1916 году Гастев написал эссе «Экспресс», в котором среди других сибирских городов описывал будущий Новониколаевск. Он даже придумал ему новое имя — Сталь-город. В представлении Алексея Капитоновича, это был не только крупный железнодорожный и промышленный центр, город тысячи труб, где дома жилых кварталов спрятаны под общую крышу, а на крышах-кварталах устроены гигантские сады. Это был морской порт! Да-да, в Новосибирск будущего заходили лайнеры из Северного Ледовитого океана по специально углубленному руслу Оби. Пожалуй, никто из мечтателей не видел наш город морским портом — только удивительный и неповторимый Гастев.

Экспресс быстро тормозит, но пассажирам кажется, что он врзаясь в ватные стены. Мелькает новый город с тысячами заводских труб, выпускающих вместо дыма только несгорающие газы.

Это — «Сталь-город», который когда-то звали Ново-Николаевском. Поезд прыгает, ему надо миновать сотни три железнодорожных переводов. Стальные пути идут вправо и влево, к югу и к северу — и все направляют к Оби. Обь плещет и бьет своим полным валом, но берега ее стиснуты гранитом, набережные скованы сетью подъездных путей. По обеим сторонам идут сотни подъемных кранов. Они вытянули свои стальные плетеные кронштейны, и даже тогда, когда замирают после тяжелых речных нагрузок, кажутся руками гигантов, наступающих друг на друга с одного берега на другой. Сверху виден лес мачт океанских судов, которые давно уже ходят по углубленному фарватеру Оби. Это легкие пароходы компании «Барнаул-Канал», идущие от главных угольных центров Алтая к нефтеносным районам Карских островов и Печоры, через Полярный канал и железнодорожные линии от Обдорска. А вот грузные теплоходы компании «Сталь-город — Нарвик», рассекающие грозные бури Карского моря и полярные льды океана.

Любопытная деталь! Гастев — большевик и ссыльный, беглец, скрывающийся от полиции, но в его фантазиях, всего за год до социалистической революции, города будущей Сибири у него по-прежнему капиталистические. И почему-то анонимные. Им не нужна реклама, бренд, имя — «анонимы, у них нет названий, они принадлежат компании и синдикатам, у которых нет фамилий, — голый капитал, без лиц, без фигур». Скорее всего, в представлениях Гастева в России воцарился государственный плановый капитализм в самой его

крайней форме, когда все вокруг принадлежит государству. Тогда действительно заводам и фабрикам не нужны ни имена, ни фамилии.

Экспресс влетает на железнодорожный мост через Обь. Этот мост со своими крепкими дамбами, широкими и длинными пролетами и тяжелыми башнями — гордость сибирских строителей.

Не проходит минуты, чтобы по мосту не мелькнул поезд.

«Сталь-город» — главный форт сибирской индустрии. Вечереет, и он встречает экспресс миллионом огней, то красных, что рвутся из окон тяжелой металлургии, то снежно-белых, как день, ровно идущих от механических заводов. В воздухе над городом целый гомон света и звука — это новая человеческая симфония огня и железа.

Заводы идут правильными рядами корпусов, кочегарки вытянулись прямыми линиями, — это тысяча горящих бронированных сердец «Сталь-города», черные гиганты-трубы угрожают самому небу...

...«Сталь-город» зовут машиной Сибири. Оттуда идут водные и железные пути на восток, запад, север и юг. День и ночь идут грузы с орудиями земледелия на север, где земельная обработка уже подходит к семидесятому градусу, на запад и восток идут двигатели для маслодельных заводов, мельниц, консервных фабрик, а на юг — к Алтаю — готовые части домен, краны, бурильные машины, трансформаторы.

От «Сталь-города» до Алтая идет непрерывная промышленная стройка; она начинается заводскими трубами, идет через жилища рабочих, переходит в заводы-домны и кончается черными подземными городами-шахтами.

Как представишь эти нескончаемые ряды кочегарок и угрожающие небу трубы, так слабое небронированное сердце твое невольно содрогнется. По ассоциации сразу же всплывает Изенгард Толкиена из экранизации его «Властелина Колец». Вот только в Сталь-городе — в отличие от творения безумного хозяина Изенгарда — рядом со всеми этими промышленными зонами — жилые кварталы-сады:

Частные здания идут квадратными кварталами: их плоские крыши соединены в одну площадь и образуют роскошный зеленый сад...

Как инженер Загивко спас площадь

В 1926 году Отдел местного хозяйства Новосибирска задумал построить Доходный дом (Центральную гостиницу) рядом со зданием Городского торгового корпуса, в котором заседал. Делали все с размахом: объявили закрытый конкурс среди столичных архитекторов, который организовало Московское архитектурное общество.

В конкурсе приняли участие три маститых столичных архитектора — Сергей Егорович Чернышёв (позднее — главный архитектор Москвы, построивший, в частности, здание МГУ на Ленинских горах), Илья Александрович Голосов и Даниил Фёдорович Фридман (проектировавший в то время жилые дома на Ленинградском шоссе). Победил проект уроженца Одессы Фридмана, «как наиболее интересный по наружной обработке». Первоначально строить Центральную гостиницу наметили рядом со зданием Городского торгового корпуса, без отступа от Красного проспекта.

Центральная площадь города к тому времени площадью называлась условно: вся она была застроена многочисленными деревянными лавками, магазинчиками, складами и т. д. Барахолку, правда, с нее уже убрали в район Иппо-



Площадь
Ленина.
Конец
1920-х гг.

дромского (Центрального) рынка, оставив торговлю продуктами, а также различными хозяйственными товарами. Предприимчивые автомобилисты (и, конечно же, извозчики) даже запустили специальный маршрут базар — барахолка, перевозя покупателей и собирая с них копейки. И все же одно дело временные деревянные сараи, которые и снести недолго (как и получилось, когда решено было возвести Дом науки и культуры — Оперный театр), а другое — большое каменное здание, которое с места уже не сдвинешь. Если бы его действительно построили прямо на проспекте, то нынешняя площадь просто бы не родилась — разве что сквер у Оперного театра. Несомненно, что вслед за Центральной гостиницей встал бы рядом и Госбанк. Спасли положение два инженера — В. Г. Сафонов (инженер путей сообщения Управления сибирских железных дорог) и И. И. Загрявко.

Первый задумался (может быть, впервые в истории города!) о парковке при строительстве общественного здания. Где будут стоять экипажи? Где сосредоточат своих лошадей извозчики, которых всегда немало у гостиниц? Они же запрудят весь проспект и будут мешать друг другу проехать. И Сафонов предложил отодвинуть будущее здание вглубь, создав перед ним первую парковку в городе. На фото видно два припаркованных на этой площадке автомобиля. Железнодорожника Сафонова позвали на совещание, чтобы он дал справку о том, где планируется построить новый вокзал, от расположения которого зависит интенсивность движения по улице Кузнецкой. А он по примеру Гостиного двора в Ленинграде предложил сделать перед зданием пустой квадрат.

Образовалось два лагеря: сторонники отодвинуть здание и противники этого предложения. «Если отодвинуть 1-й корпус от Красного, — заявляли последние, — снос деревянных магазинов будет отсрочен». Как обычно в то время, была тут же создана в ОМХе подкомиссия в составе шести человек — инженера В. П. Брейденбаха (одного из строителей будущего главного городского фонтана в Первомайском сквере), К. Е. Цакни (уполномоченного НКПС по железным дорогам Сибири), доктора А. А. Ицковича, И. И. Загрявко, Гольденберга и Родюкова. Загрявко разработал план перепланировки площади, убедил остальных в его необходимости и выступил с докладом на пленуме другой комиссии — планировочной при горсовете. Сторонники Загрявко всю использовали прессу. 2 апреля 1926 г. «Советская Сибирь» опубликовала беседу с заведующим санитарным отделом Губздрава доктором Александром

Аркадьевичем Ицковичем (1892—1967). Выпускник Томского университета, он воевал в рядах Красной армии в Гражданскую, а затем принимал активное участие в ликвидации эпидемии тифа и холеры в Новониколаевске. С 1921 года работал начальником изоляционного пропускного пункта, стал одним из первых организаторов санитарной службы города и возглавлял ее 19 лет — с 1922 по 1941 год. В годы войны Александр Аркадьевич ушел на фронт, где четыре года прослужил в должности армейского эпидемиолога. Помимо практической деятельности Ицкович много времени отдавал научной работе, на его счету 28 трудов по эпидемиологии, коммунальной гигиене и гигиене труда и даже гидрхимической характеристике Оби. Награжден орденом Ленина и орденом Отечественной войны.

«Необдуманное решение отдельных вопросов о сооружении больших зданий в центральной части города, — настаивал Ицкович, — может исключить навсегда возможность рационального плана города и его оздоровления. К числу таких отдельных вопросов нужно отнести выбор места под застройку доходного дома ОМХа. Первоначальное намерение построить этот дом на углу при пересечении Красного пр. и Кузнецкой улицы не может быть допущено без того, чтобы в этом месте не была образована площадь достаточных размеров. Необходимость образования такой площади уже дважды подтверждена решениями планировочной комиссии... Из предложенных вариантов образования площади наиболее обоснованным, экономически и практически легко выполнимым надо считать проект инженера Загривко. Его площадь должна быть на пересечении Красного пр. и Кузнецкой улицы с длинным диаметром по Красному пр. и с коротким по Кузнецкой ул.».

Заслушав доклад Загривко, планировочная комиссия при горсовете согласилась с его предложениями. И передала свое решение в очередную инстанцию — на рассмотрение коммунальной секции горсовета. Иван Иванович и там выступил со своим докладом. Он предложил в середине площади образовать сквер, «где может быть поставлен памятник, а в будущем фонтан». На перекрестке создается хороший угол видимости (45°), который дает плавный переход потоку машин и людей как с Красного проспекта на Кузнецкую, так и в обратном направлении. Отступ на 29 сажен перед Доходным домом образует площадку «для стоянки автомобилей, экипажей и станции автобусного движения». Секция горсовета, заслушав пламенную речь Загривко, его проект одо-

**Доходный дом.
 Центральная гостиница.
 Конец 1930-х гг.**



брила. Доходный дом построили с отступом от проспекта, а площадь Ленина была спасена для потомков.

Любопытный факт: Иван Иванович принял участие и в дискуссии о необходимости Оперного театра. В своей статье он обосновал два тезиса: театру нужно отдельное здание (обсуждалась идея сделать его пристройкой к Рабочему дворцу — нынешнему зданию театра «Красный факел») и здание это должно находиться в самом центре города:

По вопросу о месте.

Здесь необходимо подумать о создании в городе вообще центра для культурных учреждений по примеру других городов, наметить постройку этих учреждений и в порядке постепенности в течение ряда лет осуществить программу строительства: самостоятельный оперный театр, драматический театр, может быть будущую сибирскую консерваторию и др. краевых культурных учреждений.

Место для них должно быть в фактическом центре города (пример — Москва), чтобы равномернее обслуживать все население, а не часть его, как это случилось бы, если делать пристройку и разбивать театральное строительство на задах Рабочего дворца, обращенных к пустынной окраине железнодорожного полотна.

(«Советская Сибирь», 1926, 18 апр.)

И хотя нынешняя площадь Ленина не была названа, но, без сомнения, Загрявко подтолкнул общественное мнение к мысли о строительстве именно здесь («в фактическом центре города») будущего Оперного театра.

В апреле 1926 года «в связи с утверждением горсоветом проекта инж. Загрявко о создании центральной площади началась ломка и переноска торговых помещений на новые места», в первую очередь на месте строительства будущего Доходного дома. Торговые ряды не убирались пока вовсе — до строительства театра еще было далеко, — но приводились в порядок и выстраивались заново по разработанному ОМХОм плану. Деньги на постройку новых рядов должны были дать будущие арендаторы. Доходный дом стал самым передовым зданием города, изюминкой городской архитектуры середины двадцатых: огромный стеклянный фасад (некоторые стекла — по 6 кв. аршин), четыре лифта (два для людей и два для подачи в ресторан и гостиницу еды из кухни), самый большой магазин города на первом этаже, ресторан — на втором, гостиница — на третьем и четвертом. Часть четвертого этажа, выходящая на Красный проспект, представляла открытую площадку, на которую выходили постояльцы гостиницы и посетители ресторана. В то время с четвертого этажа обозревалась половина города.



Наталья ЛЯСКОВСКАЯ

«ЖИВАЯ БЕЛКА НА ВЕЛИКОМ ДРЕВЕ...»

Так часто бывает — приходит человек в литературу со стихами, но постепенно, взрослея и мужая, переходит на прозу. А что это значит — перейти на прозу? Перестать записывать свои мысли в рифму и столбиком, прекратить, по словам Юрия Полякова, «Сидеть, с черновиками запершись, / уныло строчки рифмами оковывая. / И видеть: за окном проходит жизнь, / как женщина, призывно незнакомая», ради того, чтобы стихи прочитало и оценило сравнительно небольшое число знатоков и литературоведов? Однако где проходит граница между поэзией и прозой? Так ли уж важно оформление текста и наличие рифмы? Я могу привести огромное количество примеров идеальных столбиков с крепкими рифмами, однако поэзии там и близко нет. К счастью, имеются более близкие мне определения поэзии, вроде тыняновского, — зависимость смысла от звука и ритма. Если так, то Юрий Поляков из поэзии и не ушел — его проза поэтизирована по всем правилам лингвистической кодификации: на собственно языковом, коммуникативно-прагматическом, этическом, других прямых и опосредованных уровнях. Его проза всегда завязана на троп; даже если он выражен не слишком явно, текст повести или романа у него насквозь метафоричен, в его случае метафора не формообразующий материал, а скрытый маркер поэтической трансгрессии. В формате

эссе процитировать фрагмент из какого-либо романа Полякова такого объема, чтобы тем, кто недостаточно знаком с его прозой, стало ясно, что я имею в виду, невозможно, поэтому придется новичкам поверить мне на слово... или срочно идти читать его книги.

О прозе Полякова сказано довольно много, о поэзии тоже. Еще в 1976 году на редкость внимательный к творчеству других поэт Владимир Соколов написал в предисловии к «Книге в газете» (была когда-то такая отличная рубрика в «Московском комсомольце») о поэзии тогда еще молодого-начинающего Юрия, что это «стихи размышляющего человека»: «Он, можно сказать, еще и не печатался, а я уже запомнил одно его опубликованное стихотворение “Зачем вы пишете стихи?”». В этом маленьком ироническом фрагменте находит отражение мысль об очистительной, воспитующей силе искусства. И хорошо, что Юрий Поляков это вовремя ощутил и высказал. Авторская мысль не может мешать непосредственности читательского восприятия, если она растворена в природе самого стихотворения. И Поляков это уже понимает, чему свидетельствует его стихотворение о Муранове, где он “впервые Тютчева читал, сменив слова на запахи и звуки”. Через четыре года Соколов написал еще одно предисловие — к первой книге молодого поэта, названной очень точно: «Время

прибытия», — где продолжил: «...как старший собрат по перу, порадовался, что у него все вовремя — и молодость мысли, и молодость формы, и молодость возраста. Мне нравится читать стихи Ю. Полякова, потому что они в плоть и кровь свою впитали и продолжают впитывать все хорошее, что есть в нашей поэзии». Критики вслед за Соколовым (Ю. Болдырев, Е. Шевелёва, В. Куницын и др.) в один голос отмечали эту творческую способность Полякова ощущать современность со всеми ее радостями, победами, поражениями и болевыми точками столь остро, словно поэт и его время были единым органическим целым: «Время — живой и многоликий герой книги», — писал А. Хворощан о сборнике «Время прибытия». А вот как заканчивается стихотворение-визитка этого сборника:

**В мире нет энергии сильней
Той, что в ходе времени таятся!
И душа работает над ней...**

Да, душа писателя работала: гражданская лирика, интерес к военной проблематике, фронтовой поэзии (в частности, он серьезно занимался изучением жизни и творчества сибирского поэта Георгия Суворова, погибшего в 1944-м под Ленинградом, написал о нем несколько статей и даже защитил кандидатскую диссертацию «Творческий путь Г. Суворова. К истории фронтовой поэзии», которая легла в основу историко-публицистического исследования «Между двумя морями. Книга о поэте»), поиски духовного начала в родной истории — эти темы стали главными в поэзии Полякова. Все то, что критик Владимир Бондаренко называет «литературой прямого действия», представлено в поэзии Полякова, а затем дополнено, развернуто и усилено в прозе.

Я познакомилась с Юрием Поляковым в 1985 году, на одном из фестивалей поэзии во Владивостоке, в то время, когда в «Современнике» вышла его третья книга «История любви» — и для меня он

так и остался навсегда, по первому яркому впечатлению, автором неожиданно нежной и тонкой, а порой и страстной, глубокой, даже трагической любовной лирики. Часто Полякова называют «мастером тонкой эротики», однако эта репутация сложилась уже после выхода его прозаических произведений. И это закономерно. Многие считают поэзию языком интимных переживаний «любви земной», в то время как если мы подвергнем анализу лучшие образцы любовных сцен и переживаний в прозе или стихах, то станет очевидно — дело обстоит как раз наоборот: в прозе побеждает плоть, а в поэзии — платонизм. Читатель, успевший полюбить Полякова-прозаика, со всеми его — вернее, его героев — пряно-эротическими тайнами, желаньями и заморочками, которые люди так любят «переносить» на писателя, забывая, что далеко не все, что тот пишет, автобиографично, открыв первый том собрания сочинений, вышедшего к юбилею писателя в издательстве АСТ, будет удивлен почти детской чистотой, честностью и прямоотой его любовной лирики. Кстати, в этом первом томе вниманию читателя впервые представлены и ранее не публиковавшиеся юношеские стихи, до сих пор не покидавшие ящик письменного стола. И я уверена — читатель порадует тому, что они его наконец покинули, как этому порадовалась я.

Лирический герой Полякова по нынешним понятиям старомоден («я ищу девятнадцатый век»), он всегда любит только одну женщину, считая, что «на каждую любовь (так справедливей!) отдельная должна даваться жизнь», чтобы можно было всего себя отдать любимой, «долюбить» до полного исчерпания чувства или до смерти — как бог даст. Он готов к этому, степень его готовности к этой любви определяется ощущением неотвратимого, но блаженного ужаса (и ответственность огромная, и преодолеть себя невозможно!): «полюбить — словно высунуть голу из окошка летящего поезда...»

Даже расставшись с первой, несостоявшейся «любовью на всю жизнь» («начала я забуду звуки голоса, ее привычку теревить кольцо, потом ее глаза, походку, волосы...»), он верен смутному образу, абрису, едва различимому во мгле лет: «Пройдут года. Но никакая женщина не сможет никогда сравниться с ней!»

И вот еще одно, гораздо более трогательное и сильное доказательство верности лирического героя Юрия Полякова: через сорок лет — огромный срок для человеческой жизни! — он вновь возвращается к «Стихам о первой любви», о «девочке-красавице», написанным в 1974-м, и добавляет еще одно четверостишие:

**Года летят, торопятся минуты.
Ворочаясь бессонно до утра,
Я часто вспоминаю почему-то
Ту девочку с соседнего двора...**

Это вариант бессмертного «Я помню чудное мгновенье», только без катарсической встречи и чувств, которые «воскресли вновь», — нереализованное, неизжитое чувство («и девочка-красавица пропала») долгие годы томит и томит сердце поэта:

**Всех ближе та,
Которую недолюбил.
Виною маета,
Когда не до любви...**

В судьбе Юрия Полякова была и армия, а как отслужить солдату, не посылая писем любимой, не терзаясь ожиданиями ответа?! И вот — в муках впервые рождается настоящее, выстраданное:

**Рукой заledenелой на привале
Царапал: «Здравствуй...» —
и валялся спать,
Но там, где раньше слезы
проступали,
Слова вдруг научились проступать.**

Да, теперь он знает, как это бывает, когда на месте слез проступают слова.

И тем не менее любящий у Полякова всегда счастлив, даже если страдает: «Когда влюблен, весь белый свет в любимом. А разве не прекрасен белый свет?!» Лирический герой Полякова страдает, как говорится, на всю катушку, безоглядно, его страдание и сила чувства всегда взаимосвязаны, ведь настоящее «любить по-русски» всегда трагично:

**А еще от любви
Остается такая тоска,
Что уж лучше б совсем
От нее ничего не осталось...**

Но — всегда прекрасна эта любовь! В произведениях Полякова она представлена многогранно: тут и школьная влюбленность: «мы с ней целовались в холодных и гулких подъездах, пугаясь внезапных шагов и гремучих замков», и «странная нежная боль», и ревнивая страсть: «остается смятая кровать, пахнувшая нежным смуглым телом, остается право ревновать...», и любовь человека, умудренного жизнью: «иной могла быть судьба у любимой. Допустим, в какой-то из сереньких дней она промелькнула бы мимо незримо, и я никогда не узнал бы о ней», и семейная глубокая привязанность, которая часто сильнее и важнее даже самой яркой любви: «ах, эти семейные ссоры — букет непрощенных обид <...> и дверью я хлопаю, чтобы опять ты вернула меня», и «солнечный удар»:

**Почему мы не встретились раньше?
Почему?
Почему?
Почему?!
Ты была бы иною,
вчерашней,
Предназначенной мне одному!
И в душе бы моей не теснилась
Между долгом и счастьем борьба,
И в глазах бы твоих не светилась
Та,
чужая,
другая судьба...**

СКАЗКА, ВЕДЬМА, Д'АРТАНЬЯН

Евгений Эдин. Танк из веника. —

*М.: Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ,
2014. — 304 с.*

В 2015 году о «новом реализме» говорить сложно, даже как-то моветонно, поскольку явление, существующее в литературе более 10 лет и вызвавшее столько бурных дискуссий, новым называть уже крайне неприлично, да и о реализме рассуждать приходится со многими оговорками. В общем, цитируя классика, получается что-то вроде «полуклассицистического полуйскуства не слишком социалистического совсем не реализма», просто заменим слова в цитате на более соответствующие современному литпроцессу. Тем не менее Евгений Эдин — узнаваемый «новый реалист». Узнаваем он не как большой стилист, стиль здесь как раз довольно усредненный в общем контексте — от Сергея Шаргунова до Платона Беседина, — а именно по своему мессиджу, тому, что автор хочет сказать и что в итоге говорит. К примеру, в книге «Танк из веника» три повести. Одна просто-таки обязана быть про войну, локальные конфликты, и так оно и есть («Танк из веника»). Вторая — про непростое взросление героя, с предсказуемым конфликтом отцов и детей и долгожданной внезапной любовью («Ведьма в соседней квартире»). Третья — о том же самом, плюс в важных компонентах найдем ностальжи по советскому («Дом, в котором живут лошади»). Итак, что из этого на-

бора мы еще не читали? Что стало неожиданным?

Автору книги, не будем ходить вокруг да около (хотя подозреваю, что вокруг и около — самое интересное в литературе), не хватает дерзости и экспериментов — сюжеты, психология, конструкция, сама фактура текста не оставляют ощущения литературного прорыва, это все тот же старый новый реализм, лики которого хорошо известны и, кажется, уже не способны ни удивить, ни, на худой конец, ужаснуть. Война? Читали. От Бабченко до Крюковой. На любой манер, с любой картинкой и подтекстом.

С другой стороны, всегда существовала мейнстримная словесность, не претендующая на высший литературный пилотаж, и в ней есть свои плюсы.

Евгений Эдин, например, фиксирует богатейшие пласты провинциальной жизни. Сколько бы ею в последние годы ни пугали, но она, эта жизнь, на самом деле не страшная, а рутинная. Условно говоря, не «Елтышевы», а Антон Павлович Чехов. Впрочем, Эдин обходится без стереоскопичности и пессимизма приведенных примеров. Его персонажи живут где-то в Сибири, в городах, учатся, работают, занимаются повседневными делами, у них есть семьи, в которых все не просто, но без явных трагедий, дом Ашероу не падет,

этого дома просто не существует, благо есть квартира в типовой многоэтажке — и уж точно без скелетов в шкафу. Впрочем, игры в мистику приветствуются, ведьмы обитают где-то рядом, в качестве соседок по лестничной площадке, в них можно влюбиться, завести роман, но ненадолго — по ощущениям страшновато и родители не одобряют. В типовой квартире есть типовой телевизор, в телевизоре типовой хит советской киноиндустрии «Д’Артаньян и три мушкетера» с Боярским в главной роли, причем, с Боярским ли или только ли с Боярским — вот в чем секрет, но пересказывать тексты вместо их разбора и оценки — последнее дело, так что обойдемся без оживляжа.

В повестях Эдина много предметов и деталей, а потому его проза вполне убедительна в своей простоте. «Когда в городе перелицовывались целые кварталы, возникали новые магазины, развивались парки, вокзал хранил ворчливую неизменность. Его плиты знали следы людей сталинского времени. В его ларьках до сих пор можно было купить одеколоны “Dragon Noir”, “Demon Noir” и “Double Whisky”, — они стояли здесь еще с девяностых. Предлагались пистолеты-зажигалки того же времени, эротические карты, бритвенные станки. Распахивали пасти неперменные ножики-лисички самых невероятных размеров. В витринах лежали расчески и заколки, пылились джойстики и картриджи от “Dendy”, выгорали на солнце кошельки и обложки для паспортов». Картинка, по-моему, узнаваемая, кто-то же должен фотографировать реальность. Спросите, а как же высокое мастерство фотографии, спецэффекты? Ответа от меня не последует, разве что признание в любви к прозе Дмитрия Данилова или Владимира Козлова, но это совсем из другой оперы.

Повести Евгения Эдина симпатичны своей эмоциональной насыщенностью. Учитывая, что герои книги — люди молодые, испытывающие сильные и разноо-

бразные чувства, такая проза более всего адресована именно молодым (еще один узнаваемый аргумент нового реализма), иначе, боюсь, не избежать некоторого диссонанса между знанием жизни, присутствующим зрелому человеку, и эмоциональным посылом повестей «Танк из веника» или — в большей степени — «Ведьма в соседней квартире». Впрочем, про симпатичность я заговорила не случайно. Повесть «Дом, в котором живут лошади» кажется наиболее зрелой вещью в этой книге, но при этом она полна простых и понятных чувств: от ностальгии до ожидания любви и счастья. Мелодрама здесь переплетается со сказкой, но не страшной, как в повести «Ведьма в соседней квартире», а доброй, советской, хотя между добрым и советским я бы не стала ставить знак равенства.

«Ведьма в соседней квартире» — скорее о предрассудках, о том, что собой представляет общество, лишенное научной картины мира. Каждый в нем должен искать свои ответы на общие вопросы бытия, жить в своем замкнутом пространстве, действовать по своим сценариям. И кому-то удастся в условиях индивидуализированной разобщенности если не быть успешным, то сохранять свою игру (Святой, муж Натали), а кто-то не способен даже на адекватное объяснение происходящего, для кого-то заложенные в детстве предрассудки важнее, чем возможность управлять судьбой (молодой герой повести).

Герой, обреченный на неудачу, явно симпатичен автору. Одинок, потерян, но не сдаётся и продолжает мечтать? Хорошо, тогда вернем ему семью и дадим за все страдания любовь юной романтической особы, невесты его сына. Вот почти и готов сюжет «Дома, в котором живут лошади». Добавим еще немного игры с прошлым героя и этакой неопределенности: снимался ли он, например, в том самом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» в качестве дублера-каскадера

или кого-нибудь еще, но не менее функционального и блистательного, или перед нами судьбоносный блеф, на который так падки женщины всех возрастов и который по понятным причинам вызывает раздражение у семьи Сентябрева?

Автор специально разворачивает сюжет повести в пространстве столь ныне актуальной ностальгии по советскому, поскольку советское в массовом сознании вытеснено сказкой: не пот и кровь лагерей и навозная жижа колхозов, а пора-пора-порадуемся, так что есть основания полагать, что символический капитал советского масскульта недооценен и его еще долго будут использовать писатели разных поколений, по крайней мере последних советских, к которым принадлежит Эдин и многие другие новые реалисты, так же неизменно любящие советскую сказку.

Весьма и весьма симпатичны авторские жанровые маркеры, предложенные для каждой повести. Действительно, точны, действительно, в своем роде находки. И если в «манихейской повести» магистральным сюжетом становится не-

кая борьба добра и зла, в «повести-телеспектакле» ведется подчеркнутая игра по ролям, то в центре «повести-вспышки» находится яркое переживание, целый комплекс переживаний, вспышка сознания. Сама проза Эдина практически лишена эффектных метафор, однако найденные жанровые обозначения-метафоры свидетельствуют об определенном аспекте художественного видения автора, придающего некоей предзаданной плоскости ожидаемую от литературного произведения объемность.

Именно поэтому мне кажется, что лучшие книги Евгения Эдина еще не написаны, что от него можно дожидаться большего, но при одном условии: если его заигрывания с масскультом не перейдут в разряд стилиобразующих приемов. Напомню, что именно так понизил художественную планку писатель Андрей Геласимов в «Доме на Озерной» (кстати, еще один явный предшественник Эдина). Как бы там ни было, лучше иной раз и переоценить автора — особенно если автор и правда симпатичен.

Юлия Подлубнова

СУММА РЕБЕР

Беседин П. Рёбра: сборник рассказов из серии «Современная новелла». — М.: Дикси Пресс, 2014. — 208 с.

«Рёбра» Беседина — поистине хорошая литература, многоплановая, точная, стилистически выверенная. Рассказы читаются легко благодаря занимательности историй и яркому, точному языку. Темы традиционны: любовь, поиск смысла жизни, жестокость, справедливость, литературное творчество, урбанизация и экология, честность, милосердие, вера. Место действия — современные Севастополь, Киев. Имеются вставные новеллы с ретроспекциями во времена бедствий 1930—1940-х годов; в рассказе «Автобан» — современная Германия без особых

локальных примет. В сборнике свободно варьируются жанры, оставаясь, впрочем, в рамках рассказа: современные новеллы, хроники и рамочные повествования по типу «текст в тексте», юмористические бытовые зарисовки, фантастические истории «из обыденной жизни» и даже эротическая новелла. Не дает сборнику «растекаться» строгая архитекtonика: сборник математически точно поделен на части: 6, 6, 28 и 6 рассказов, архетипически обращенных к притче о сеятеле.

Публицистическая манера служит условием, благодаря которому, во-первых,

в художественную прозу Платона Беседина проникает притчевость как принцип архитектоники сборника рассказов, и сама притча как претекст некоторых рассказов («Пятно» — притча о сеятеле), и образы из притч в роли художественных сравнений (смоковница в «Последней крепости»). И здесь надо подробнее остановиться на притче о сеятеле. Притча о сеятеле на данном уровне понимается не со стороны фабульного содержания, а как символ для актуализации архетипического образа почвы, способной или неспособной к плодородию, и разворачивается в архитектонике сборника, в названии его частей. Автор словно бы последовательно подготавливает такую почву, формируя ее из слоев представленных в сборнике рассказов. Сборник состоит из четырех частей: «Глина», «Песок», «Зёрна», «Соль» (соль земли). Первый слой — «Глина» — открывается рассказом «Крещение рыбой», задающим тему христианской веры в ее предначинательном таинстве. Фабула рассказа об ожившей рыбе напоминала бы православную беллетристику в духе рассказов Тихона Шевкунова, но здесь, в «Крещении рыбой», чудо происходит в современной повседневной жизни обычного горожанина. Сама эта жизнь показана приближенно, ощущенчески, глазами современного человека. Чудо происходит не на задворках жизни, а прямо здесь и сейчас, для всех и каждого (но не все придают этому значение).

Публицистическая манера, вторых, служит условием для сатирического шаржевого гротеска: миниатюры «Зёрна», рассказы «Голубь», «Дьявол обыкновенный», «Все великие поэты», «Провинциалии» и др. В-третьих, благодаря ей в рассказах отчетливо распознаются черты кинопоэтики: переход от одного повествования к другому по принципу киномонтажа (вставные рассказы из истории семьи и эпохи: «Милосердные» и «Голод»), смена плана при описании со-

бытия (отчего не всегда можно понять, где автор, а где герой-рассказчик). Последнее связано напрямую с высочайшим классом языковым мастерством Беседина: во всех рассказах читателю дано наслаждение яркими и точными метафорами, эпитетами и развернутыми сравнениями. «Ее монолог как хорошо пригнанный ламинат, который я укладывал, подрабатывая студентом»; «Серёга — рыхлый, взопревший как свежеприготовленный омлет — выбирает песни»; «Вблизи Саша целует меня лягушкой, охотящейся на мошкору» («Мальчишник»). «Под потолком у лобового стекла, танцуя тектоник, болтается плюшевый Дед Мороз на веревке»; «Кончики ногтей в черных полумесяцах грязи, словно французский маникюр наоборот»; «Дорога пуста; двойная сплошная одинока, нескончаема, похожа на мечту кокаиниста» («Рождество»). «Упрекает, словно моль ест шубу»; «Стеснительность довлекла, точно кредит: слова не вымолишь» («Во всем виноват Курт Кобейн»). «Была ругань, изматывающая, утомительная, как долгое вешание штор, когда стоишь с поднятыми вверх руками, и ломит все тело, и голова кружится, точно у тебя “вертолет” после пьянки» («Восьмая шкала»). «... из окаменевшей земли торчали чахлые деревья, похожие на растопыренные куриные лапки»; «новые высотные здания с кроссвордом горящих окон» («Избранник»). «Электронные часы красными аллергическими точками показывали 3:15» («Голубь») ... Но кто это все подмечает? Писатель Юрий или антигерой Ткачёв? Много ли видит Тихон Серафимов? Богатый словарь писателя примечателен украинизмами (генделик, шинок, шухляда). Поэтически Украина Платона Беседина — это еще и Украина гоголевская («редкая птица» — аллюзия на «Чуден Днепр...»; «пропустить стопочку, словно тот кум в ночь перед Рождеством»).

В тематическом отношении рассказы Платона Беседина группируются

вокруг небольшого числа магистральных тем. Одна из них — тема веры, истинной и ложной, иногда переходящая в тему взаимоотношений с Церковью, о которой вспоминается в критические моменты жизни. Есть два варианта трансляции темы веры: через набор бытовых ситуаций, в которых религия понимается предельно упрощенно, обывательски, и второй вариант — через переживание героями тяжелых жизненных испытаний. Если с бытовыми ситуациями понятно — через них разворачивается лейтмотив псевдорелигиозности и мотив душевной лени, то в случае с описаниями тяжелых испытаний в повествовании усиливается психологизм: герои проявляют свои внутренние качества, *характер* определяет индивидуально-личностное понимание веры. Дедушка из рассказа «Голод» пережил страшные голодные 1930-е и остался жив по вере, главный герой из «Автобана» кончает жизнь самоубийством, не вынеся «ада-маскарада-лихорадки» своего брака с Марией, несмотря на в общем-то верные мысли о любви.

Человек и мир, их противостояние — предмет художественной рефлексии в рассказах Платона Беседина. Мир в этих рассказах часто бывает жесток, враждебен человеку, и само качество этой враждебности — мирское, в церковном понимании этого слова. Буря напастей застает врасплох беспомощного человека — и тогда человек намеренно или по привычке вспоминает о Боге, о Русской православной церкви, к атрибутике и обрядам которой он стремится в надежде исправить свою жизнь, не всегда понимая, что именно нужно делать и не находя объяснения церковным обрядам у других людей. Иным персонажам вроде бы более-менее ясно, что есть вера, в общих чертах, но и их захлестывает «житейское море», в котором они привычно тонут. Однако свое житейское бессилие персонажи воспринимают не как собственное, а как бессилие Церкви. Таким образом,

псевдорелигиозность можно считать лейтмотивом рассказов Платона Беседина. Обывательское отношение к религии, внешнее соблюдение обрядов без истинной веры оказывается более губительным, несостоятельным, тупиковым, по сравнению с простым и честным отношением к миру. Герой рассказа «Ремень» спрашивает себя: чего я хочу? И честно отвечает: я хочу кушать, я не хочу висеть в петле, — и идет в магазин, подпоясавшись ремнем, на котором до того чуть было не повесился. Персонажи других рассказов часто лезут в петлю внешнего замещения веры — в то время как вера, если она истинна, совершается внутри человека. Бог есть любовь — это бесспорно, но как выжить людям в жестоком мире? Мой вопрос звучит наивно, но тем понятнее умный ответ. По Беседину, любовь во взаимоотношениях между людьми — это память и милосердие. А хранители памяти — люди, прожившие долгую жизнь. Отсюда у Платона Беседина интерес к рассказам пожилых людей; важную роль в сюжете играют эго-документы (папка в «Милосердных»), устные воспоминания («День Победы», «Голод»).

Рассказывание историй вводит тему жизни как наррации. Взяв интервью у фронтовика, журналист Алексей («День Победы») размышляет: «Вот и вся его жизнь — в минутах тусклых перечислений. Но для статьи вполне хватит. Выйдет на одной полосе с рекламой средства от геморроя или анонсом очередного целителя. Хотя лучше написать рассказ. Или повесть. Для себя. Для него. Хочется, требуется писать вновь. Спустя два года после клятвы не прикасаться к литературе». Жить — значит рассказывать истории. И писать их. «Отчего живу так бессмысленно? Точно пишу заказную статью на скорую руку». Журналистика для главного героя имеет вид рабочего задания, художественная проза же мыслится как форма передачи самой жизни, ее свежести, красок, ощущений, человеческих

переживаний. Вымышленное становится действительным, в противовес сухой газетной хронике, имеющей вид «тусклых перечислений». В этом для героя рассказа «День Победы» состоит преимущество художественной прозы перед журналистской статьёй.

Воспоминания пожилого человека удается воплотить в художественной прозе в рассказе «Милосердные» в виде вставного повествования. Искусство оживлять хронику напрямую связано с особым качеством образности в рассказах Платона Беседина. Автор почти не работает с цветом, зато хорошо схватывается форма и то, что дает осязание. Образ создается посредством яркого метафорического сравнения или соположения подобий между воспринимаемым сейчас и известным ранее, между новым опытом и прежним. Такие ассоциации индивидуальны. И сложно определить, чья эта индивидуальность — персонажа или автора, кто из них подмечает все эти сходства.

Повествование в рассказах Беседина часто ведется от первого лица. Это отвечает публицистическому пафосу его художественной прозы. Но здесь стоит копнуть глубже: у Беседина имеет место смещение ракурсов субъектной структуры; персонаж, от лица которого ведется повествование, и автор, как я уже говорила, не всегда различимы. Если взять за отправную полифоничность рассказов, то на ней, как на лакмусовой бумажке романной, казалось бы, полифоничности, хорошо видно, что публицистический пафос — не просто стилистический прием, а особенность структуры повествования. От классицистического резонерства избранных персонажей Беседина отличает их особая «растворенность» в тексте. Собственно, интересный Беседину герой — это и есть текст. Как сказано в прологе «Книги Греха»: «...все то, что есть на самом деле, это истории, которые мы рассказываем друг другу». Жизнь состоит из таких историй. И выбор историй

мотивируется острым взглядом резонера. Кто-то из критиков писал, что герой Беседина — чужак, смотрящий на обыденный мир и удивляющийся ему. Персонаж, от лица которого ведется повествование, — комический, резонерствующий, публицистический. Через героя просачивается автор и выливается в блестящих сравнениях, метафорах, эпитетах. Это текст, построенный по законам речи, которая интертекстуальна сама себе. Речь дает право глядеть автору через персонажа.

Многие главные герои, от лица которых ведется повествование, — тридцатилетние писатели и журналисты. Эти герои схожи своей отчужденностью, в рассказах нет их портрета (sic!), но есть голос. Потому как если жизнь — наррация, то человек прежде всего — повествующий голос.

В этом отношении интересен рассказ «Восьмая шкала»: процесс рассказывания в нем совпадает с процессом чтения. Чтение в данном рассказе равнозначно убеганию от мира, спасению («Последнее время только чтением и спасаюсь»). Случайное знакомство с попутчиком в автобусе пропускается через представление о чтении: «Как это, в сущности, нелепо, что его, такого нервного, всклокоченного, зовут Слава. Ладонь у него грубая, мозолистая. После рукопожатия хочется перечитать Шукшина». Представление о чтении как о чем-то осязаемом дано также в рассказе «Черно-белый»: «Черно-белое объявление на деревянном заборе. Забор кособокий в мелких щепках — тронь, получишь занозу. Объявление грязное, вспухшее, в желтых разводах. Прочтешь — запачкаешься». «Восьмая шкала» — это рассказ персонажа, читающего свое собственное повествование. Такое восприятие мотивировано результатом самотестирования с повышенным значением по шкале шизофрении. Объяснение теста идет через заковыченную цитату, то есть текст вторичен, уже кем-

то прочитан и перечитывается еще раз. Болезнь как повод к уникальному взгляду на мир — прием, используемый также в рассказе «Бесноватый». В «Восьмой шкале» мы можем найти метатекстовое описание сборника «Рёбра»: «Ведь песок без цемента — слабая конструкция». И действительно, есть аналогия: архитектоника строится в буквальном смысле: фундамент сборника закладывается «Глиной», дальше идет «Песок».

Тема художественного творчества со знаком «минус» представлена в рассказах «Провинциалии» и «Все великие поэты» (последний с этой позиции можно назвать памфлетом). Рассказ «Все великие поэты» — это литературная среда в портретах; череду портретов замыкает рифмованная строчка: памфлет, если не эпитафия. Портреты литераторов даны в их внешней вычурности и внутренней пустоте. В рассказе «Провинциалии» у главного героя слово «вдохновение» является эвфемизмом алкоголя.

Еще одна тема, заботящая автора, — тема урбанизации и экологии. В рассказе «Голод» приводится цитата из рассказа Бунина «Руда». В этом рассказе выражается опасение автора насчет того, что в новой индустриальной жизни не найдется места духовности. Те же мысли выражаются и в прозе Беседина.

Все названные темы переплетаются и разворачиваются каждый раз на мате-

риале занимательных историй, представляя авторский публицистический взгляд с прицелом художественной силы.

Отдельно стоит сказать о части, озаглавленной «Зёрна». «Зёрна» — небольшие по размеру юмористические рассказы, подборками выходившие в журналах и на интернет-сайтах. В книге состав рассказов расширен. Представленные юморески вызывают в памяти рассказы Чехова и юмористические рассказы и фельетоны 1970–1980-х годов, но на новом материале (ток-шоу, айфоны). Как правило, композиция таких рассказов состоит из занимательного афористического зачина, а дальше идет развитие темы: излагается предыстория события, изложенного в зачине, либо описываются последующие события, прямо вытекающие из него.

Любопытно сравнить «Рёбра» с интернет-сборником рассказов «Чётки» (2012). «Рёбра» — более сложное органическое построение, несмотря на перекликающийся состав рассказов. Уже не нить четок, а органика. Для «Рёбер» Беседин отобрал более зрелые рассказы, композиционно и тематически придал им объем в новой компоновке и добавил новые рассказы. Получившиеся «Рёбра» — живая и твердая кость с памятью о плоти, или, если хотите, — Плоти, и памятью об истинном, настоящем Слове, которое, как известно, «плоть бысть».

Юлия Бобрышева



Светлана ГОЛИКОВА

АЛМА-АТИНСКИЕ ОТКРЫТКИ АЛЕКСАНДРА ЗАКОВРЯШИНА

Наследие Александра Георгиевича Заковряшина (1899—1945) представляет собой одну из самых интересных страниц истории искусства Сибири первой трети XX столетия. Замечательный мастер станковой и журнальной графики, наделенный ярким и неисчерпаемым творческим воображением, Заковряшин деятельно участвовал в региональной художественной жизни 1920—1930-х годов, в значительной мере определяя тенденции развития местного графического искусства этих лет.

Творческий путь А. Г. Заковряшина начался в середине 1920-х годов в Минусинске. Уже на этом раннем этапе самостоятельного постижения художественного ремесла отчетливо проявилось его преимущественное внимание к рисунку и линогравюре, утвердилась склонность к эксперименту, неожиданным формальным решениям. Тогда же сложилась потребность в постоянном творческом общении, обмене профессиональными наблюдениями и впечатлениями с другими авторами.

Стремление к активной деятельности и творческой новизне привело А. Г. Заковряшина в 1927 году в Новосибирск, ставший к этому времени ведущим художественным центром Сибири. Здесь в январе 1927 года состоялся Всеси-

бирский съезд художников и открылась Первая Всесибирская выставка живописи, скульптуры, графики и архитектуры, показанная позднее и в других городах. В Новосибирске издавались многочисленные иллюстрированные журналы, предоставлявшие широкие возможности для развития графики. Все эти начинания стали частью профессиональной судьбы Заковряшина — участника съезда, экспонента выставки, сотрудника редакций журналов «Сибирские огни», «Настоящее», «Товарищ».

В 1930—1934 годах художник жил в Томске, затем ненадолго вернулся в Новосибирск, а в 1937 году переехал в Алма-Ату. Среди его работ алма-атинского периода выделяется небольшая группа авторских открытых писем — рисунков на бланках почтовых карточек, отправленных Александром Георгиевичем в Новосибирск в 1937—1942 годах.

Адресатом этих писем был художник Александр Петрович Моисеенко (1889—1962), близкий друг и постоянный собеседник Заковряшина, ревностный собиратель и хранитель его произведений. И отправитель, и получатель открыток видели в них прежде всего новые материалы для бережно создававшейся коллекции работ Заковряшина. Не раз, прося у друга прощения за краткость

сообщаемых сведений о себе, Александр Георгиевич повторял: «Сейчас ограничиваюсь этой открыткой в анналы...», «шлю пару пустяков в твой альбом...», «пусть пополняется коллекция». Порой тексты его почтовых карточек не содержат ничего, кроме адреса. Для двух художников такие изобразительные послания были привычным способом общения, не менее интересным и ценным, чем беседы о житейских обстоятельствах. Тем не менее заковряшинские открытки объединяют в себе качества художественного произведения и архивного документа. Лаконичные записки на них позволяют узнать о вхождении художника в новый профессиональный круг; рассказывают о его подготовке к республиканским выставкам «Великая Отечественная война» 1942 и 1943 годов; передают его восхищение южной природой. Иногда содержание писем служит основанием для датировки рисунков (время создания большинства из них определяется по датам на почтовых штемпелях и печатях военных цензоров, не всегда отчетливых). Так, сообщение на обороте открытки «Тюльпаны на окне»: «Вчера был на вечере, посвященном Маяковскому, среди бесшабашной халтуры слышал воспоминания Пудовкина и слушал самого Сергея Сергеевича Прокофьева — гавот», — дает возможность отнести ее к маю 1942 года.

Из четырнадцати почтовых карточек лишь одна — поздравление, отправленное в канун 1943 года, — исполнена в манере обычной тиражной открытки. Остальные работы не связаны с традиционными открыточными стилями и воспринимаются как станковые миниатюры. Написанные в технике гуаши и акварели, они представляют собой живописные опыты, почти не встречающиеся в сибирских работах Заковряшина, когда в его творчестве преобладали линогравюра, офорт, рисунок.

Ориентальные темы естественно входили в произведения Заковряшина вме-

сте с новыми зрительными впечатлениями, которые приносила ему повседневная жизнь. «Здесь, — писал Александр Георгиевич, — я влюблен не только в город, но и в особенности в окрестности, где и сам живу». Пребывание на Востоке приводило его, как и многих других художников, к изменению и обогащению цветового видения, к декоративности колористических решений, к предпочтению красок, присущих среднеазиатской природе, традиционной местной керамике и ткачеству. Примером этому служат три открытки, датированные декабрем 1937 года: «Самолеты над юртами», «Кошма», «Улица в солнечный день». Обширные пространства двух степных пейзажей с плавно очерченными круглящимися холмами показаны обобщенными полосами коричневых, охристых, изумрудных, светло-зеленых, дымчато-сиреневых оттенков, соседствующих с эмалево-голубым цветом неба. Свойственное этим миниатюрам декоративное начало подчеркивается матовостью и плотностью примененной в них гуаши. Своеобразие третьей открытки, изображающей залитую ослепительным солнечным светом улочку со стоящим возле дома осликом с огромной вязанкой хвороста на спине, заключено в использовании художником больших плоскостей черного цвета, обостряющего светотеневые контрасты, создающего четкие границы теней.

В 1939 году Заковряшин совершил путешествие в Форт-Шевченко — маленький городок на полуострове Мангышлак, сложившийся на месте военной крепости, где в 1850-х годах находился в ссылке известный украинский поэт. Художественным свидетельством этой поездки стали две открытки: «Руины крепости» и «Руины крепостной стены». В отличие от работ 1937 года они написаны как пленэрные этюды, исполненные в более свободной и непосредственной живописной манере. В одной из них атмосфера яркого солнечного дня создается

сопоставлением разбеленных розовых и сгущенных фиолетовых тонов в освещенных и погруженных в тень частях полуразрушенной фортификационной стены. В другом пейзаже сумрачное, тревожное настроение определяется беспокойным движением цветowych пятен в изображении облачного неба, темных развалин крепостных построек, бегущих по земле теней.

В миниатюре «Парк» (1942), пробуждающей ассоциации с некоторыми листами из ташкентской серии А. А. Лабаса, внимание художника обращено к выразительным возможностям акварельной живописи. Мотивы света и тени находят здесь воплощение не в цветовых контрастах, а в зыбких градациях бледно-лиловых, коричневатых, серых оттенков, в подвижности неровных силуэтов на тропе, в неясности, текучести очертаний крон

высоких деревьев, обрамляющих аллею. Гармоничными тональными переходами, оживленными акцентом синего цвета в изображении неба, автор воспроизводит мягкую цельность световоздушной среды пейзажа, передает сосредоточенную в нем тонкую поэтичность.

Составляя небольшой фрагмент наследия А. Г. Заковряшина, алма-атинские открытки дают возможность увидеть еще одну интересную грань его многостороннего дарования и позволяют называть его имя в числе других сибирских художников первой трети XX века — В. И. Уфимцева, В. Н. Гуляева, М. И. Курзина, Е. Л. Коровай, — причастных к традиции ориентализма в русском изобразительном искусстве. Развитие этой линии в творчестве Александра Георгиевича было прервано его уходом на фронт и гибелью в Берлине в предпоследний день войны.



АВТОРЫ НОМЕРА

Бобрышева Юлия Владимировна родилась в 1986 г. в Новосибирске. Окончила отделение филологии НГУ. Живет в новосибирском Академгородке.

Голикова Светлана Павловна — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

Дедов Пётр Павлович (1933—2013) родился в с. Новоключи Купинского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный педагогический институт и факультет журналистики ЦКШ при ЦК ВЛКСМ. Работал в газетах «Советская Сибирь», «Молодость Сибири» и др. Автор книг «Светозары», «Сказание о Майке Парусе», «Моя голубая весна» и др.

Ерназарова Раиса Мулдашевна родилась в Алма-Ате, окончила факультет журналистики Казахского государственного университета, а также Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР. Заведующая лабораторией новых информационных визуальных технологий ЦНИТ Новосибирского государственного университета, директор Центра визуальной антропологии международной кафедры «Юнеско» НГУ и СО РАН. Живет в Новосибирске.

Косоков Владимир Николаевич родился в 1986 г. в г. Железногорске Курской области. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Работает в СМИ. Живет в Курске.

Ляковская Наталья родилась в 1958 г. на Украине. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг для взрослых и детей: «Окно в давно забытый сад», «Сильный Ангел» и др. Живет в Москве.

Мальшев Валерий Викторович (1940—2006) родился в Новосибирске, где прожил всю жизнь. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Огонек», «Наш современник», «Сибирские огни». Автор трех поэтических сборников. Лауреат премии журнала «Сибирские огни». Член Союза писателей России.

Маранин Игорь Юрьевич родился в 1964 г. в Новосибирске. Окончил исторический факультет НГПУ и экономический

факультет НФ РАПП. Автор книг «Мифосибирск», «Город-вестерн» (в соавторстве с К. Осеевым) и др. Живет в Новосибирске.

Осеев Константин Александрович родился в 1944 г. в Новосибирске. Окончил физфак НГУ. Работал строителем, конструктором, архитектором и пр. Сотрудник издательства «Свинья и сыновья». В соавторстве с В. Свиньиным опубликовал книги «Знаменитые неизвестные» и «Сталинские премии: две стороны одной медали». Живет в Новосибирске.

Подлубнова Юлия родилась в Екатеринбурге. Кандидат филологических наук, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XX века». Автор литературно-критических публикаций в журналах «Урал», «Октябрь», «Новый мир» и др. Обозреватель еженедельника «Литература». Живет в Екатеринбурге.

Сероклинов Виталий Николаевич родился в 1970 г. на Алтае, учился на матфаке НГУ. Работал грузчиком, слесарем и пр., занимался бизнесом. Автор нескольких сборников рассказов. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Урал» и др. Живет в Новосибирске.

Тарасов Алексей родился в 1967 г. в Кургане. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал в «Известиях», «Московских новостях», «Новой газете». Лауреат премии фонда В. П. Астафьева (1996). Живет в Красноярске.

Шамов Владимир Викторович родился в 1951 г. в р. п. Чистоозерное Новосибирской области. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Работал в комсомольских, партийных и советских органах. Автор книг для детей «Обская легенда», «Катеринина тайна» и др. Живет в Новосибирске.

Шипилов Николай Александрович (1946—2006) родился в Южно-Сахалинске. Учился в авиационном техникуме и педагогическом институте в Новосибирске. Работал токарем, бетонщиком, штукатуром, монтажником, корреспондентом окружной военной газеты. Окончил в 1989 г. Высшие литературные курсы в Москве. Поэт и прозаик. Секретарь Союза писателей России. Автор нескольких романов и сборников рассказов. Автор и исполнитель песен, многие из которых вошли в бардовские антологии.

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал **«СИБИРСКИЕ ОГНИ»** в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

**630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,
тел.: (383) 354-07-66, факс (383) 344-92-94
E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф**

Сдано в набор 6.04.2015 г. Подписано в печать 27.04.2015 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Торговый Дом Азия-принт»
Адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а
Телефон: (3842) 35-21-19